

Н.П. ОГАРЕВ





Н.П. ОГАРЕВ

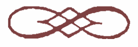
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. П. ОГАРЕВ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

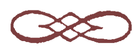


Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

Н. П. ОГАРЕВ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



ТОМ ВТОРОЙ

ПОЭМЫ

ПРОЗА

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

Подготовка текста и примечания

Н. М. Гайденкова

ПОЭМЫ

ДОН

(„Demie fantasie, demi souvenir")

1

Широко между берегами
Катится величавый Дон,
И солнце поздними лучами
Блестит над ясными водами,
Клонясь за дальний небосклон.

Мой путь чрез Дон. Передо мною
Челнок, привязанный с веслом.
Вблизи казак перед рекою,
Склонясь на руку головою,
Сидит с задумчивым челом.

«Казак, отчаливай живее,
Вези меня». И молча он,
Рукой привычною владея,
Снял привязь и веслом скорее
Толкнул челнок в широкий Дон.

2

Плывем безмолвно. Вот кругом
Взлетают брызги под веслом,
И две бразды взмущенных волн
Вслед за собой рисует челн.
Вдали станицы казаков
Вокруг нагорных берегов

При блеске солнечном видны,
Румянцем нежным обданы.
Один лишь мой казак угрюм,
Не разгоняет мрачных дум;
Как радостно на мирный сон
Земля спешит — не видит он.
Так туча черная одна
Средь неба ясного видна.

3

«Зачем ты впалыми очами
Так дико смотришь, мой казак,
Когда все весело пред нами?
То, может быть, болезни знак?
Или тебе кручина злая
На лбу морщины навела?
Не смерть ли, жертвы избирая,
Родную жертву избрала?
Тебя в кровавой битве брата
Внезапно, может быть, лишил
Удар черкесского булата?
Или отца ты схоронил?
Иль страсти юности мятежной
Твоей главе полуседой
С мечтой любви и девы нежной
Доступны стали, кормчий мой?
Иль, может, совести укоры,
При взгляде на пройденный путь,
Мрачат тоскующие взоры,
Гнетут тоскующую грудь?»

4

Казак

«Нет, нет! меня не мучит совесть.
Не о былом моя тоска,—
Но, друг, однообразна повесть
Безвестной жизни казака.
Ребенком стал я сиротою,

Так о родных не плачу я —
Я их не знал! Чужой семьею
Взрастилась молодость моя.
Любви и прелесть и мученье
Уже давно забыты мной.
В восьмнадцать лет я в ополченье
Знал шум тревоги боевой;
Любил воинственные клики
Моих собратий казаков.
Я, русский, вашему владыке
Против его служил врагов.
Но я казак — и жажду воли!
Когда ж домой вернулся я —
Что я нашел? В какой же доле
Томилась родина моя?
За угнетеньем угнетенье
На нашу сыпалось страну,
Как божий гнев,— а мы терпенье
В защиту избрали одну.
Что год, то новые наборы,—
Семьями шлют на гибель нас
В опасные для русских горы,
На злой разбойничий Кавказ.
А наши дети сиротеют,
А жены плачут средь забот,
Поля не вспаханы пустеют,
И бедность крадется в народ.
То взвалят новые расходы,
Мундиры новые полкам,
То наши прежние доходы
Причтут к казенным барышам.
И, русский, жалость! С каждым годом,
Корысти вашей отдана,
Землею, деньгами, народом
Беднеет наша сторона.
Дворяне наши уж не с нами:
Они враги для казаков,
Гнут только спины перед вами,
Да пьют вино, да бьют хохлов.
Исчезла прежняя свобода,
И прежних прав простыл и след;
Давно для бедного народа
Ни от кого защиты нет.

Вот от чего душа тоскует,
Вот от чего мой взор угрюм
И радость сладко не волнует
В душе глубоко скрытых дум.
Но скоро минет угнетенье,
Терпенье лопнет. Слышал я,
Поверье есть, что всем спасенье
Донская принесет земля.
Пускай казак теперь страдает,
Пусть дня восход и дня закат
Теперь печально он встречает
И молча точит свой булат;
Близка пора: мы бурной тучей
За вольность встанем, за права,
Дадим врагам отпор могучий,
Их пошатнется голова...
И снова станем мы по воле
Спокойно жить в семье своей,
Пахать отеческое поле
И гарцевать среди степей.
Но до тех пор душа тоскует,
Но до тех пор мой взор угрюм,
И радость сладко не волнует
В душе глубоко скрытых дум».

5

Сказал, умолк. Я изумленный
Сидел пред этим казаком;
А он, как будто вдохновенный,
Смотрел на берег отдаленный
И пенил воду под веслом.

Любви к отчизне и свободе,
Высоких чувств простой язык,
Среди степей, в простом народе,
При этой дремлющей природе,
Глубоко в душу мне проник.

Но вот безмолвно над рекою
Луна всходила в вышине,
И мы приплыли той порою,

Я руку сжал ему рукою
И удалился в тишине.
И долго с берега крутого
Я все глядел, как в челноке
Назад казак мой поплыл снова,
И средь безмолвия ночного
Неслася песня по реке:

6

«Что, казачка черноокая,
Душу в горесть облекла?
В косу русую, широкую
Ленту черную вплела?

Иль борьба неумолимая
Мила друга унесла?
Иль тебе, моя родимая,
С ним разлука тяжела?

Не печалься — он воротится,
Может, скоро он придет,
Быстро сердцем к сердцу бросится,
Душу в душу перельет.

С саблей, в битвах притупленною,
С переломанным копьем,
С грудью в ранах, утомленною,
Без коня придет пешком.

Дай ему ты саблю новую,
Дай и крепкое копье,
Пулей меткою свинцовою
Заряди его ружье.

И ударит на губителей
С казаками смело он,
И избавит от гонителей
Наш родимый, славный Дон.

И казачки черноокие
Перестанут изнывать,
В косы русые, широкие,
Ленты черные вплетать».

ЮМОР

Du, Geist des Wiederspruchs, nur zu
Du magst mich führen.

Goethe (Faust)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Пушкин

1

Подчас, не знаю почему,
Меня страшит моя Россия;
Мы, к сожаленью моему,
Не справимся с времен Батыя —
У нас простора нет уму,
В своем углу, как проклятые,
Мы неподвижны и гнием,
Не помышляя ни о чем.

Куда ни взглянешь — все тоска,
На улицах все снег да холод,
К тому ж и жизнь нам не легка:
Везде безденежье да голод,
Министром Вронченко пока;
Канкрин уж слишком был немолод,
На лаж ужасно что-то скуп,
А рубль-целковый очень глуп.

В литературе, о друзья
(Хоть сам пишу, о том ни слова),
Не много проку вижу я.
В Москве все проза Шевырева —
Весьма фразистая статья,
Дают Парашу Полевого,
И плачет публика моя;
Певцы замолкли, Пушкин стих,
Хромает тяжко вялый стих.

Нет, виноват! — есть, есть поэт,
Хоть он и офицер армейской;
Что делать, так наш создан свет,—
У нас, в стране Гиперборейской,
Чуть есть талант, уж с ранних лет —
Иль под надзор он полицейской
Попал, иль вовсе сослан он.
О нем писал и Виссарьон.

Но перервемте эту речь,
Литература надоела;
Пусть пишет Нестор, пишет Греч,
Что нам до этого за дело?
Позвольте на диван мне лечь;
Закурим трубку — вот в чем смело
Могу уверить вас: сей дым
Уж нынче дамам невредим.

Да, в этом есть успех у нас,
Уж вовсе время исчезает
Олигархических проказ;
Нас спесь уже не забавляет,
В гостиных скучно нам подчас,
На балах молодежь зевает,
Гулять не ходит на бульвар,—
У ней в чести Швалье да Яр.

Порой и я — известно вам,
Люблю одну, две, три бутылки
Хоть с вами выпить пополам;
Умы становятся так пылки,
Дается воля языкам,
А там ложись хоть на носилки...

Но я боюся за одно:
Ну надоест нам и вино?..

Тогда что делать? Час избрав,
Ступай в деревню, мой приятель,
Агрономических забав
Усердный сделайся искатель,
Паши три дня и будешь прав.
Я о крестьянах, как писатель,
Сказал бы много — но молчу;
Не то чтоб... просто не хочу.

Но мне в деревне не живать;
Как запереться в юных летах!
Я в полк сбираюсь, щеголять
Хочу в усах и эполетах,
Скакать верхом и рассуждать
О разных воинских предметах;
Наверно быть могу я, друг,
Монтекукулли иль Мальбруг.

А может быть, и сей удел
Пройдет сквозь пальцы — и на свете
Останусь я без всяких дел,
Подумаю о пистолете,
Скажу, что свет мне надоел,
Что ничего уж нет в предмете,
Взведу курок... о человек!
Минута, и твой кончен век!

Скажу, и брошу пистолет,
Спрошу печально чашку чая,
Торговли нашей лучший цвет;
А жалок мне удел Китая.
У Альбиона чести нет,
Святую совесть забывая,
Имея очень жадный нрав,
Не знает он народных прав.

Хотел еще о том, о сем,
О Франции сказать два слова
И с вами разойтись потом,
Но мы до времени другого

Отложим это — да о чем
Я начал, бишь? А! Вспомнил снова —
О родине. О, край родной!
Но спать пора нам, милый мой.

2

А! Вы опять пришли ко мне.
Давайте ж говорить мы с вами
О Франции. Наедине
Оно позволено с друзьями
И даже в здешней стороне,
Но с затворенными дверями;
Не то без церемоний вас
Попросят к Цынскому как раз.

Я сам был взят и потому
Кой-что могу сказать об этом;
Сперва я заперт был в тюрьму,
Где находился под секретом,
То есть в подвале жил зиму
И возле кухни грелся летом,
Потом решил наш приговор,
Чтоб был я сослан под надзор.

Но satis, sufficit, мой друг,
То есть об этом перестану.
Мне грустно нынче. Все вокруг
Так вяло — сам я духом вяну;
Сам растравляю свой недуг,
Тревожу в сердце где-то рану.
Занятье глупое! Оно
И больно очень и смешно.

Да как же быть? И если б вам
В себя всмотреться откровенно,
Вы грусть и с желчью пополам
В душе нашли бы непременно.
В халате, дома, по коврам
Ходили б молча совершенно,
Иль напевали б — и в такой
Прогулке шел бы день-другой.

Сказать вам правду — это мы
Давно привыкли звать хандрою:
Недуг, рожденный духом тьмы
И века странной пустотою,
Охотой к лету средь зимы,
Разладом с миром и с собою,
Стремленьем, наконец, к тому,
Что не дается никому.

Возьмите факты: древний мир
Весь только жил для наслажденья;
Но этот свержен был кумир,
И стали жить для размышленья —
Там с миром, здесь с собою мир;
У нас же глупое смешенье:
Всегда, одно другим губя,
Мы только мучим лишь себя.

Не правда ль, сказано умно,
Хотя поэзии тут мало?
Да что? Признаться вам, давно
Все как-то в жизни прозой стало,
Как отшипевшее вино
В стекле непитого бокала;
Отвыкли мы от сладких слез,
От юных шалостей и грез.

Как вспомнишь радость и печаль,
Что в прежни годы волновали,
Как нам становится их жаль!
Как возвратить бы их желали!
Свята для нас былого даль...
И вот еще грустней мы стали!
Где сердца жар? Где пыл в крови?
Где мир мечтательной любви?

Быть влюблену в то время мне,
Быть может, раза два случилось,
Тогда я плакал в тишине,
При встрече с нею сердце билось,
Бледнели щеки,— в каждом сне
Передо мной она носилась,
Я просыпался, а мой сон
И наяву был продолжён.

Но к делу, не теряя слов.
Великий прах из заточенья
Прибыл в Париж — и Хомяков
На этот счет стихотворенье
(Прескверных несколько стихов)
В журнале тиснул, к сожаленью.
И потому позвольте дать
Совет — стихов вам не читать,

Да вообще журналов сих
Вы — много дел других имея —
И не читайте. Что вам в них?
Сенковский все не любит Сея,
Хотя и эконом an sich,
И деньги любит не краснея
(Что быть посажену в тюрьму,
Преград не сделало ему).

Потом об укрепленьях толк
В Париже очень долго длился.
Их строят, чтобы русский полк
В столицу мира не пробился.
Я патриот, свой знаю долг,
Но взять Парижа б не решился.
Я думаю, довольно с нас,
Когда мы усмирим Кавказ.

Я на Кавказ сбираюсь сам,
Быть может, нынешним же летом,
Взглянуть на горы и к водам
(Больным считаясь и поэтом).
Что ж? Вместе не угодно ль вам?
Со мною согласитесь в этом,
Что с вами время там вдвоем
Мы тихо, свято проведем.

Там снежных гор... Но, боже мой,
Об этом сказано так много!
Замечу только — труд большой
Пускаться в длинную дорогу,
Вы там на станции иной
Умрете с голоду, ей-богу!
— В Париже больше ничего
Нет для разбора моего.

3

Снег желтый тает здесь и там;
Уж в марте нам не страшны стужи,
Весною веет воздух нам,
Нам ясный день сулит весну же,
И безбоязненно ушам
Торчать позволено наружe.
Хочу я вас просить, друг мой,
Пешком гулять идти со мной.

Пойдемте прямо на бульвар
В среду толпы надменно-праздной
Давнишних барышень и бар,
Гуляющих в одежде разной:
Б<артенев>, Szafi, Jean Sbogar
И рыцарь все однообразной,
Все верный прежних лет любви —
И все они друзья мои.

Не правда ль? Как кажусь я вам?
Годился б я в аристократы?
Но мне неловко быть средь дам:
Я, primo, человек женатый,
Secondo, мне не по чинам
(Хоть всем знаком я, как богатый);
О tertio я умолчу,
Его сказать я не хочу.

К тому ж во мне другая кровь,
В душе совсем другая вера:
Есть к массам у меня любовь
И в сердце злоба Робеспьера.
Я гильотину ввел бы вновь...
Вот исправительная мера!
Но нет ее, и только в них
Могу я бросить желчный стих.

Признайтесь, горек наш удел:
Здесь никого не занимает
Ход права и гражданских дел,
Иной лишь деньги наживает,
Другой чины, а тот не смел;

Один о выборах болтает
(Quoique, à vrai dire, on en rit)
Дворянства секретарь <Убри>.

Я с теми враг, кому знаком
Рассудок черствый и не боле;
Кто даже мертвым языком
Толкует о широкой воле,
Кто только всех своим умом
Занять стремится поневоле,
Кому природы заперт храм,
Кто чужд поэзии мечтам.

Пойдемте же! Вот здесь, друг мой,
Увидим дом, где я жил прежде,
Любил любовь, был юн душой
И верил жизни и надежде;
Сперва (обычай уж такой)
Был немцу отдан я невежде,
Потом один и в двадцать лет
Уже философ и поэт.

О! годы светлых вольных дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи? пира шум?
Где труд, столь полный ожиданий?
Ужель совсем зачерствел ум?
Ужели в сердце нет желаний?
Друзья! Ужели в тридцать лет
От нас остался лишь скелет?

Прошу не слушать, милый друг,
Когда я сетую, тоскую,
Что всё безжизненно вокруг,
Что сам веду я жизнь пустую.
Минутен, право, мой недуг,
Его я твердостью врачую
И, снова прежней веры полн,
Плыву против житейских волн.

К чему грустить, когда с небес
Нам блещет солнца луч так ясно?
Вот запоют «Христос воскрес»,

И мы обнимемся прекрасно,
А там и луг и шумный лес
Зазеленеют ежечасно,
И птиц веселый караван
К нам прилетит из южных стран.

К чему грустить? Опять весна
Восторгов светлых, упованья
И вдохновения полна,
И сердца скорбного страданья
Развеет так тепло она...
Но мы оставимте гулянье —
Имея в мысли ширь полей,
Смотреть мне скучно на людей.

4

Уж полночь. Дома я один
Сижу и рад уединенью.
Смотрю, как гаснет мой камин,
И думаю — все дня движенье,
Весь быстрый ряд его картин
В душе рождают утомленье.
Блажен, кто может хоть на миг
Урваться наконец от них.

Я езжу и хожу. Зачем?
Кого ищу? Кому я нужен?
С людьми всегда я глуп и нем
(Не говорю о тех, с кем дружен),
Свет не влечет меня ничем —
В нем блеск ничтожен и наружен.
Не знаю, право, о друзья,
К чему весь день таскаюсь я!

Уж не душевный ли недуг,
Не сердца ль тайная тревога
Меня толкают? Шум и стук
Не усыпляют ли немного
Волненья наших странных мук
И скуку жизни? Нет, ей-богу,
Во внешности смешно искать,
Чем дух развлечь бы и занять.

Камин погас. В окно луна
Мне смотрит бледно. В отдаленьи
Собака лает — тишина
Потом; забытые виденья
Встают в душе — она полна
Давно угасшего стремленья,
И тихо воскресают в ней
Все ощущенья прежних дней.

В такую ж ночь я при луне
Впервые жизнь сознал душою,
И пробудилась мысль во мне,
Проснулось чувство молодое,
И робкий стих я в тишине
Чертил тревожною рукою.
О боже! в этот дивный миг
Что есть святого я постиг.

Проснулся звук в ночи немой —
То звон заутрени несется,
То с детства слуху звук святой.
О! как отрадно в душу льется
Опять торжественный покой,
Слеза дрожит, колено гнется,
И я молюся, мне легко,
И грудь вздыхает широко.

Не все, не все, о боже, нет!
Не все в душе тоска сгубила,
На дне ее есть тихий свет,
На дне ее еще есть сила;
Я тайной верою согрет,
И, что бы жизнь мне ни сулила,
Спокойно я взгляну вокруг —
И ясен взор, и светел дух!

5

Меня вы станете бранить,
Что патетические строки
Сюда я вставил — я шутить

Готов опять и за уроки
Благодарю вас. Может быть,
В моих стихах и есть пороки,
Но где ж их нет? А в светлый час —
Как чувству не предаться раз?!

Ведь нужен же душе покой,
Ведь сердцу нужно наслажденье,
Не все же шляться день-деньской
От апатии и к волненью,
Из клуба да на бал большой,
От скуки важной да к мученью,
От <Чаадаева к Убри!>,
Ведь сил нет, что ни говори.

По четвергам иль в день другой
Вы не являлися ни разу?
С ученой женщиной иной
Выдумывáть несносно фразу;
Ее бегите вы, друг мой,
Как ядовитую заразу...
Я лучше между всех сих лиц
Люблю хорошеньких девиц.

Они так молоды; их взор
Так простодýшно мил и нежен,
Их шаловливый разговор
Скользит шутя, всегда небрежен,
Люблю их слушать легкий вздор,
Я с ними весел, безмятежен,
И как-то молодею я
Иль даже становлюсь дитя.

И, право, счастлив каждый раз,
Когда средь жизни обветшалой
Ребенком делаюсь подчас;
Забыв тоску и нрав мой вялый,
От задних мыслей отступясь,
Я вспоминаю миг бывалой
Моих младенческих забав;
А в летах человек лукав.

Я помню дом, пруды и сад,
И няню... толстого соседа

С гурьбой его румяных чад,
К ним приезжавших в час обеда.
О, как тогда я жить был рад!
Но тех детей не знаю следа,
Мой сад заглох, уж няни нет,
И умер толстый наш сосед.

Проходит все, всему свой век,
Бород не брили наши деды,
И глуп был русский человек;
Его тогда бивали шведы,
Палач пытал его и сек;
Теперь же мы вожди победы,
И предков Петр пересоздав,
Пожаловал им много прав.

Не режет кнут дворянских спин,
Налоги платит только масса,
Служить мы можем до седин,
Начав с четырнадцата класса
(Ведь надо же иметь нам чин!),
А если служба не далася,
Мы регистратором всегда
В отставку выйдем, господа.

И выйдемте! что нам служить?
И где? помилуйте, в сенате?
Черно! Да что и говорить:
Без службы дома и в халате
Могу с утра сидеть, ходить
Иль, тщетно времени не тратя,
Могу читать — хоть Пантеон,
В нем есть... но, впрочем, плох и он.

Со временем наверно книг
Я никаких читать не стану.
Что? Скучно! Не найдете в них
Ни мысли свежей; нет романа,
Который занял бы на миг
Хоть ночью вас, хоть утром рано,
И, право, лучше стану я
Сидеть и думать про себя.

Я иногда лежать привык
И так мечтать в припадке лени;
Я прелесть этого постиг;
Знакомые мелькают тени —
То ножка, то прекрасный лик,
То улиц шум, то мир селений...
В сем духе я теперь точь-в-точь,
Итак, мой друг, подите прочь.

6

Простите, что расстался я
Отчасти неучтиво с вами;
Но церемониться нельзя
Между короткими друзьями,
И откровенно говоря —
Могу ль я словом иль делами
Вас оскорбить, когда меж нас
Прямая дружба завелась?

Мне милы дружеских бесед
Простор, и воля, и оргия;
Вино струится, тайны нет
И торжествует симпатия.
Но горек праздничный обед,
Где гости по душе чужие,
Где вечно на застежке ум,
Вино першит и скучен шум.

Что, если, друг мой, с пиром нам
Сравнить теченье жизни шумной?
Не рады часто мы гостям,
Тяжел сосед благоразумный,
Несносна сердцу и ушам
Длина его беседы умной.
Пир все становится скучней,
И ждешь десерта поскорей.

Советов слушайте моих:
Бегите, друг, людей отличных,
Известных, гордых, но пустых,
Блестящих умников столичных;

Любите добрых и прямых,
Немножко глупых, непривычных
Блистать ни домом, ни умом
В простосердечии святом.

Я в жизни опытный старик —
Все перечел ее страницы,
Ко всем вещам давно привык,
И пригляделися все лицы.
Блажен, кто хоть в единый миг
Мог утереть слезу с ресницы,
Когда любил, или жалел,
Иль просто на небо смотрел.

А иногда так станешь сух,
Что невозможно умиленье;
Все нам досадно так вокруг;
Смешно философа сомненье,
К восторгам неспособен дух,
В них видишь только напряженье.
Нам глуп влюбленный в двадцать лет;
Мы все клянем, чего в нас нет.

Вам скучно! я опять хандрю,
Я закоснел в привычке старой
И про тоску все говорю;
Люблю лежать в зубах с сигарой,
Печально в потолок смотрю,
Аккомпанируюсь гитарой,
И напеваю Casta div',
От Пасты как-то затвердив.

Вы музыкант в душе, как я,
Бетговен вам всего дороже,
Но, южный край боготворя,
Люблю я и Беллини тоже.
Слыхали ль вы «Жизнь за царя»?
Нет? — ну и впредь спаси вас боже,
И русских опер вообще
Не нужно б нам иметь еще.

В концерт любителей я вас
Прошу не ездить. Очень скверно

Поют любители у нас,
Совсем без такту и неверно,
Писклив дишкант и хрипел бас;
Но помогать в них страсть безмерна,
Любовь прямая к ближним есть —
Что, впрочем, делает им честь.

Ах, если б можно было мне
Поездить наконец по воле,
В любимой южной стороне!
В Венеции, катясь в гондоле
При плеске волн и при луне,
Внимать беспечно баркаролле
И видеть в сумраке ночей
Огонь полуденных очей.

Но я в России, милый друг,
Как жук, привязанный за ножку,
Могу летать себе вокруг
И недалеко и немножко;
А нить не вытащишь из рук...
Что значит жук — простая мошка
В сравненьи с толстым пауком
В мундире светлоголубом?

Но рассказать могу я вам,
Как путешествовал приятель.
Всю жизнь его вам передам;
Увидите, как мой мечтатель,
Безумно предаваясь снам,
Чего-то вечный был искатель,
И как из странствия его
Не вышло после ничего.

7

Но нет! зачем мне мучить вас
Историей длинной и бессвязной?
Не лучше ль будет мой рассказ
Мнѐ написать вам сообразно
Порядку тайному, что в нас
Не болтовней безумно праздной,

Но смыслом внутренним души
Определяется в тиши?

Хочу, чтоб список с наших дней,
Избыток чувств, живые лицы
Нашли вы в повести моей;
Но будут многие страницы
Написаны слезой очей
И кровью сердца... Луч денницы —
Как быть — не в радужном огне
Рисует наше время мне.

Не думайте, чтоб я отвык
На будущность иметь надежды,
Мне чужд отчаянья язык,
Достойный дикого невежды.
Но тяжек в веке этот миг,
От частых слез распухли вежды,
В грядущем, верю я, светло,
Но нам ужасно тяжело.

Мы с жизнью встретились тепло,
К прекрасному простерли руки,
Участье к людям нас вело,
Любовь к искусству, свет науки...
И что ж нас затереть могло
В тиски непроходимой скуки?
Не вы тоскуете, не я,
А все, друзья и не друзья.

Друзья, невинны мы в ином,
Во многом виноваты сами.
Мир ждет чего-то; спорить в том
Отнюдь я не намерен с вами,
Пророки сильным языком
Уже вещали между нами,
И Charles Fourrier и St.-Simon
Чертили план иных времен.

Видали ль вы, как средь небес
Проходит туча над землею?
Удушлив воздух, черный лес
Недвижен, все покрыто мглою,

И птиц веселый рой исчез,
Чуть дышат звери пред грозою
И в трепете чего-то ждут;
Вот наше время вам всё тут.

Минует бури черeда,
И жизнь светлее разольется;
Но скучно ждать нам, господа,
Пока вся туча пронесется.
Мы славы жаждем иногда
Без всяких прав на то; дух рвется
К самолюбивейшим мечтам...
Что б ни было, не легче нам.

Вот видите, уж кроме сих
В сем веке общих всем мучений,
Есть много мук у нас иных,
С людьми обидных столкновений,
Несносный холод к нам одних,
Других любовь — все ряд волнений;
С иным сойдешься, а потом
Не согласишься с ним ни в чем.

Все это грустно! Счастлив, друг,
Кто запирается беспечно
В свой узенький домашний круг,
Спокоен, весел, жирен вечно,
И дети прыгают вокруг,
Жена отличная, конечно,
Хозяйка, верно сводит счет,
А муж по службе вверх идет.

Скажу вам просто — дом такой
Благословен, мой друг, от бога;
Всегда в нем каждому покой,
Обед в нем сытен, денег много.
Ну, что — нам с вами прок какой
Дала душевная тревога?
Зачем нам тот удел дать бог
Не захотел или не мог?

Не мог, не мог! Вот дело в чем.
Натура в нас совсем другая.

В нас в веке, может быть, ином
Была бы тишина святая;
Но в теле дряблом и больном
Теперь живет душа больная;
Мы суждены желать, желать
И всё томиться и страдать.

Давайте же страдать, друг мой!
Есть, право, в грусти наслажденье,
И за бессмысленный покой
Не отдадим души мученье;
В нем много есть любви святой,
Возьмем страданье и стремленье
Себе в удел — он чист и свят;
Ему, как счастию, я рад.

8

В венце из роз была она,
Стояла, опустивши руки,
Но песнь ее была полна
Какой-то бесконечной муки,
И долго мне была слышна,
И вслед за мной гналися звуки —
«Ich bin ein Fremdling überall» —
И на сердце легла печаль.

И мне казалось, что, как тот
Безродный странник в край из края,
И мы весь век идём вперед —
Вы, я, певица молодая...
Какая цель? и что нас ждет?
И где для нас страна родная?
И все звучит один ответ:
Блаженство там лишь, где нас нет.

Но мы уж так и быть, друг мой;
Певицу жалко мне; из платы
Ей надо звонкий голос свой,
Из глубины душевной взятый,
Напрасно тратить пред толпой,
Пред чернью, деньгами богатой,

И думать, что от жизни сей
Совсем не то ждалося ей.

Но уж концертов будет с нас.
Дошли мы до страстной недели,
Говеют люди; ночью, в час,
Встают, не выспавшись, с постели:
Их будит колокола глас.
Салопы, шубы иль шинели
Надев — уже они пешком
Идут молиться в божий дом.

Там тускл огонь свечей. В алтарь
Сердито входит поп косматый,
Угрюмо бродит пономарь,
Дьячок бормочет бородатый,
И дьякон ищет свой стихарь;
Просвирня зябнет, сном объята,
Кадило рой детей несет,
И веет ладан на народ.

Но признаюсь, не вижу я
Особенной отрады в этом.
Говейте вы себе, друзья,
Я разве после стану — летом.
Попы, дьячки и эктинья
Не могут быть любви предметом.
Весь этот пародьяльный тон
Меня вгоняет в гнев иль сон.

Но если б жил я в веке том,
Когда Христос учил народы,—
Его б я был учеником
Во имя духа и свободы;
Оставил бы семью и дом,
Не побоялся бы невзгоды,
И радостно б за веру пал,
И свой удел благословлял.

Бывало, часто в час ночной
Перед распятьем на колени
Я падал с теплою мольбой,
Чтобы он дал среди мучений

Мне тот безоблачный покой,
С которым он без злобы, пени,
С любовью крест тяжелый нес
И всем прощенье произнес.

О друг мой! как бы нам дойти,
Чтоб духом выше стать страданья
И ровно жизнь свою вести,
Как светлое души созданье,
Встречаться с каждым на пути
С любовью, полной упованья,
Привлечь его, не дать коснеть,
И сердце сердцем отогреть.

Но мы влиянье на других
В тоске растратили невольно;
Мы слишком любим нас самих,
Людей же любим не довольно;
Мы нашей скорбью мучим их,
Что многим скучно, близким больно,
А жизни лучшей идеал
Для нас невыполнимым стал.

Но, впрочем, что же? На кого
Прикажете иметь влиянье?
Собрать людей вокруг чего?
К чему им указать призванье?
Какая мысль скорей всего
Их расшатать бы в состояньи?
Как, эгоизм изгнав из них,
Направить к высшей цели их?

Не знаю, право. Целый век
Из этого я крепко бился,
На поиск направлял свой бег,
Везде знакомился, дружился;
Но современный человек
Был глух на крик мой. Я смирился,
И только малый круг друзей
Я затворил в любви моей.

В науке весь наш мир идей;
Но Гегель, Штраус не успели

Внедриться в жизнь толпы людей,
И лишь на тех успех имели,
Которые для жизни всей
Науку целью взять умели.
А если б понял их народ,
Наверно б был переворот.

Итак, мой друг, когда пять-шесть
Друзей к нам вышло на дорогу,
То, право, мы должны принесть
Большую благодарность богу,
И в этом много счастья есть;
Он дал нам много, очень много,
И грех великий нам хандрить
И дара неба не ценить.

С немногими свершим наш путь,
Но не погибнет наше слово;
Оно отыщет где-нибудь
Средь поколенья молодого
Способных далее шагнуть;
Они пусть и́дут в бой суровый,
А мы умрем среди тоски,
Страданья с верою легки.

9

Вдоль улиц фонари горят,
Еще безмолвна мостовая,
И лужи кое-где блестят,
Огонь печально отражая;
Но фонарей огнистый ряд
В ночи горит не озаряя,
И звезды ярко смотрят в ночь,
Но тьмы не могут превозмочь.

Раздался ровно в полночь звон,
В церквах «Христос воскрес» запели
Бежит народ со всех сторон,
Кареты дружно зашумели.
Вы спите, друг мой? Сладкий сон
Дай бог на мягкой вам постели,
А я пойду... Но грустно мне.
Я лучше б плакал в тишине.

Но нету слез и веры нет
Младенческой в душе усталой,
На ней сомнений грустный след,
На ней печали покрывало,
И радость прежних детских лет
Давно ей незнакома стала.
На звон без цели я иду,
Подарков от родных не жду.

И где родные все мои?
В тиши могил, отсель далече,
Заснули вечным сном одни,
С другими мне не нужно встречи;
Меж нами вовсе нет любви,
Докучны мне их вид и речи;
Конечно, есть еще друзья,
Но и они грустят, как я.

Смотрю с кремлевских теремов
Куда-то вдаль. Воспоминанье
Живит черты былых годов,
Назад влечет меня желанье;
Там мир любви и светлых снов
И молодого упованья...
Но как кругом — в душе моей
Ночь, ночь и бледен свет огней.

С чего грущу? Не знаю сам.
Пойду домой. Как грудь изныла!
Как сердце рвется пополам!
О, если бы имел я силу
На ложе волю дать слезам —
Быть может, мне бы легче было;
Но, боже мой! как стар я стал,
Уж я и плакать перестал!

10

Я еду завтра. Может быть,
Меня отпустят за границу,
И в жизни новую раскрыть
Тогда придется мне страницу.
Но не могу я позабыть
Ни вас, ни древнюю столицу;

Пожалуйста, мой друг, вдвоем
Последний день мы проведем.

Садитесь! Много кой о чем
Поговорить мне с вами можно.
Есть тайный страх в уме моем,
От думы на сердце тревожно...
Как знать? Вдали, в краю чужом
(Хотя я езжу осторожно)
Умру, быть может. Жалко вам?
Да не желал бы я и сам.

Вот воля вам моя одна:
Скажите тем, кого любил я,
Что в смертный час их имена
Произнося, благословил я,
Что смерть моя была ясна,
Что помнить обо мне просил я,
Смирясь, покорствовал судьбе
И скоро жду их всех к себе.

А может быть, из дальних стран
Я возвращусь здоро́вей втрое,
Очищен от сердечных ран
И вылечен от гемороя,
И довезет мой чемодан
Мне фрак последнего покроя;
А на прощание вдвоем
Бутылки две мы разопьем.

Сперва в бокал зеленый лью
Струю янтарную рейнвейна;
Во славу рыцарства я пью
И берегов цветущих Рейна.
Отвагу прежних лет люблю
От Карла и до Валленштейна,
И песнь любви средь жарких сеч,
Где в латы бил тяжелый меч.

Пристрастен к средним я векам,
Люблю их замки и ограды,
Балкон высокий, нежных дам,
И под балконом серенады...
Луна плывет по небесам,

А звуки так полны отрады,
И ропот Рейна вторит им...
С зарей поход в Иерусалим.

Но что мечтать о старине —
Аи уж в розовом бокале,
Звездясь, мечты другие мне
Несет игриво... Что ж вы стали
И уст не мочите в вине?
Раз в раз бокалы застучали...
На юг, на юг хочу, друзья!
Да здравствует Италия!

Цветет лимон, и золотой
Меж листьев померанец рдеет,
И воздух теплою струей
С небес лазурных тихо веет;
Лавр гордый поднялся главой,
И скромно мирта зеленеет.
Туда, туда! Среди друид
Там голос Нормы мне звучит.

Но прежде чем увижу юг,
Услышу музыку Беллини,
Заеду в Питер я, мой друг,
Где не бывал еще доныне.
Аристократов рабский круг
Там жаждет царской благостыни
И, ползая у царских ног,
Рад облизать на них сапог.

Скорей оставлю скучный град,
Пущусь на пароходе в море.
О, как впервые буду рад
Я на морском дышать просторе!
Далеко оттолкну назад
Хандру и истинное горе
И буду, вдохновенья полн,
Внимать немолчный говор волн.

И буду взором я тонуть
В безбрежьи неба голубого...
Но, боже! вдруг стеснилась грудь,
И грустно сердце бьется снова.
Мне жаль пускаться в дальний путь,

И жалко края мне родного...
Ведь я люблю его, мой друг,
Одно я тело с ним и дух.

Я много покидаю в нем,
Расставшись с ним, теряю много.
Едва ль, я не уверен в том,
Мне чужеземная дорога
Его заменит... А потом,
Как разбирать все вещи строго —
Чего бы, кажется, искать?..
Я, впрочем, буду к вам писать.

Куда б ни ехать — все равно,
Везде с собою сами в споре,
Мученье мы найдем одно,
Будь то на суше иль на море;
Как прежде, как давным-давно,
За нами вслед помчится горе,
Аккорд нам полный, господа,
Звучать не станет никогда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Farewell!
Byron

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.
Пушкин

Ye see and read
Admire and sigh and then
succomb and bleed.
Byron

Письмо первое

1

3 апреля. Станция

Я начинаю к вам писать,
Мой друг, уже с полудороги.
Мне на шоссе нельзя пенять,

Он гладок, горы все отлоги,
Но в дилижансе плохо спать
И протянуть неловко ноги.
Я этим начал, чтоб потом
Не говорить уж мне о том.

Когда Москву оставил я,
В последний раз пожал вам руку,
Невольно сжалась грудь моя
И сердце ощутило муку.
О, с вами горько для меня,
Невыносимо несть разлуку.
Как ни крепился я — слеза
Мне навернулась на глаза.

Я ехал. Над моей Москвой
Ночное небо ясно было,
И тихо так на город мой
Звездами яркими светило.
А впереди, передо мной,
Все небо тучей обложило,
Меня встречал зловещий мрак;
Я думал: то недобрый знак!

Так, недовольные ничем,
Бог весть куда стремимся всё мы,
Толкаемы не знаю кем
И вдаль не знаю чем влекомы,
Безумно расстаемся с тем,
Что мило нам; друзей и домы
Бросаем — сколько их ни жаль...
И ищем новую печаль.

Уж, право, не вернуться ль мне?
А вы, мой друг! Теперь, чай, сели
Перед камином, в тишине;
К вам думы грустные слетели;
Не раз, гадая на огне,
Мою судьбу вы знать хотели...
Что ж? вспыхнет синий огонек?
Да! нет! И гаснет уголек.

А предо мной во тьме ночной
Равнина тянется печально,
И ветви сосны молодой
Чернеют грустно в роще дальной.
Плетется дилижанс рысцой,
Как пол мощеный в зале бальной,
Гладка дорога, скатов нет...
В степи печален и рассвет.

Рассвет! С улыбкой на устах,
Земной печали ввек не зная,
Восходит солнце; на полях
Кой-где белеет снег блистая,
И листьев нет еще в лесах,
Не вышла травка молодая;
А жаворонок средь небес
Уж с вольной песнию исчез.

И грустно мне, певцу весны,
Внимать в раздумьи и печали
Среди пустынной стороны;
Передо мною смутно встали
Все недоконченные сны,
Которыми полны бывали
Мои мечты в родной стране...
Опять вздохнуть пришлося мне!

Но полно. Перейти должны
Мы вновь к практическим предметам.
Мы разъезжать приучены
В России и зимой и летом;
Но все ж, подчас поражены,
Должны критическим заметам
Отвесть мы место хоть слегка
Средь путевого дневника.

Во-первых, я замечу вам,
По непривычке ли к свободе,
По непривычке ли к правам,
Везде у нас в простом народе
Пристрастье к площадным словам:

Ругаться — в чрезвычайной моде...
Неделикатно и смешно,
И оскорбительно оно.

Люблю, когда перед избой
В кафтане, шапка набекрени,
Ямщик с широкой бородой
Сидит в припадке русской лени,
Склонясь на руки головой,
Поставив локти на колени,
И про себя поет в тиши
Про очи девицы-души.

И смотрит вдаль... и ждет, и ждет,
Вот колокольчик раздается,
И по мосту, стуча, вперед
Телега тройкою несется
К нему — и стала у ворот,
И пар от коней клубом вьется.
И вот ямщик уж ямщиком
Встречаем бранью иль толчком.

Характер русский на пути
Мне стал предметом изученья,
И в нем я должен был найти —
Лень, удальство и грусть в смешеньи
С лукавством (боже нас прости!).
К обманам гнусным угнетенье
Нас приучило, также кнут...
Мудреного не вижу тут.

Всегда мы, встретясь с кем-нибудь,
Врага в нем видя иль Иуду,
Его же ищем обмануть.
Я это порицать не буду,
Весьма естествен этот путь;
А лень хвалить я просто буду:
Как мужику любить свой труд?
Богат он — больше оберут.

Я это говорю смеясь,
Но, друг мой, если бы вы знали
Как желчь бунтует каждый раз,

Как вся душа полна печали,
Когда я думаю о нас!
Надежды все почти пропали,
Свое бессилье я сознал,
И нрав мой зол и мрачен стал.

Но виноват! зовут меня —
Уж пристегнули торопливо
К постромкам пятого коня;
Кондуктор ждет меня учтиво,
Сурово нищих прочь гоня;
Уж сел ямщик нетерпеливый...
Мой друг, пора, пора! Спешу!
Из Петербурга напишу.

2

Петербург

Я прибыл вечером, друг мой.
Шел дождик мелкий, понемногу
Дома скрывались в тьме ночной...
Свершив трехдневную дорогу,
Хотел скорей я на покой;
Но сердца странную тревогу
Преодолеть никак не мог
И долго спать еще не лег.

Хотел я тут же к вам писать,
Но как-то глуп был; стал уныло
По комнате моей шагать,
И, что меня тогда томило,
Не в силах я пересказать:
Утрата ли того, что было,
Иль недоверчивость к судьбе,—
Не мог отчета дать себе.

Но было на душе темно.
Я поздно лег, проснулся рано;
Мне ветр сырой пахнул в окно,
Седое небо сверх тумана

На мир смотрело холодно́,
И будто призрак великана,
В сырую мглу погружена,
Мне каланча была видна.

Вы согласитесь, что плохой
Прием мне сделала погода;
Я если б не страдал хандрой,
Ее туманная природа
На ум навеяла бы мой...
Здесь говорят, что середь года
Выходит солнце только раз...
Блеснет и спрячется тотчас.

Я думал: житель здешних стран
Быть должен мрачен, даже злобен,
Всегда недуг сердечных ран
В себе самом таить способен,
Угрюм, задумчив, как туман,
Во всем стране своей подобен,
И даже песнь его должна
Быть однозвучна и грустна.

Хотелось город видеть мне.
Я на проспект пошел зевая —
И изумился! Нам во сне
Толпа не грезилась такая
В Москве, где мы по старине
Все по домам сидим, скучая;
А здесь, напротив, круглый год
Как бы на ярмарке народ.

Без стуку по торцам катясь,
Стремятся дрожки и кареты,
Заботой праздною томясь,
Толпа людей, с утра одеты,
Спешат, толкаясь и бранясь.
Мелькают перья, эполеты,
Бурнусы дам, пальто мужчин;
В одеждах всех покрой один.

Чем эти люди заняты?
Какая цель? К чему стремленье?

Какая мысль средь суеты,
Среди всеобщего движенья,
Средь этой шумной пестроты?
Уж не народное ль волненье?
И! что вы? право, никакой
Тут мысли вовсе нет, друг мой.

Толпа стремится просто так,
Поесть иль пробежать глазами,
Как Магомет, султана враг,
Гоним союзными дворами,—
И день убит уж кое-как.
С косой в руке, на лбу с часами,
Седой Сатурн на них на всех
Глядит сквозь ядовитый смех.

Мне стало страшно... Предо мной
Явилась вдруг жизнь миллионов
Людей, объятых пустотой,
К стыду всех божеских законов...
В толпе один приятель мой
Мне указал двух-трех шпионов,
И царь проехал мимо нас,
И сняли шляпы мы тотчас.

Потом пошли, и время шло,
И длинный день тянулся вяло,
И все мне было тяжело.
Толпа шуметь не преставала.
Обед; вино лилось светло,
Но уж меня не забавляло;
Так я, являяся на бал,
Всегда угрюм и дик бывал.

Мне странен смех казался их
В огромной освещенной зале;
Я был среди людей чужих,
И сам чужой был всем на бале,
И мысли далеко от них
Меня печально увлекали
Туда, куда-то в мирный дол,
Где годы детства я провел.

Но я кладу письмо в пакет,
Его с оказией вам шлю я.
Для вас ведь нового в том нет.
Писать по почте не люблю я;
Случиться может и секрет,
А уж никак не потерплю я,
Чтоб мне Коко какой-нибудь
Смел в жизнь и душу заглянуть.

3

Ложилась ночь, росла волна,
И льдины проносились с треском;
Седою пеною полна,
Подернута свинцовым блеском,
Нева казалася страшна,
Стуча в гранит сердитым плеском.
В тумане тусклом ряд домов
Смотрел печально с берегов.

Уже огни погашены,
Беспечно люди сном объяты;
Под ропот плещущей волны
Поденщики, аристократы,
Свои все люди грезят сны.
Безмолвны стогны и палаты...
Один недвижен на коне
Огромный всадник виден мне.

Чернея сквозь ночной туман,
С подъятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Куда-то кажет вдаль рукою
С коня могучий великан;
А конь, притянутый уздою,
Поднялся вверх с передних ног,
Чтоб всадник дальше видеть мог.

Куда рукою кажет он?
Куда сквозь тьму вперил он очи?
Какою мыслью вдохновлен,
Не знает сна он середь ночи?

С чего он горд? Чем увлечен?
Из всей он будто конской мочи
Вскакал бесстрашно на гранит
И неподвижен тут стоит?

Он тут стоит затем, что тут
Построил он свой город славный,
С рассветом корабли придут —
Он кажет вдаль рукой державной;
Они с собою привезут
Европы ум в наш край дубравный,
Чтоб в наши дебри свет проник;
Он горд затем, что он велик!

Благоговел я в поздний час,
И трепет пробегал по телу;
Я сам был горд на этот раз,
Как будто б был причастен к делу,
Которым он велик для нас.
Надменно вместе и несмело
Пред ним колено я склонил
И чувствовал, что русский был.

Поднял я голову, потом
В лицо взглянул ему — и было
Как будто грустное что в нем;
Он на меня смотрел уныло
И все мне вдаль казал перстом.
Какая скорбь его томила?
Куда казал он мне с коня?
Чего хотел он от меня?

И я невольно был смущен;
Печально, робкими шагами
Я отошел, но долго он
Был у меня перед глазами;
Я от него был отделен
Адмиралтейскими стенами,
А он за мною все следил,
И вид его так мрачен был.

И вот дворец передо мной
Стоял угрюмо и высоко;

В полудремоте часовой
Шагал у двери одиноко,
И страхом веял мне покой,
В котором спал дворец глубоко.
У ног моих Нева одна
Шумела, ярости полна.

А там далеко за Невой
Еще страшней, чернее зданье
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыданья
И жертв напрасных стон глухой,
Проклятий полный и страданья,
Мне ветер нес с тех берегов
Сквозь стуки льдин и плеск валов.

Дворец! Тюрьма! Зачем сквозь тьму
Глядите вы здесь друг на друга?
Ужель навек она ему
Рабыня, злобная подруга?
Ужель, взирая на тюрьму,
Дворец свободен от испуга?
Ужель тюрьмою силен он
И слышать рад печальный стон?

О! сройте, сройте поскорей
Вы эти стены, эти своды!
Замки отбейте у дверей,
Зовите всех на пир свободы!
Тогда, тогда толпы людей,
Тогда из века в век народы
Благословят вас и почтут
И вас святыми назовут.

Но глух дворец, глуха тюрьма,
И голос мой звучит в пустыне,
Кругом туман да ночи тьма,
И с шумом вал бежит по льдине...
Тоска души, тоска ума
Еще сильнее, чем доныне,
И тяжелее жизни крест...
И я бежал от этих мест.

И снова он, все тот же он,
Явился всадник предо мною,
Все так же горд и вдохновлен,
Все вдаль с простертою рукою.
И мне казалось, как сквозь сон,
С подъятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Смеялся горько великан.

4

Что я писал вам в этот раз?
Письмо ли это, или ода,
Или элегия? У нас
Последнего не терпят рода...
А было время — развелась
На вздохи, слезы, стоны мода;
Все вспоминали юны дни,
И лезли в Пушкины они.

Да я и сам... но боже мой!
Кого назвал я? Плач надгробный
Ужели смолк в стране родной?
Где наш певец, душой незлобный?
Где дивных песен дар святой
И голос, шуму вод подобный?
Где слава наших тусклых дней?
Внимайте повести моей.

О! там... в тиши родной Москвы,
От бурь мирских задвинув ставень,
И не предчувствуете вы,
Как душу здесь сжигает пламень;
Но будьте вы как лед Невы,
Или бесчувственны как камень,
Все ж вас растопит мой рассказ
И выжмет слез ручей из вас.

Когда молву, что нет его,
В столице древней услыхали,
Всем было грустно от того;
Все посердились, покричали,

Но через день, как ничего,
Опять спокойно замолчали;
Так шумный рой спугнутых мух,
Взлетев на миг, садится вдруг.

Вчера я встретил невзначай —
Два мальчика прошли с лотками
Статуек. Тут был попугай,
Качали кошки головами,
Наполеон и Николай
Стояли, обратясь спинами,
И Пушкин, голову склоня,
Скрестивши руки, близ коня.

И равнодушною толпой
Шли люди мимо без вниманья,
И каждый занят был собой,
Не замечая изваянья.
Да хоть взгляните, боже мой!
На лик, исполненный страданья,
И дум, и грез... Ведь он поэт!
Да дайте ж лепт свой за портрет!

Поэт не надобен для них,
Ему внимать им даже скучно,
И звонкий, грустный, яркий стих
Они услышат равнодушно,
Как скрип телег на мостовых,
Песнь аматера в зале душной.
Они согласны быть скорей
Час целый у резных дверей,

Пока лакей им в галунах
Отворит вход жилищ священных,
Где можно ползать им в ногах
Временщиков и бар надменных
И целовать ничтожный прах
Людей ничтожных и презренных,
Которых кознями поэт
Погиб в всей силе лучших лет.

Ему досадой сердце жгли,
И дело быстро шло к дуэли;

Предотвратить ее могли,
Но не хотели, не хотели.
К нему на похороны шли
Лишь люди в фризовой шинели,
И тех обманом отвели
И гроб тихонько увезли.

Поэта мучить и терзать,
Губить со злобою холодной,
На тело мертвое не дать
Пролить слезу любви народной,—
Что ж можно вам еще сказать,
Что б было хуже? Благородный,
Священный гнев в душе моей
Кипит — чем скрытей, тем сильней.

Но только втайне пару слов
Могу сказать в кругу собратий,
Боясь тюрьмы, боясь оков,
Боясь предательских объятий.
А как бы на его врагов
Я, сколько есть в душе проклятий —
Собрать был рад в единый миг,
Чтобы в лицо им плюнуть их!

И ваш еще спокоен дух
И не дрожите вы с досады,
Что так бессильны мы, мой друг,
И что нам правду прятать надо,
И мненью высказаться вслух
Везде поставлены преграды?
Да если б кто чужой узнал,
Он нас бы трусами назвал.

5

Но мы оставим мрачный тон,
Задернем скорбную картину;
Ваш дух тоскою удручен,
Я вижу, вы уж близки к сплину;
Я вам кажуся Цицерон,
Который мещет в Катилину

Неумолимый приговор
И гневный, беспощадный взор.

А я скажу вам между тем,
Что Цицерона я, бывало,
И не читал почти совсем,
По крайней мере — очень мало;
За длинный слог его дилемм
Я с жаром принялся сначала,
Потом за чтеньем сон клонил,
А нынче все я позабыл.

Вот здесь, ораторов венец,
Блистает Греч, скажу без лести;
Булгарин выше как мудрец
Всех стоиков, хоть взятых вместе,
Сознав презренье наконец
Не только к смерти, даже к чести;
Но полно, друг мой, Греч, Фаддей
Вне всякой критики, ей-ей!

Пожалуйста, на этот миг
Забудем дюжину журналов,
В форматах малых и больших,
Забудем кучу генералов,
Темнозеленых, голубых,
И всех начальников кварталов,
И всех шпионов записных —
Элькана, Фабра и других.

Меня влечет иной предмет,
Но все ж замечу непременно —
Шпионами чрез десять лет
Все будут на Руси священной;
Ну, в целой Руси, может, нет,
А в Петербурге несомненно.
Князь Меттерних, забудьте спесь...
И царствовать учитесь здесь.

В углу театра я сидел
В расположении угрюмом,
На ложи холодно глядел,
Где дамы пышные костюмом

Блистали — и скорей хотел,
Чтоб занавесь взвилася с шумом;
Зачем — не знаю, право, сам,
Хотел я волю дать слезам.

Вы согласитеся, друг мой,
Есть в жизни странные мгновенья:
Желчь не кипит в груди больной,
Стихает жгучее мученье,
Но грусть глубокая с душой
Дружится тихо... Без сомненья,
Благословен, кто в этот час
До слез растрогать может нас.

Душа так живо сознает
Любви неопытной страданья,
И внешней жизни тяжкий гнет,
И сладость первого признанья,
И нечувствительно встает
Неясное воспоминанье...
Пред вами драма, а за ней
Мелькает даль минувших дней.

M-me Allan... О, как она
Постигла жизнь глубоко, верно!
Как ею роль вся создана!
И любит как она безмерно
И как страдает! как полна
Тоски она нелицемерно!
Движенье, поступь, взгляд очей —
Все сильно поражает в ней.

Я плакал как дитя, друг мой;
Тревожно грудь моя дышала.
За мной сидел старик седой
И плакал, и рука дрожала,
И жил он старою душой,
А публика рукоплескала;
Лишь двое чувствами души
Мы увлекалися в тиши.

И я взглянул на старика
Так симпатически... готова
Была руки искать рука;

Но я не смел, но ни полслова
Не сорвалося с языка,
Я недвижим остался снова;
Расставшись молча с стариком,
Я не встречался с ним потом.

Но в этот вечер я унес
С собой толпу воспоминаний,
Следы душевных теплых слез
И много сладостных мечтаний;
И ночью, средь неясных грез,
Я чье-то сердце от страданий
Спасал — и смутно предо мной
В слезах носился лик седой.

6

Была уж майская пора,
И солнце жаркими лучами
Палило пышный град Петра;
По улицам народ толпами
Стремился с самого утра,
Ходили стройными рядами
Отряды длинные солдат:
В тот день назначен был парад.

Направил любопытный шаг
И я туда ж, хоть в самом деле
Я был непримиримый враг
Забавам воинским доселе
И не умел понять никак,
Как человек, в ком уцелели
Две мысли здравых как-нибудь,
На них мог с радостью взглянуть.

Но увлекаюсь часто я...
Леса и степь, весна и роза,
И ропот при луне ручья,
И яркий иней в день мороза,—
Все тотчас радует меня.
Теперь Allegro maestoso,
Обняв торжественно мой слух,
Душою завладело вдруг.

Толпы несчетные полков
Стоят на площади широкой,
Густая масса их рядов
Недвижна в тишине глубокой,
На солнце блещет сталь штыков,
Так что смотреть не может око,
И кажет кирасиров ряд
На белом фоне чѐрнеть лат.

Между улан и казаков
Гусары с грудью золотою;
Лишь оторвавшись от полков,
Гремя железной чешуею,
Летит черкес между рядов,
На месте быстрою рукою
Вертит коня, и конь, заржав,
Назад несет его стремглав.

Все в ожидании немом.
Вот скачет царь с блестящей свитой,
Играет ветр его пером,
Он горд и пасмурен. Сердито
Он озирается кругом
И едет в ряд. В едино слито
Ура полков и трубный звук —
Навстречу раздаются вдруг.

Марш заиграл. Пошла раз в раз
Пехота массою спокойной;
За нею конница вилась
Колонной пестрою и стройной.
Я сам был воин в этот час!
В душе проснулась беспокойно
Потребность крови и войны...
Как люди странно созданы!

Что, если б я на этот миг,
Прямого полный вдохновенья,
Мог прокричать отважный клик
Священного освобожденья?
За мной! Точите меч и штык!
Я поведу вас в направленьи,

В котором эти господа
Не поведут вас никогда.

Но мы об этом помолчим,
Мечтой не увлечемся даром;
Солдат наш глуп еще — бог с ним,—
Привычен к палочным ударам,
И вольность не любима им,
Живущим в предрассудке старом.
Да, вольность, друг мой, вообще
Народу рано дать еще.

По крайней мере все пока
У нас еще такого мненья:
Пускай нам будет жизнь легка,
Народу отдадим мученье,
На чернь взирая свысока,
В залог мы ей пошлем терпенье.
А почему все это так —
Я не могу понять никак.

Печально глядя на полки,
Я думал — боже, боже правый!
Страданья наши велики!
И долго деспотизм лукавый,
Опершись злобно на штыки
И развращая наши нравы,
Ругаться будет над людьми;
Проклятье войску — черт возьми!

7

Сии огромные сфинксы привезены
и поставлены здесь.

Ну виноват! Не мог в стихах
Я передать вам фразы странной,
В академических умах
Мелькнувшей как-то в день туманный;
Глупа она, конечно, страх,
И поражает вас нежданно,
И пахнет пудрой, париком
И семинарии пером.

Что ж делать? глупость с давних дней
Всех академий достоянье,
Времен новейших фарисей
Имеет в оных заседанье;
Но хуже не найти, ей-ей,
Людей духовного нам званья:
Из всех апостолов святых
Иуда лишь в чести у них.

Здесь кстати я сказал бы вам,
Законы разбирая строго,
О том, что всем у нас к чинам
Открыта быстрая дорога,
Но о чиновничестве нам
Говорено, мой друг, так много,
Что признаюся — мне оно
Уже наскучило давно.

К тому ж, скажу без дальних слов,
Я рад, что нет аристократов,
И если б не было рабов,
Я всех бы счел за демократов;
Но этот вечный Хлестаков
С гурьбой военных наших хватов
Невольно желчь вливают в кровь.
Но к сфинксам возвратимся вновь.

Забавно видеть, как уста,
Лицо, глаза уродов Нила
Какой-то нежности черта
Роскошно, страстно озарила.
Востока жизнь моя мечта
В душе внезапно воскресила;
Передо мной лежала степь
И пирамид огромных цепь.

Воскресла, мыслию полна,
Страна, где воплощался Брама,
И с богом мстительным страна
Сынов лукавых Авраама;
Потом другие времена...
Люблю мечтать про рай ислама,
Смотреть, как скачет бедуин,
Песок взметая средь равнин.

Люблю я пальмы и цветы,
Безбрежность, полную покоя,
Олив зеленые листы,
И час полуденного зноя,
И прелесть смуглой красоты,
И запах мирры и алоя,
И жизни лень, и пыл в крови,
И негу жгучую любви.

Я не скрывал, мой друг, от вас —
Происхожденьем я татарин.
Во время оно окрестясь,
Мой прадед вышел русский барин.
С тех пор уж было много нас;
Я богу очень благодарен,
Что наконец рожден на свет
Такой же барин, как мой дед.

Дворянство наше все почти —
Татар крестившихся потомки,
Но можно изредка найти
Фамилий княжеских обломки,
Да как-то мало в них пути;
Их имена, конечно, громки,
Но представители имен
Глупеют в быстроте времен.

Как я досадовать привык,
Волненью тайному послушный,
Я позабыл любви язык,
Нет в мысли шутки простодушной,
Пропало все!.. Лишь боли крик
Живет в груди неравнодушной,
Негодование растет,
И все внутри палит и жжет.

Вы помните, что нравом я
Был тихий, кроткий, даже нежный,
Любил зеленые поля,
И темный лес, и скат прибрежный,
Друзей беседу, шум ручья,
В тиши ночной напев мятежный,
И Теклу Шиллера, и сны,
И луч задумчивой луны.

Здесь все пропало! Целый день
Ношусь я в сердце с злобой скрытой,
Не сплю ночей. То будто тень
Блуждаю с думой ядовитой,
То в апатическую лень
Впадаю вдруг, тоской убитый,
И политический наш быт
Меня без отдыха томит.

8

Есть домик старый. Он стоит
Давно один на бреге плоском.
У двери ходит инвалид.
Две комнаты. С златистым лоском
Налево образ, и горит
Пред ним свеча и каплет воском;
Направо стул простой с столом,
Нева течет перед окном.

Тут он сидел и создавал...
Велик и прост. Сюда порою
Послов заморских принимал;
А здесь он, оскорблен борьбою
С людьми, пред образом стоял
И дух крепил себе мольбою,
И грудь широкая не раз
Вздыхала тяжко в поздний час.

Теперь все пусто. Этот дом
На вас могильным хладом веет,
И будто в склепе гробовом
Душа тоскует и немеет,
Ей тяжело и страшно в нем,
И так она благоговеет,
Как будто что-то тут давно
Великое схоронено.

Есть замок на горе крутой,
Он дышит роскоши отрадой,
Тенистых лип дряхлеет строй
Пред ним зеленою оградой;

Сверкая шумною струей,
Фонтаны вниз бегут каскадой,
И море синее легло
У ног горы и вдаль пошло.

Была блестящая пора...
Здесь прежде женщина живала
И блеском пышного двора
Себя тщеславно окружала,
И с полуночи до утра
На ложе мягком отдыхала,
Несытой негою полна,
В руках любовников она.

Но все прошло — и простота
Царя великого России,
Царицы умной красота,
Обоих замыслы большие,
Цивилизации мечта,
И нынче времена другие —
Разврат запачканный и лесть,
Вражда с свободой, мелкость, месть.

Падешь ты, гордый Вавилон!
Уж божий гнев тебе пророки
Давно сулят со всех сторон.
Ты глух пока на их упреки,
Надменной злобой напыщен:
Но кары божии жестоки!
Бедой грозит народный стон,
Падешь ты, гордый Вавилон!

Томим глубокою тоской,
Сошел я к морю. Ветер злился,
Свистя над мрачной глубиной,
За валом вал седой клубился
И злобно прыгал, и порой
О берег каменный дробился,
И брызги дико вверх кидал,
И с тяжким стоном упадал.

Я был доволен. Я внимал
Так жадно реву непогоды,

Лицо на брызги выставлял;
Борьба души с борьбой природы
Так были дружны... И я знал,
Что, весь мой век прося свободы,
Как вал морской я промечусь
И после с стоном расшибусь.

9

Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Я отпущен в страны чужие!
Я этой мыслью оживлен;
Но были хлопоты большие...
Да это, полно ли, не сон?
Нет! Завтра ж кони почтовые,—
И я скачу von Ort zu Ort,
Отдавши деньги за паспорт.

Конечно, и в краю чужом —
В Париже, в Риме, в Вене, в Праге
(Хоть смысла много нет и в том)
Берут налог с листа бумаги;
Тут ценность дел — вот дело в чем;
Но нет нигде такой отваги,
Чтоб на людей начесть налог
С движенья рук их или ног.

Но что ж? Привычка и нужда,
Я заплатил без возраженья.
Не так ли все мы, господа?
Иной воскликнет — угнетенье!
Другой ему ответит — да!
И общее то будет мненье,
Все покричат себе, потом
Так и останется на том.

Но вам признаться должен я,
Что мне в пути хотя не малом
Быть много времени нельзя:
Когда представлен генералом
Царю доклад был про меня,
Чтоб я не вышел либералом,

Царь подписал: быть по сему,
Гулять шесть месяцев ему.

Полгода! только! о друг мой,
Как это мало! И за что же
Предел поставлен мне такой?
Что воли может быть дороже?
Но благодарною душой
Я одарен тобой, мой боже!
И потому насчет сего
Я не скажу уж ничего.

Поеду. Что-то будет там?
Воскресну ли я к жизни новой,
Всегда предаться новым снам
И новым мнениям готовый?
Иль, странствуя по тем местам,
С душой печальной и суровой
Останусь я, как здесь бывал,
Где столько скорбного встречал?

На ум приходят часто мне
Мои младенческие годы,
Село в вечерней тишине,
В саду светящиеся воды
И жизнь в каком-то полусне,
В кругу семьи, среди природы,
И в этой сладостной тиши
Порывы первые души.

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу:
И грусть и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас

Давно обычай был старинный:
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка бабушка моя
На кресла опершись стояла,
Молитву шепотом творя,
И четки все перебирала;
В дверях, знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел. Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, а с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.

К чему все это вспомнил я?
Мой друг, я сам не знаю, право;
Припадки это у меня
Меланхолического нрава.
Быть может, важность всю храня,
Вы улыбнетеся лукаво,
А может быть, мечтой своей
Забудетесь средь детских дней.

10

Всходило утро. Небеса
Румянцем розовым сияли,
Как первой юности краса;
Но улицы еще дремали
С домами белыми. Роса
Кой-где блистала. Люди спали,
И только белый голубок
Кружился в небе одинок.

Ворча сквозь зуб, попался мне
Один гуляка запоздалый,
Рукой цепляясь по стене;
Да дворник, с вечера усталый,
С глазами, слипшими во сне,
Держа метлу рукою вялой,
Зевая громко во весь рот,
Стоял, крестяся, у ворот.

Нева спокойною струей
Лилась в течении ленивом,
И утро ярко над водой
Сверкало радужным отливом;
Я в лодку сел, и след за мной
Пошел в волнении игривом,
И брызги искрились кругом,
Взлетая звонко под веслом.

Я выплыл в море, и оно
Безбрежно синее лежало,
Сияньем дня озарено,
И тихо воды колыхало,
Спокойной думою полно,
И лодку медленно качало...
Но с берегов ко мне в тот миг
Звук ни единый не достиг.

И было море все кругом...
Лишь у меня над головою
Носился радужным крылом
Жужжащий шмель, и той порою
Мы были только с ним вдвоем

Затеряны над глубиною.
Волну, жужжание его
Я слышал, больше ничего.

И хорошо так было мне,
И я забыл про все печали,
Беспечно вверяся волне;
Терялись взоры в синей дали,
Иль утопали в глубине,
Иль в небе ясном исчезали.
И чувствовал в раздольи я
Лишь бесконечность да себя.

Я в этот дивный, светлый час
Благословил Неву и море;
Душа покою предалась
На голубом его просторе,
И я, в столицу возвратясь,
Забыл и ненависть и горе,
Ее без злобы увидал
И в этот раз не проклинал.

11

Варшава

Так я от невских берегов
Поехал мирно, рысью ровной;
Пять, шесть уездных городов
Еще попались мне до Ковно,
Потом пошли корчмы жидов,
Хлевы свиней вонючих словно;
Всех монополий вечный враг,
Я под полой провез табак.

И вот я в новой стороне,
И вот уж я середь Варшавы;
Дома твердят о старине,
Но мрачен город величавый,
Как витязь, падший на войне.
Везде сидит орел двуглавый,
Над жертвой крылья распустив
И когти хищные вонзив.

Мне жалко жертву. Не легка
Ей тяжесть этой зверской длани!
И если трону поляка
Когда-нибудь я словом брани,
Пусть высохнет моя рука
И пусть прильнет язык к гортани;
Во мне вражды народной нет,
Дай руку, бедный мой сосед!

Твои права подавлены,
Трофеи древние отъяты
И дерзко прочь увезены;
Твоих царей сады, палаты
Сатрапам жалким отданы,
Тебе не счесть твои утраты!..
Бессильный стон один тебе
Остался в горестной судьбе.

Нет, я не враг тебе, сосед!
Как ты, и я люблю свободу
И дал ей жертвовать обет.
Я пострадавшему народу
Теперь шлю братственный привет,
Твою жестокую невзгоду
С слезою вижу, Польши сын,
Как человек и славянин.

Вияся темной полосой,
У ног Варшавы вьется Висла
И ропщет быстрою волной,
И этот ропот, полный смысла,
Звучит мучительной тоской;
И туча черная нависла
Над городом, как мрачный свод
Над гробом. Спи, мертвец народ!

На берегу поляк сидит,
Поляк задумчив, головою
Склонясь кудрявой, вдаль глядит,
И взор безвыходной тоскою
Так полон. Бледен цвет ланит.
Поляк, поляк! С твоей страною
Что сталось, бедный человек?
Что Польша? Умерла навек?

Так в Вавилоне при реках
Они печальные сидели
С молчаньем грустным на устах
И песни вольные не пели,
Повеся арфы на ветвях,
И всё о родине скорбели,
И ждали — выведет пока
Из плена божия рука.

Жди, Польша, молча и поверь,
Все это было в божьей воле;
Спроси попов своих теперь,
Они научат, как в неволе
Смириться должно; рая дверь
Тебе покажут. Что же боле?
А в жизни этой ты страдай,
Носи ярмо и умирай.

Все это, видно, надо так!
Несите крест с благоговеньем,
Любви достоин каждый враг,
Вооружайтеся терпеньем;
Но к Висле не ходи, поляк,
Сидеть с печальным размышленьем,
Вода заманчива — и в ней
Легко укрыться от скорбей.

12

Есть близ Варшавы дивный сад.
Каштанов темная аллея
И тополей высоких ряд
К нему ведут; там, зеленея,
Сирени пахнут и шумят,
И роза юная, краснея,
В тени листов цветет пышна,
Душистой жизнию полна.

Лазенки! Мне вы навсегда
В воспоминаньи сохранились,
Мы там на берегу пруда
С весной друг другу поклонились.

Светла, как зеркало, вода,
И к ней деревья наклонились,
Фонтан журчит, и меж ветвей
Не умолкает соловей.

Не знает птичка наших бед,
Для песен ей везде свобода;
Спокоен розы пышный цвет,
И от заката до восхода,
И до конца с начала лет
Себялюбивая природа
Блистает дивною красой
Средь жизни вечно молодой.

И без участия глядит,
Как мимо, с вечною тоскою,
Венцом страдальческим покрыт,
Дыша сердитою враждою,
Не выпуская меч и щит,
Окровавленною стопою
Идет угрюм из века в век
Себялюбивый человек.

В саду стоит высокий дом:
Король живал в нем для забавы;
Теперь живет враждебно в нем
Вождь подозрительный, лукавый,
Чужим поставленный царем,—
Но в дни бесславья, как в дни славы,
Журчит фонтан, и меж ветвей
Не умолкает соловей.

13

Калиш

Граница! Через полчаса
Я в Шлезии. И вот смущенье
Теснит мне грудь. Поля, леса,
И запах роз, и птичек пенье,
И голубые небеса —
Чужое все! Еще мгновенье,

И закричу невольно я:
Уж вот не русская земля!

Как это чувство странно, друг!
Конечно, разницы ни малой
Нет в двух шагах; но как-то вдруг
Я отдохнул душой усталой,
Как будто цепь свалилась с рук,
И так легко, легко мне стало,
И с верой я на жизнь взглянул
И вольно, широко вздохнул!

В столице Севера, потом
В столице Польши я душою
Был просто мученик. Огнем
Мне сердце жгло; уж не хандрою
То, что меня томило днем
И ночью мучило тоскою,
Я назову — а было, друг,
Отчаянье мой злой недуг.

Уж в будущность страны моей
Никак не мог я верить боле,
И думал, видно, вечно ей
Судил господь страдать в неволе...
И начинал я видеть в ней
Одно заброшенное поле,
Бесплодную глухую степь,
И жизнь звучала мне как цепь.

Но, друг, едва ли я был прав,
Когда б с холодным рассужденьем,
Все вещи строго разобрав,
На все я мог взглянуть с терпеньем —
Не то б нашел. Но слабый нрав
Увлекся внутренним мученьем,
И, как растоптанный цветок,
Я только грустно вянуть мог.

Что ж, с жизнью сладит ли мой ум
И заживет ли сердца рана,
Когда предстанут мне средь дум
Германия? Средь океана

Смышленый Лондон? Вечный шум
Парижа? Снежный верх Монблана,
И с небом вечно голубым
Над старым Тибром старый Рим?

Не знаю! верю! но темно
Грядущее перед очами;
Бог весть, что мне сулит оно!
Стою со страхом пред дверями
Европы. Сердце так полно
Надеждой, смутными мечтами —
Но я в сомнении, друг мой,
Качаю грустно головой.

И вот я вспомнил, как подчас
Мы с вами вечером сидели
Перед камином, и у нас
Под вопль пронзительной метели
Беседа мирная велась.
Признаться вам, часы летели
И даже дело к утру шло,
А было на сердце светло.

Я стану верить. Много есть
Чудесных в жизни сей мгновений,
И если б нам их перечесть!
Вот хоть теперь — ночные тени
Исчезли; радостную весть
С залогом новых наслаждений
Несет мне радужный восток,
Светя на бедный городок.

Addio! Мне пора, друг мой!
Длинна, длинна моя дорога!
С слезою я, мой край родной,
Стою у твоего порога.
Да будет свято над тобой
Вовек благословенье бога!
Гляжу полупечально вдаль,
И право — как мне всех вас жаль!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

(Через двадцать семь лет)

1

С чего проснулось дней былых
Душе знакомое волненье,
И все мне слышен мерный стих
И рифм созвучное паденье?
Я так давно чуждался их,
Их звуков страстное плетенье
Казалось праздностью уму,
Да и не нужным никому.

Что ж обновило бодрость сил?
Ужель весенних песен звуки
До этих пор не схоронил
Ни опыт лет, ни труд науки,
Ни ряд ошибок и могил,
Ни холод обыденной скуки?
Ужель я так остался цел,
Что просто я помолодел?

О нет! Я понимаю вас,
Мои предсмертные сказанья,
В вас не взойдут на этот раз
Любви стремленья и страданья,
Не отзовется тихий час
Спокойно-грустного мечтанья.
Возникли вы не для утех
В последний стон, в предсмертный смех.

2

С тех пор, как я начальных строф
Слагал задумчивые строки,
Прошло десятка три годов,
И жизни жесткие уроки
Не проскользнули без следов,
Казня в размеренные сроки

Бедой и злом — и борода
Давно становится седа.

Гляжу усталый от всего,
Гляжу с тяжелым напряженьем
На то, что вовсе не ново́,
На мир, исполненный волненьем,
И на себя на самого,
И полон внутренним сомненьем,—
Что ж я?.. споткнувшийся пророк
Иль так... распутный старичок?

И жалок мне мой прошлый путь!
Я много ль истине дал ходу?
Свершил ли я хоть что-нибудь?
Одну принес ли жертву сроду?
Иль жизнь умел я повернуть
Страстишкам маленьким в угоду
И сил не поднял с той поры,
А просто все схожу с горы?

Быть может, что под старость лет
Мысль эта всякому пригодна —
Ни счастья, ни покоя нет,
И жизнь мелка и несвободна;
А может быть, постичь секрет,
Как жить с своим понятьем сходно —
Безумно только я не смог
И гибну средь пустых тревог?..

Когда же, внутренней тоской
И покаяньем утомленный,
Гонясь за мыслию живой,
Гляжу на мир, мне современный,—
Мне так же жалок круг людской,
Весь этот круг заговоренный,
Где каждый доблестный народ —
Еще полнейший идиот.

Наш нескончаемый прогресс,
И потому недостижимый,
Похож на путь чрез длинный лес,
Безвыходный, неизмеримый,

Разбоя полный и чудес,
Где зверь большой, несокрушимый
Под песню старых, глупых слов
На бойню шлет простых скотов.

Война и кровь!.. Так вот предел,
Где стали мы с образованьем,
Где даже сохранился цел
Дух революций с их преданьем
Единства нацьональных дел
И всех языц размежеваньем,
Которых цели так дики,
Что царским жадностям с руки.

Война и кровь!.. Вот наш привал,
Где, как в чаду былых столетий,
Опять народ рукоплескал
С избытком чувств и междометий,
Где старый прусский генерал
И император, счетом третий,
Все оттого так и сильны,
Что люди глупы и скверны.

Война и кровь!.. И много лет
Или веков в резне безумной
Еще пройдут... Надежды нет!
В потемках смрадных дракой шумной
Заменят люди мир и свет,
Не нужен им исход разумный —
И человек рожден холоп,
Любовь к свободе есть поклеп.

Все это выражаю я,
Быть может, очень прозаично,—
Лишь было ясно бы, друзья,
А там будь плохо, будь отлично...
Да и не ищет речь моя,
Чтоб муза пела в ней антично,
А сердца боль так велика,
Что к слову просится тоска.

Всемирный шум, всемирный шум,
Германо-римский люд великий,

Многоболтливый Аввакум,
Снаружи гладкий, в сердце дикий —
Не ты моих властитель дум!
Твои затверженные крики
Нейдут твоим пророкам вслед,
И мира нового в них нет.

3

«Что ж сладко вашему уму?» —
Меня вы спросите.— «Россия?» —
«Мы, к сожаленью моему,
Не справились с времен Батыя»:
Скажу я также в *эту* тьму,
Как говорил во тьмы былые.
«Да! Но тогда жил царь-отец,
А этот добр и молодец».

Да будет жирен ваш обед
И крепок храп на сон грядущий.
Вы верите?.. Так вам и след,
Спасаем верой муж имущий,
Но не спасут народ от бед
Ни пошлый лоб, назад идущий,
Ни пара истуканных глаз,
Где мысли луч давно погас.

Вы верите, что *юный* царь
Есть, так сказать, освободитель?
Мужик, который раб был встарь,
Закабаленный стал платитель
И нищ, как был во время бар,
А царь, отечества спаситель,
Крестьянскую понюхав кровь,
Сам на дворян оперся вновь.

Вы дворянин, вам в жизни пир
Всегда был нужен и приятен,
Холопствуйте! Чиновный жир
Не тяготит, не кажет пятен,
Да и за вас есть целый клир —
Вам друг Катков, вам друг Скарятин,

Вы так подлы, что царь вперед
Опоры лучшей не найдет.

Теперь же столько есть манер
Холопствовать с усердьем новым,
Позвать обедать, например,
Фон Комиссарова с Трепо́вым,
Соцьяльных и иных химер
Быть палачом всегда готовым,
Да обругать казенный прах
В туманных тостах и статьях.

Пожалуй, вторить станет вам
Народ во мраке всех незнаний,
Народ — стихия в рост векам,
Основа лучших сочетаний.
Его я, верно, не предам
Позору горьких порицаний,
Он тот — как Слово говорит —
Кто сам не знает, что творит.

Я верю, что народ один —
Ячейка общей лучшей доли,
Но даст ли рост ей господин —
Определить не в нашей воле;
А с вами, истый дворянин,
Позвольте не встречаться боле —
В вас так холоп с злодеем сшит,
Что ненавистен мне ваш вид.

4

Покинул я мою страну,
Где все любил — леса и нивы,
Снегов немую белизну,
И вод весенние разливы,
И детства мирную весну...
Но ненавидел строй фальшивый —
Господский гнет, чиновный круг,
Весь «царства темного» недуг.

Покинул я родной народ,
Где я любил село родное,

Где скорбь великая живет
Века в беспомощном застое,
Где гибнет мысли юный всход,
Томит насилие тупое,
И свежим силам так давно
В жизнь развернуться не дано.

Тайком работа шла у нас,
Я ждал, я верил в перемену,
Как узник верит каждый час,
Что вот конец настанет плену...
Была ли вера — правды глас,
Иль призрак счастию в замену?
Но этой веры не иметь —
Пришлось бы просто умереть.

Покинул я моих друзей,
Но и они мне изменили;
Они мне в гордости своей
Моих ошибок не простили,
Они от истины моей
Давно, слабея, отступили,
И вот мне с робкой мыслью их
Связе́й нет больше никаких.

Один мне друг остался цел,
К нему влекли меня желанья,
И мощь любви, и жажда дел,
Одни стремленья и страданья;
Им труд начатый чист и смел,
Его рука, в стране изгнанья,
Закроет мне, не изменясь,
Мои глаза в урочный час.

5

Какая ночь! Чего в ней нет!
И тень и блеск! Душе печальной
Ее дрожащий полусвет
Повеял негой музыкальной
Знакомых звуков давних лет,
Из дальних стран, из жизни дальней,

Из дальней жизни ранних снов —
Под напеванье мерных слов.

Сквозь серебряного дыма
Светит круглая луна,
Горной речки льется мимо
Неумолчная волна.
Помнишь сказку — все там сила —
Про Илью-Богатыря?
Няня, где твоя могила
У стены монастыря?

Помнишь комнаты большие
И больного старика?
И стучат часы стенные,
И безвыходна тоска?
Помнишь юное томленье,
Согревающее кровь,
И ненужное стремленье,
И ненужную любовь?

Ряд смертей и погребений —
Все бесследно в мгле пустой,
Только призраки и тени
Мчатся в памяти больной...
Сквозь серебряного дыма
Светит круглая луна,
Горной речки льется мимо
Неумолчная волна.

Простите этот старый склад,
Он подвернулся неизбежно,
Я даже к стансам был бы рад
Напев придумать очень нежный,
Настроить слух на чуткий лад,
Чтоб чувство меры безмятежно
Вновь до гармонии дошло —
Иначе в жизни тяжело.

Но музыкальная струя —
Увы! во мне не уцелела,
И паром выдохлась, друзья,
Иль скучным льдом заледенела;

Ее разбила ль жизнь моя,
Тщета ль общественного дела,
Иль просто так, под старость лет,
Изящных звуков жажды нет?

На этот раз, признаюсь вам,
Я не хочу судить об этом;
Быть может, строем звучных гамм
Мне заниматься не по летам,
И потому намерен сам
Я перейти к другим предметам,
Где много желчи, иль любви,
Иль скорбной горечи в крови.

6

Я у окна стою один,
Уныло вдаль вперяя взоры
На зелень мягкую равнин,
На белый снег, покрывший горы,
И слышу с низменных долин
Лягушек трепетные хоры...
А в мыслях все двойной предмет —
Прогресс и память прежних лет.

В былой поре недавних лет,
Где мало света, много чада,
Где «в праздномыслии» поэт
Нашел, что есть своя отрада,—
Я не хочу сказать, что нет
Живой струи, живого склада;
Но, признаюсь — я сам отстал
От этих барственных начал.

Нельзя идти, стремясь к добру,
На труд общественного дела,
Поэтизируя хандру
И усталь сердца, усталь тела,
Жалея томно поутру,
Зачем луна не уцелела;
А в годы прежние не раз
В том доля жизни шла у нас.

Унылый плач по юным дням,
Стремленье в высь, к тому, что вечно,
Тоска по пройденным любвям
И вера в то, что бесконечно,
С глухим сомненьем пополам —
Все это, может, человечно...
Тогда я тоже создавал
Весьма забавный идеал.

Я по коврам блуждал в тиши
И думал грустно: «он был молод»,—
И наслаждался от души,
«Что в душу вкрадывался холод».
Но ведь и те не хороши,
Кто взвел свой полубарский голод
На степень правды... Больше груб
Он вышел, но не меньше туп.

Не отзовется ум живой
На звук напыщенных томлений;
Не вступит праздною стопой
Отсед шляхетских поколений
В движенье жизни трудовой,
Ее страданий и стремлений,
Чтоб стать с народом — как должно —
В едином строе заодно.

Но я пророчу, не боясь,
Исполненный надежды смелой,
Что новый кряж взойдет у нас —
С стремленьем чистым, мыслью зрелой,
И пусть посердит вас и вас,
Но жизни будущего целой
Блеснет в нем яркая звезда —
Затем и гнев ваш не беда...

7

Нельзя сказать чего ясней
О людях нового деянья;
Блажен, кто мог рукой своей
Оставить им кирпич для зданья;

Но все ж в герои повестей —
Из лиц знакомых иль преданья
Берут поэты всех времен:
Гомер — и Майков Аполлон.

Смотреть покойников ходил
Когда-то с Дантом сам Виргилий;
Для отысканья жизни сил
На пляску ведьм, не без усилий,
Сам Гёте Фауста водил,
И черт поэта нё<с> без крылий;
Но человек грядущих лет
Стихами не бывал воспет.

Вопрос мудрен: кто ж мой герой?
Людей грядущих поколенья,
Столь силы полные живой,
Мне незнакомы. Скукой тленья
Объят мир древности немой,
И не дарует наслажденья
Знакомый, но несвежий свет,—
Так, стало быть, героя нет?

НЕАПОЛЬ

1

В час полуденный, на склоне
Раскаленных берегов,
Дремлет смуглый lazzarone,
Враг заботы и трудов.
В шапке красной набекрени,
Грудь широко распахнув,
И от зноя и от лени
Разметался он, заснув;
Брови черные нависли,
Пышет жар от желтых щек,
Руки жилистые свисли
На рассыпчатый песок.
Нищ и бос, и грез не зная,
Век беспечен он лежит,
И, над сонным пролетая,
Чайка серая кричит.
С неба луч палит и блещет,
И, на скат береговой
Набегая, море плещет
Вечно шумною волной.
Strada Nuova, сад и Chiaia,
И Везувий, думы полн,—
Растянулись, облегая
Ширь серебряную волн.
С лона вод в немом покое
Капри синий тихо встал...

Ясно небо голубое,
Жарок воздух, звучен вал:
Хорошо, мой lazzarone,
Спать, не ведая трудов,
В зной полуденный на склоне
Итальянских берегов!

2

За утесами Puzziole
Солнце клонится светло
И лучи свои оттоле
В небе синем разнесло.
Запад красный жарко пышет,
Чист широкий небосклон,
Теплый воздух робко дышит,
Пахнет роза и лимон.
В блеске позднем длинной лентой —
Сквозь туман прозрачный — мне
Виден берег, где Сорренто
Дремлет в светлой тишине.
По лиловому играет
Морю золото лучей,
Море тихо гладь вздымает
Переливчатых зыбей.
Взоры тонут в отдаленьи,
Внемлет слух волне морской
И последнему движенью
Опустелой мостовой.
Челн качается лениво,
У прибережья забыт;
Вечер пышный молчаливо
В небе гаснет и горит.

3

Середь улицы Толедо —
Не для драки или ссор,
Не для дружеской беседы,
Не на грозный приговор

Собралась, полна вниманья,
Любопытная толпа,
Но стеклася на вещанье
Черноризого попа.
Lazzarone босоногий
И зевак прохожих ряд,
И старуха, и убогий,
Дети, женщины, солдат —
Взор недвижен, рты раскрыты —
Все уставились кругом
И глядят на иезуита
В ожидании немом.
Из-под черной длинной шляпы
Школ духовных ученик,
Верный раб святого папы,
Кажет бледно-смуглый лик.
В вдохновеньи заученном
Он, беснуясь пред толпой,
Машет с жестом затверженным
Угрожающей рукой:
«Jesus Christus! Dio Santo!
Гадок наш подлунный мир!
Слово, полное таланта,
Разобьет людской кумир.
Люди! вами путь спасенья
Средь земных утех забыт;
В жизни вечной вам мученья
Церковь кроткая сулит!
Дух упал среди разврата,
Гневен бог на небесах!..»
И латинская цитата
На толпу наводит страх.
Но я видел — это верно —
Итальянке молодой,
Иезуит мой лицемерный,
Бросил взор ты огневой.
И не знаю, после речи,
Как, куда, святой отец,
Для какой нежданной встречи
Забредешь ты наконец...

4

В мгле вечерней дремлет Chiaia,
И расходится народ;
Итальянка молодая
Одинокая идет.
Стан роскошный стройно тонок,
Грудь высокая пышна;
А давно ль была ребенок
Беззаботная она?
Нынче ж страсть во взорах ярких,
Щеки смуглые горят,
И уста лобзаний жарких,
Может быть, уже хотят:
Уж не спросту завит смело
Локон черный по вискам
И с косы платочек белый
Спущен в складках по плечам;
Платьем длинным чуть прикрыта
Пара маленькая ног,
И легко стучит о плиты
Деревянный башмачок.
Вот она, стопой смущенной,
Робко входит в божий храм;
Помолилась пред Мадонной,
Поклонилась образам,
Тихо стала у решетки,
За которой в мгле сидит,
Разбирая молча четки,
Престарелый кармелит.
«Padre mio! Я не знаю
Прегрешенья за собой,
Но я стражду и сгораю
Безотходною тоской.
Кровь, как пламень, льется в теле,
День несносен, ночь длинна —
Я не знаю на постели
Освежающего сна.
Сердце просит все чего-то,
И о чем-то я грущу,
И во тьме ночной кого-то
Тщетно, страстно я ищу!» —
«Часто ль ты творишь молитву?» —

«Я молюсь, отец святой».—
«Знал, дитя, я эту битву;
Тож я молод был, друг мой,
Так же кровь огнем горела,
Я ловил мечту и тень,
И покоя не имела
Грудь моя ни ночь, ни день.
Но я стал поститься строго,
И, пострижен и разут,
Отдал я на службу бога
Каждый миг и каждый труд».—
«Что ж мне делать?» — «Сделай то же:
Монастырь — приют святой;
Да пошлет тебе в нем боже
Силу, святость и покой!»
Стар ты стал, служитель бога,
Смутно помнишь век былой!..
Но пред девой у порога
Итальянец молодой.
Оба вздрогнули и стали...
Уж скорей бы ей бежать!
Ведь о ней теперь едва ли
Не встревожилася мать...
Тьмою улицы покрыты —
Слышен шаг двух крепких ног,
И за ним стучит о плиты
Деревянный башмачок.

5

Над Везувием восходит,
И спокойна и пышна,
И на море блеск наводит
Лучезарная луна.
По лазури неба темной
Звезды ярко зажжены;
Тихо дышит в неге томной
Ночь полуденной страны.
Тих Везувий. Груды лавы
Вкруг себя он набросал
И, дымяся величаво,
Середь ночи задремал.
Я смотрю с Villa Reale

Вдаль по искристым водам:
Тени легкой дымкой пали
По далеким берегам;
Море в сладком усыпленьи
Звучно зыблет лоно вод,
И в туманном отдаленьи
Смутно Капри предстает;
В думе мрачной и суровой,
Как преступник в час ночной,
Одинок Castel del Ovo,
Омываемый волной.
Спит Неаполь, негой света
Лунной ночи озарен;
Я гляжу — и мне все это
Предстает, как пышный сон.

ДЕРЕВНЯ

(Повесть)

ГЛАВА 1

Приезд

У нас нейдет воспоминанье
До предков дальних. Редко дед —
Как судия иль муж побед —
Оставил громкое názванье.
Зато, когда деревня есть,
В ней дом большой,— от внука честь
Неведомому деду, ибо
Невольно скажешь дедушке спасибо.

В деревне внук (он друг природы)
На внуке скачет жеребца,
Чей сын был конь его отца,
Краса наследственной породы,—
И объезжает злато нив
Иль ездит так, когда ленив
Хозяйственной заняться частью,
Столь выгодной, но скучною, к несчастью.

В деревне прежде деды наши
Живали долго, круглый год,
Дрались иль тешили народ
И пир вели из полной чаши,
Держали дворню и собак,—
А нынче уж совсем не так!
Хлеб дешев, дорог рубль — и внука
Нужда в деревню гонит или скука.

Иным, конечно, в мысль припало
В деревне просвещать людей;
Живут, хлопочут, но, ей-ей,
Таких немного, даже мало,
И те (я признаюсь к стыду),
Имея благо всех в виду,
Имеют и довольно лени,
Сей язвы всех славянских поколений.

Подобно им, еще мечтатель —
Хотя уж тридцати годов —
В поместье древнее отцов
Приехал Юрий, мой приятель.
Давно скитаяся один,
Своей свободы господин,
Помещик душ... (я знаю только,
Что было много их, не помню сколько)...

Он захотел нелицемерно
Познанья, ум и жажду дел,
Которой цели не умел
Определить доселе верно,
К тому направить, чтоб село
Его трудилось и цвело,
Чтоб грамоте учились дети
И мужики умнели бы без плети.

Я чту подобные задачи,
Предмет достойный средь веков
Всех государственных умов;
Но я боюсь за неудачи:
Преград нежданных грустный ряд
Весь наш порыв теснит назад
И вдруг подрезывает крылья,
Какие б мы ни делали усилья.

Но Юрий, ехавши в селенье,
Где в детстве он гулял и рос,
Надежд, свежей весенних роз,
В себе заметил пробужденье.
Хоть жизнью он испытан был,
Но всю упругость сохранил
Души несдавленного пыла
(Что часто детскость, иногда и сила).

К тому ж теперь в полезном деле
От смут душевных отдохнуть
Он думал, ибо жизни путь
Довольно странно вел доселе.
Прельщенный блеском эполет,
Герой мой с юну был корнет.
Страсть к киверу питали все мы!
(Тогда носили кивер, а не шлемы.)

Но кивер разлюбил он вскоре;
И круг товарищей лихих,
И ласки граций покупных,
И вин и водок чуть не море,—
Все показалося ему
Противным вкусу и уму,
И видя в службе только скуку,
Он взял отставку и вдался в науку.

Филологии, медицине,
Всему учась во всех странах,
Он слушал Ганса о правах,
Он слушал логику в Берлине;
Потом финансы изучал
И в Альбионе наблюдал
Устройство быстрых паровозов,
Столь выгодных в сравнении обозов.

В Париже посещал он залы
Сорбонны и растений сад,
И слушал прения палат
Прилежно, и читал журналы.
Искусство, древность и досуг
Его влекли на теплый юг
Душ поэтических к святыне,
Где небо си́не, море тоже си́не.

Тогда дремал там дух народа,
Как дремлет стая кораблей
Среди затихнувших зыбей:
Светло вокруг, и нет исхода!
Но ветер дунул, якорь снят,
И мачты парусом шумят,
И все ликует на эскадре...
Вперед! вперед! Corraggio, santo padre!

Но при возникнувшем движеньи
Мой Юрий не был. Средь руин,
Садов, палаццо и картин
Блуждал он будто в сновиденьи;
Благоухающий восход
В Альбани, близ спокойных вод,
Ходил встречать он пышным летом...
Я сам когда-то... ну! да что об этом!..

Элладу Юрий видел тоже,
В Афинах прежнего искал,
Но окончательно узнал,
Что с прежним новое не схоже,
Что умер влюбчивый Зевес,
Перикла пышный век исчез
И древнеэллинского тона
Следа нет даже при дворе Оттона.

Из края в край переносимый,
Чего он ждал, учась всему?
Какой запрос его уму
Предстал, ничем неотразимый?
Начало ль мира, цель и ход
Искал, иль из иных забот
Он рылся в книгах иностранных,
На этот счет я не имею данных.

Молва лукавая носилась,
Что вдаль тоска гнала его —
Затем, что как-то не в него
Одна красавица влюбилась.
Оно быть может. Случай сей
Бывает часто у людей;
Его и сами фаланстеры
Устроить нам не представляют меры.

Молве не верю я отчасти.
Век плакать Юрий бы не мог;
Тоску б он, верно, превозмог:
Имел он слишком много страсти
И слишком жар большой в крови
Для платонической любви,
И скоро б стал для новой встречи
Искать роскошные и грудь и плечи.

Я в Генуе у ног певицы
Его нашел. Она была
С косою черной, но бела,
И если, длинные ресницы
Подняв, она порой на вас
И блеск и негу южных глаз
Роняла в прихоти случайной,
В вас пробегал по телу трепет тайный.

Когда на берегу залива
Маяк вспыхал во тьме ночной
И шум сменялся городской
Далеким гулом перелива,
Она для звуков вся жила,
И песня вольная была
Звучней волны и жарче юга,
Душа рвалась от счастья и недуга.

Но я, пустившись снова в море,
Не знаю, долго ли они
Плели любви златые дни,
Или, остыв, расстались вскоре;
Не знаю, мирно ли пришла
К концу любовь, иль замерла
В упорных ссорах, желчной муке,
И кто из них заплакал о разлуке...

ГЛАВА 2

В степях России необъятной
Желтел печально снег сырой,
Когда в деревню мой герой
Решился ехать в путь обратный.
Шла тройка робко; по шиблям
Ныряли сани вкось и впрямь,
И колокольчик заунывный
Побрякивал в пустыне безотзывной.

И взору после многих суток
Открылся дом в тиши полей,
Средь низких изб и флигелей,
Как лебедь белый между уток.

Храня прямолинейный тип,
За ним был сад из голых лип,
Там купол церкви деревянной,
Не очень ветхой, но довольно странной.

Хоть Юрию и были чужды
Забавы нежных, юных лет:
Предчувствий робкий полусвет
И сердца грусть без всякой нужды —
Но дух ему тоской свела
Картина скудная села,
Как будто вид каких развалин,
Где если есть жилец, то он печален.

Убогих изб вдоль косогора,
Соломой крытых и кривых,
Тянулся ряд — и никаких
Не представлял отрад для взора.
Казалось, сплочены чуть-чуть
Они из бревен как-нибудь
И что кочующее племя
Случайно в них устроилось на время.

Но мы к крыльцу! село минуем.
Уж ключник старый подоспел
И руку барскую хотел
Увлажить рабским поцелуем.
Лобзанье Юрий оттолкнул;
Старик с прискорбием смекнул,
Что уж не тот расчет при сыне,
Что прежде был при старом господине.

Вот Юрий входит в дом старинный...
В пустынных залах по стенам
Сквозь окон бродит здесь и там
Зари вечерней отблеск длинный.
На мебелях слинялый штоф,
Ковры из пыли сверх столов,
И воздух тот, когда с полвека
Не слышно было в доме человека.

Невольно Юрий сердца трепет
В наследном замке ощутил;

Как трудный сон, его смутил
Воспоминаний детский лепет —
О том, что было, что прошло,
Кого в могилу низвело;
А он все жив, и не сломали
Досель его ни радость, ни печали.

Томим тревогой беспокойной,
По всем он комнатам идет
И постепенно узнает
Порядок их не вовсе стройный.
Вот здесь отцовский кабинет,
Где деда жирного портрет
В прическе пудреной и гладкой,
С осанкой важной и улыбкой сладкой.

А здесь в шкафах под слоем пыли —
Отведан крысами — Вольтер,
Руссо, Гельвеций... «Например —
К чему им книги эти были?
Они читали только встарь
Простой и адрес-календарь,
По слуху веруя, что вроде
Бесовских дел вся книга о природе» [1].

Так думал Юрий. С ним едва ли
Согласен я на этот раз:
Как и на Западе, у нас
В том веке многие блистали,
Став резко в обществе пустом,
Своим скептическим умом
Или развратом — так же точно,
Но все с какой-то примесью восточной.

Болезнь души — воспоминанье —
Проходит, был бы крепкий сон;
Заутра труд.— Уж на поклон
Идет народ, явя желанье
Увидеть барина... Зачем?

---

[1] Le livre de la nature, приписываемая, помнится, Гольбаху. <*Прим. Огарева.*>

Любим он, что ль, народом тем?
За что?.. Как Гамлет, скептик грубой,
Я думаю: «Ну, что ему Гекуба?»

Что мужикам тот миф, который
Известен тем, что дважды в год
По почте получал доход?
Да если б и в чужие горы
Не уезжал он,— все равно:
Любовь лишь inter pares [1].— Но
Сильнее разума и знанья
О, ты! недуг наследственный преданья!

Речь Юрий вел о том, что с поля
Мужик взял хлеба, как и кто,
Советовал и то, и то...
Все отвечали: «Ваша воля!»
Но Юрий на такой ответ
Сказал сердясь, что вовсе нет!
Их польза слушаться совета.—
«Конечно!.. но все ж ваша воля это!»

Иной в таком ответе видит,
Что наш мужик отчасти туп,
А он меж тем совсем не глуп;
Он волю чтит, но ненавидит
Ваш ум, как школьник свой урок,
Хотя бы и пошел он впрок.
Заметьте, вас прошу усильно,
Что самый Петр нас просвещал насильно.

Но Юрий думал, взяв терпенье,
Что разум, как подземный крот,
Невидим вроется в народ,
И чтоб подвинуть просвещенье,
Хотя б чрез барский произвол,
Он школу тотчас же завел
(Но сам не мог учить никак он,
И потому учителем был дьякон).

Пока был Юрий мучим жаждой
Полезных дел, соседей полк

[1] Между равными. <*Прим. Огарева.*>

О нем завел всеобщий толк.
Воскресли барышни, и каждой
Мечталось будто бы сквозь сон:
«Уж не жениться ль хочет он?
На ком? Быть может, не на мне ли?..
И страх они как замуж захотели.

Но тщетен был их сон любимый!
Боялся Юрий брачных уз,
Боялся с женщиной в союз
Вступить навек и клятвой мнимой
Лишить, всю будущность губя,
Ее свободы и себя,
И, перестав любить и верить,
Терзать, скучать, хитрить и лицемерить.

«Пусть сердце было б в нашей воле
За хронометр любви признать
И в кабалу не отдавать,—
Мы, может быть, любили б доле!..»
Так думал Юрий, а не я;
Не обвиняйте же меня
О вы, вернейшие супруги,
Мужей унылых скучные подруги!

Соседи мужеского пола,
Равно не ведая его,
Кляли героя моего,
Насколько хватит произвола.
Но Юрий... (Кстати: умолчать
Намерен я, как надо звать
Его по батюшке. Признаться,
Все *ичи* стали мне смешны казаться).

И так же я — во что б ни стало —
Его фамильи не скажу.
Я выгод в том не нахожу!
У нас фамилий звучных мало,
А феодальных в них начал
И вовсе я не замечал.
(Из всех на *ов, ин, ский* и *ейкин*
Звучит недурно — капитан Копейкин.)

Но Юрий, сплетен враг старинной,
Уединенно занят был
И только старосту томил
Беседой мудрою, но длинной.
Мужик догадлив; он постиг
Своим чутьем в единый миг,
Без напряженного расчета,
Что Юрий хочет доброго чего-то.

Но раб привычки боязливой,
Довольный грязною избой,
Пошел обычной колеей
И, озираяся пугливо,
Со страхом барина встречал
И никогда не доверял,
Чтоб с ним была возможность дружбы,
Заплатный труд считая долгом службы.

ГЛАВА 3

Шло время. Уже пост великий
Кончался. Каялось село
И к пасхе сладкий хлеб пекло.
Меж тем на место вьюги дикой
Весенний ветр, с полдён гоним,
Повеял чем-то молодым,
И, не страшась морозов боле,
Прорезался зеленый стебель в поле.

Забился лист на ветке гибкой,
В ручье пошла звучать волна,
И улыбнулася весна
Младенца свежею улыбкой.
Вкушая отдых от труда,
Мог Юрий тоже иногда
Забыться сладко в мирной лени
Под пенье птиц, при веяньи сирени.

Но, вспомнив, что суха дорога,
Решился он изведать честь
С соседями знакомство свесть.
Хотя он радости не много

Предвидел в этом для себя,
Но думал, пользу всех любя,
Что разговор его, быть может,
Их сонный ум немного растревожит.

К тому же, в людях видя только
Их целой жизни результат,
Он многое прощать был рад,
Не презирая их нисколько,
Лишь были б несколько сносны.
«Принять,— он думал,— мы должны,
Что как бы голос ни был скверен —
Все ж можно звук найти, который верен».

Поехал. Близок дом соседний.
К крыльцу! Здесь проживает Лёв
Иванович, полковник Пнёв.
Встречает гнусный дух в передней,
Потом хозяин. Он уж стар,
Но с виду отставной гусар,
В седых усах, чуть рыжеватых,
Решительность в движеньях угловатых.

Он Юрия поочередно
С женой и дочерью своей
И с каждым из своих гостей
Знакомит, и — как странник модный,
Как монумент иль редкий зверь —
Осмотрен новый гость теперь.
Дородная супруга Пнёва,
Привстав немножко, молча села снова.

Они с супругом, очевидно,
Делили в доме барства власть,
Взяв мелкий гнет себе на часть,
Для слуг запуганных обидный.
Дочь Пнёвых, дева в двадцать лет,
Представить не могла примет
Ума или иного дара,
Но все вздыхала и звалась Варвара.

У них гостей-соседей было:
Одна вдова, мать трех девиц,

Безмолвных, но веселых лиц;
Еще с женою, с виду милой,
Советник статский Бобочкин,—
Лишенный места господин
По явном в взятках уличеньи,
За что и был оставлен в подозреньи.

В гостиной все уселись важно;
Пошли вопросы. Юрий тут
Всех общих мест изведал труд,
Часы съедающий протяжно.
«Надолго ли в деревню он?
Зачем и из каких сторон?
А мы и к батюшке езжали,
Но вы нас помнить можете едва ли».

Он точно в памяти упрямой
Их не хранил и отвечал,
Что он тогда был слишком мал.
«Да-с! малы! Помним: в год тот самый,
Когда нам Вареньку дал бог
Любви супружеской в залог,
Уехал с вами ваш родитель
И до конца все был столичный житель».

«Покойник жил весьма богато,—
Вздохнув, заметила вдова,—
Как должен барин!.. как едва
Теперь живет кто!.. Виновата
Война с французом, что у нас
Порода бар перевелась.
У Фистулова генерала,
У одного есть свой оркестр для бала.

А вот в старинные-то годы...» —
«И, матушка! какой тут бал!
По горло всякий задолжал,
Хлеб ни по чем и дрянь доходы;
Да и народ другой пошел:
Бывало, барский произвол —
Святыня; нынче на работу
Насилу розга придает охоту».

Герой наш мог бы по-латыне
На это дать такой ответ,
Что tempora mutantur et
Ум прежний глуп, быть может, ныне.
Но, чуждый педантизму школ,
По-русски просто речь он вел
О том, что выгод было б боле,
Когда б народ наш вовсе жил на воле.

На лицах вспыхнула досада.
Полковник стал свой ус щипать,
Хозяйка не могла поднять
На Юрия прямого взгляда;
Сжал молча губы Бобочкин;
Вдова, припомнив мужний чин,
Народное освобожденье
За личное признала оскорбленье.

И вскоре стали понемногу
Все друг за другом говорить,
Что этого не может быть,
Что вольность не угодна богу
И что ведь надо ж наконец,
Чтоб барин был... ну... как отец
Своих крестьян, иль пастырь стада...
Спросил их Юрий: «Почему же надо?»

Вопрос был прост, ответ был труден,
И Бобочкин, скрывая злость,
Сказал: «Вы здесь заезжий гость,
Ваш взгляд на вещи слишком чуден.
Так вы хотите, чтобы я,
Всю жизнь на службу посвятя,
Под старость не был дворянином,
Моих крестьян законным господином?»

«О вашей службе нет и речи»,—
Промолвил Юрий, но тут Пнёв
Ему докончить не дал слов:
«Так для того против картечи,—
Воскликнул он,— я ставил лоб,
Чтобы какой-нибудь холоп
Мог быть мне равный собеседник?
Нет! я дворян потомственных наследник.

Еще, пожалуй, и землею
Вы нас заставите потом
Делиться с нашим мужиком
И нашей бабой крепостною!..»
И вдруг раздался крик вдовы:
«Пожалуй, запретите вы
За недомытую рубашку
Пугнуть порядком скверную Парашку!..»

Не споря против прав дворянства,
Хоть признаваясь, что оно
Довольно плохо быть должно,
Когда лишь мелкое тиранство
И над рабами грустный гнет
Ему значение дает,
Доказывал герой наш только,
Что в рабстве выгод нет для нас нисколько;

Что, в мнимый веруя избыток,
Не ценим мы, тесня рабов,
Ни капиталов, ни трудов,
И все работаем в убыток.
Соседей Юрий раздразнил,
Но их ни в чем не убедил,
Хоть взгляд его был очень верен,
Что в прозе сам я доказать намерен.

Меж тем ударил час обеда.
Уже икры и водки вид
Щекочет русский аппетит,
И смолкла спорная беседа;
К столу ведут мужчины дам...
Но я молчу: уж прежде нам
Ряд блюд, по чину обносимых,
Бутылки вин — увы! — непроглотимых,

Соседний пир изображая,
Иной описывал поэт... [1]
И в двадцать или тридцать лет
Не изменилась Русь святая!
Державы сильной то закон:
Меж тем как в быстроте времен

---

[1] Смотри «Онегина». <*Прим. Огарева.*>

Меняют люди вкус и веру —
Она все предков следует примеру.
И меж иных обрядов разных
В хозяйстве Пнёвых издавна
Была привычка введена
Обедать на тарелках грязных,
И много прочих мелочей
Из русских допотопных дней.
Но перечесть их нет терпенья...
К тому же все, уже вкусив варенья,

Идут в гостиную обратно.
Желудок свой обременив,
Бывает человек ленив
И склонен к сну невероятно;
И чтобы ум занять, у нас
Обычно в этот грустный час
Колоды карт и мел точеный
Приносятся на стол светлозеленый.

О карты! вас бранят,— но, боже!
Вся государства связь
Без вас наверно б порвалась
(А для народа что ж дороже?),
И мы бы в разные страны
Скорей разъехаться должны,
Затем, что дома нам, на месте,
Без карт и делать нечего бы вместе!

Меж тем как с Пнёвым и вдовою
Уселся Бобочкин за стол
И каждый свой расчет повел:
Купить ли с трефовой игрою,
Иль в вист идти и записать
В свой выигрыш копеек пять,—
Остался Юрий поневоле
Оратором при юном женском поле.

Хозяйка дочери велела
Особенно занять его
Затем, что виды на него
Уже дальнейшие имела.
Но как вести беседу он

Не вовсе был расположен,
В любезность дам сих веря мало,
То разговор неловко шел сначала.

Но Варенька решилась вскоре
Спросить, что, как в чужих краях,
Зимою ездят ли в санях,
И долго ли тошнит на море,
Как папа крестится, и что
В посты за пищу принято,
И бриты ль бороды в народе
И что за шляпки и мантильи в моде?

Проснулось ли воспоминанье
В душе героя моего,
Вопросы ль тешили его,
Но быстро шло повествованье
О том, что вчуже видел он.
Нашли девицы, что мудрен
Его рассказ, но удивлялись
И ахали иль просто улыбались.

Анета слушала... Казалось,
Картины чуждой стороны
Ей были более ясны,
Чем то, что вкруг нее свершалось.
Когда рассказа быстрый ход
Давать мог повод для острот,
Она, задумавшись, искала
Их смысл... и вдруг их понимала.

Что ж не сказал я, кто Анета?..
Анета — юная жена
Советника Бобочкина.
Как к ней нейдет фамилья эта!
Я признаюсь: кого едва ль
Как этой женщины мне жаль!
Когда ее я с мужем вижу,
Его всегда я горько ненавижу.

В пустой глуши степных селений
Безвестно вянувший цветок,
Она ни блеска, ни тревог

Не ведала, ни развлечений,
К которым женщин юных лет
Влечет так страстно модный свет,
Что порицают моралисты
И девы в сорок лет, чьи души чисты.

И если бы могла Анета
Лицом иль белизною плеч
Вниманье юношей привлечь,
Ее преследовать за это
Нашлась бы тетка где-нибудь,
Которая, безбрачный путь
Свершая, все моралью мерит,
Бьет девок крепостных и в бога верит.

Но юных радостей не знала
Анета бедная моя
(Как выше то сказал уж я)
И разве лишь во сне видала,
Что вот... является на бал,
Огнями блещет пышный зал,
Гремит оркестр с высоких хоров,
Мелькают пары, уносясь от взоров.

Она подобна фее нежной,
В одежде белой стан ея
Свободно гибок, как змея;
Ей в русый локон ввит небрежно
Зеленый мирт; двоит уста
Улыбки ветреной черта,
И тайным светом полны очи
Мечтательно, как северные ночи.

Вот взор ее орлиным взором
Встречает юноша... и вдруг
Ланиты вспыхнули и дух
Стеснен биеньем сердца скорым.
Уж в быстрый вальс увлечена
В его объятиях она,
И ручка, скрытая перчаткой,
Дрожит, когда он жмет ее украдкой.

Под звуки скрипок и кларнета
Таится от чужих ушей

Влюбленный шепот их речей...
Но сон бежит, и вновь Анета
Встречает с тяжкою тоской
Фигуру мужа пред собой,
Да сел убогих вид унылый,
И скуку жизни, ей давно постылой.

Отец ее, богач когда-то,
В пирах всей жизни видел цель,
Держал для дочери «мамзель»,
Тщеславясь дорогою платой.
Но раз нечаянный валет,
Понтёра враг, на белый свет
Его пустил молить из хлеба
Довольно тщетно милосердье неба.

Случись жених во время оно,
Известный вор, тупой подлец,
И продал дочь свою отец,
Как продают с аукциона
Глупцу ничтожною ценой
Картину кисти мастерской.
Да это в свете и не ново:
Известно — дочь есть собственность отцова.

И вот в семнадцать лет Анета —
Уж госпожа Бобочкина,
Мужчины в сорок лет жена,
И с ним она, вдали от света,
Должна прожить всю жизнь в глуши
Без тени счастья для души.
Как птичка, пойманная в сетке,
Она побилась, но привыкла к клетке.

Чудовище привычка! [1] Руки
К морозу привыкают; слух —
Визг слушать; гордый дух —
Встречаться с подлостью без муки;
Вздыхали люди о тюрьме [2]
И не клеилось в их уме,
Что можно жить без тьмы и цепи...
Я сам привык к пустому виду степи!

[1] Гамлет. <*Прим. Огарева.*>
[2] Шильонский узник. <*Прим. Огарева.*>

Анете в ум не вдруг вмещалось,
Что можно на одну кровать
Идти с тем человеком спать,
Кого гнушалась и боялась,
Кто дома, деспотом явясь,
Дрался с людьми не горячась,
Лицом был ряб, в привычках грязен,
С кем взгляд и вкус у ней во всем был разен.

Потом постигла поневоле
Она, что выхода ей нет,
Что мучиться нельзя сто лет,
И покорилась божьей воле.
Зато потух блестящий взор,
Умолк веселый разговор,
Улыбка свежая слетела
С румяных уст: Анета отупела.

Письмо Юрия

Мой друг! я думал сделать много!
Я думал — здесь себе исход
В труде рассчитанном найдет
Ума немолчная тревога,
Подобно, как пары, стремясь,
Для цели движут тяжесть масс,
Иначе в пустоте окружной
Разносятся бессильно и ненужно.

Бразды правленья взял я в руки,
Изгнав уныние, как грех,
С надеждой юной на успех,
С запасом мыслей и науки,
Желаньем лучшего томим,
С тем уважением прямым
К лицу, к его правам, свободе,
Которое хотел вселить в народе.

Я думал — барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут
Расчет условий безобидный.
Казалось, вызову я вдруг

Всю жажду дела, силу рук,
Весь ум, который есть и ныне,
Но как возможность, в нашем селянине.

Привычкой связанный ленивой,
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.

И... как мне было это ново!..
Чтоб труд начатый продолжать,
Я должен был людей стращать!
Пойми насквозь ты это слово:
Я должен был стращать людей!
И чем же? — властию моей,
Которой от души не верю,
Которою я гадко лицемерю.

Да! гадко! Гадко и бесплодно!
Я этим верить приучу
Во власть мою, а хлопочу
Дать почву вольности народной!
И впереди моя судьба:
Увидеть прежнего раба
Там, где хотел я человека
Воспитывать для всех успехов века.

Что ж выхожу перед собою
И пред людьми я наконец?
Что? Барин? подданных отец?
То есть плантатор пред толпою
Сих белых негров? Иль опять,
Как и назад тому лет пять,—
Мечтам не верящий мечтатель,
В горячке вечной подвигов искатель?

Итак, мой друг! вперед ни шагу!
Желанья тщетно пропадут,
Я только на пустынный труд

Растрачу силу и отвагу.
Один не изменю я ход,
Который избрали: народ,
Его правительство и барство,
Всю гнусность под названьем — государство.

И выход есть один: терпенье!
Терпенье! в этом слове, друг,
Две вещи высказаны вдруг:
Бесплодная работа и мученье!
Терпенье! — выход!.. Так сносить
Среду, где довелося жить,
Насколько б ни было в ней скверно,—
Есть выход?.. О, как это лицемерно!

Так что ж? Теперь — еще покуда
Я сил запас не истощил,
Для денег денег не ценил,—
Уж не бежать ли мне отсюда?
Чтобы уйти, я мужикам
Именье все и волю дам...
Но этим, не исправив нравы,
Я послужу невеждам для забавы!

И все же жаль мне цель оставить —
Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин,
Деревни вольной гражданин.
Вот все, чего ищу... Ужели
Для этого мы даже не созрели?

О! если так, то прочь терпенье!
Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай! —
Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить,
Все высказав, что душу гложет,—
Всю ненависть или любовь, быть может.

Хочу по крайней мере, чтобы
Хоть умер я на почве той,

Где любит волю род людской,
Где я глаза б закрыл без злобы,
Вдали от всех тупых рабов,
От всех властителей — глупцов,
От козней темных и злодейских
И всех смешных надзоров полицейских.

Но до конца
Я стану в чуждой стороне
Порядок, ненавистный мне,
Клеймить изустно и печатно,
И, может, дальний голос мой,
Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом,
Накличет бунт под русским небосклоном.

ГОСПОДИН

(Повесть)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В то время таяли снега,
Весной дышало. С дикой силой
Взрывая лед, на берега
Река волнами находила.
Сквозь грязь мелькала зелень трав,
И с юга прилетели птицы,
Но все ж упорно вид столицы
Хранил враждебно зимний нрав.

Андрей Потапыч, малый славный,
Лелеять стал в мечте своей
Ручья журчанье, шум дубравный
И зелень яркую полей;
Являлся реже на обеды,
Чуждался поздних вечеров,
Литературные беседы
Его томили. «Много слов,—
Он думал,— только мало дела...»
И даже критика сама,
Сей плод немецкого ума,
Ему до смерти надоела.
Он начал думать о себе,
О том, что молодость проходит,
А он одно в своей судьбе
Праздношатание находит.

Печально в угол из угла
Бродя один в своей квартире,
Решил он, что пора пришла,
Чтоб дело делать в этом мире:
Начать воспитывать крестьян,
В их нравах сделать улучшенья,
Зерно ума и просвещенья
Посеять в глушь далеких стран.
Решил — и в путь пустился дальний,
В свою деревню — край печальный.

Тащился тряский тарантас,
Иван дремал на козлах шатких;
Андрей Потапыч, утомясь,
Качался в сновиденьях сладких.
Широкой лентой мягкий путь
Лежал без грязи и без пыли,
Два следа, лоснистых чуть-чуть,
Колесы дружные чертили.
Ямщик коней не погонял,
Лениво двигались их ноги,
И колокольчик замирал...
Весенней почкой вдоль дороги
Березы пахли, и вдали
По лону ровному земли —
Зеленое и молодое
Тянулось поле озимое.
Садилось солнце, и тепло
На землю мирную лило
Румяное мерцанье света,
И в небе жаворонок где-то,
Колеблясь трепетным крылом,
Прощался звонко с ясным днем.
Андрей Потапыч, в качке мерной
Вздремнув, очнулся от толчка,
Спросил, как смена далека
И почему так едут скверно?
Потом, взглянув вокруг себя
На тихий мир, весной согретый,
Природу искренно любя,
Он молвил: «Хорошо все это...»
И погрузил свой томный ум
В туман блаженно-грустных дум.

Он размышлял, что неизбежно
Он сгубит молодости цвет,
Что слишком трудно, безнадежно
Он любит вот уже пять лет;
Но несмотря на всё страданье,
На жизнь мучений и тоски,
Он о любви воспоминанье,
Как животворное мечтанье,
Хранит до гробовой доски.
Он думал, как она прекрасна,
Как простодушна, как мила,
Что за душа в улыбке ясной,
Как ручка у нее бела,
Как нежен взор ее и томен,
Весь вид как страстен и как скромен,
Как в мягком голосе слышна
Сердечной ласки глубина!
Конечно,— он любил безгласно,
Да он и не захочет ей
Беспечной жизни, жизни ясной
Тревожить страстию своей.
О! если б верною сестрою
Она весь век ему была,
Ему бы жизнь была мила,
Он был доволен бы судьбою...
Баллады увлечен стихом,
Он вспомнил, как они вдвоем
На даче, в августе, мечтая,
Читали вместе после чая.
Конечно,— он не пара ей:
Помещик он не многодушный,
Ее ж отец старик бездушный
И метит высоко, злодей!
И голос у него протяжен,
И круг знакомых слишком важен!..
Андрей Потапыч обвинял
И сам себя; он отвергал
В своих приемах лоск столичный
И замечал уже не раз,
Бывало, в зеркало смотрясь,
Что платье, сшитое отлично,—
Бог знает, право, почему —

Все как-то не к лицу ему.
Застенчивость его погубит!
Одна надежда у него,
Что, может быть, еще его
За нежность женщина полюбит.
О! сердцем он почти герой
И благороден по природе,
Стремится к правде и свободе,
Не глуп, не неуч — и порой
В науках подвизался смело...
Но ей что до того за дело?
Он вспомнил, как он ревновал,
Безмолвствуя в тоске безмерной,
Как чаще всех его смущал
Один полковник инженерный,
Всегда находчивый в речах,
Высокий, статный и в усах.
Андрей Потапыч с страстью нежной
Тут принялся было опять
Любить так трудно, безнадежно,
Как и назад тому лет пять.
Он также вспомнил: после бала...
Но тройка вихрем вдруг помчала,
И, с шляпой наискось на лбу,
Махнув кнутом, ямщик удалый
Подвез к станцьонному столбу.

Дней несколько, а может, больше
(Как Чацкий дерзко отвечал)
Дорога длилася,— не дольше;
Андрей Потапыч поскучал.
Уже незадолго до дому,
Подъехав к берегу крутому,
Он увидал — внизу река
Была как море широка.
Над нею солнце вкось сверкало,
По ней крутясь волна бежала,
Кой-где уныло паруса
Как точки белые виднелись,
И где-то там вдали синелись,
Теряясь из виду, леса.
В раздольно-сладостной истоме
Андрей Потапыч тут вздохнул

И переехал на пароме.
Ямщик постромки пристегнул
И барин, погодя немного,
Своей проселочной дорогой,
По кочкам шеи не сломив,
Домой доехал здрав и жив.

Андрей Потапыч был доволен:
Знакомый пруд, знакомый сад!
Здесь детский возраст был так волен!
Здесь все, чему бывал он рад,
Вновь на глаза его предстало
И чуть до слез не взволновало.
Все тот же на дворе стоял
Уныло домик деревянный,
И мезонин довольно странный
Его вершину замыкал.
У полусгнившего забора
Сторожка пса была видна,
Пса — охранителя от вора...
Теперь пуста была она;
Соскучась жизнию пустынной,
Знать, околел он, друг старинный!
Немного подгнило крыльцо,
Но в доме комнаты в порядке,
На мебели чехлы и складки
И все, как было, налицо;
Конечно — так давно не жили,
Что все покрыто слоем пыли.
Вот комната: старуха мать
Любила здесь чулок вязать;
А вот и небольшая зала:
Здесь чай соседям разливала.
Вот здесь отцовский кабинет,
Где Павла первого портрет —
Курносый, с палкой, в треуголке.
Старик, бывало, здесь ходил,
В халате пестром и в ермолке,
И трубку исподволь курил.
Покойники!.. У них порою
Не обходилося без ссор,
Но большей частью все за вздор,
И жили дружною четою.

Вон виден памятник в окно...
Теперь они уже давно
Гниют себе рядком, как надо,
У старой церкви за оградой.

Андрей Потапыч в эту ночь
Томился. То ли был с дороги
Взволнован и разбит невмочь,
То ль, полный грусти и тревоги,
Былое время выкликал...
Что б ни было, но он не спал.
Скребнет ли мышь, щелей жилица,
Или где скрипнет половица,
Или бродячей пустотой
Повеет в тишине ночной,
А у него и дух спирало
И тело в зноб и жар бросало.
Чуть, алым трепетом горя,
Проснулась ранняя заря,
Андрей Потапыч встал с постели,
Оделся, растворил окно:
Село едва озарено
Виднелось. Петухи пропели.
За садом светлый пруд лежал,
В зеленой чаще крылись тени,
Росой дрожащей лист блистал
И воздух утренний дышал
Благоуханием сирени.
Андрей Потапыч в этот миг
Блаженство тишины постиг;
Но тут он вспомнил, что, однако,
В деревне жить себя обрек
Он не без цели, как гуляка,
Живущий никому не впрок,
Что пользы общей мысль хотела
И, стало, надо делать дело.
Он вынул привезенных книг
Запас, суливший много толку,
И в шкаф расставил их на полку:
Творенья Тэйра и других
Новейших лет индустриалов,
Еще народных школ обзор
И ряд практических журналов.

Он не любил до этих пор
Агрономической науки;
Охотнее в цепи веков
Следил деяния отцов
И повести читал без скуки,
И как дитя — насчет того,
Что создает нужду людскую,
Что прямо входит в жизнь живую,
Не знал он ровно ничего.
Вот это-то его и мучит!
Но, впрочем, дело не уйдет:
Займется, кое-что прочтет,
И сам поймет, и всех научит.

Была суббота в этот день:
Осилив старческую лень,
К обедне старики ходили
Своих усопших помянуть
И тихо господа молили,
Чтоб дал душам их отдохнуть;
Взамен покойников просили,
Чтобы и в свой черед они
Живым послали долги дни.
Спеша на пашню, поп с досадой
Пролепетал мужей и жен
Чуть не до тысячи имен;
Носился ладан в виде смрада,
И сарачинское пшено,
Молитвою осенено,
Побыв на маленьком налое
И чуть не сделавшись святое,
Прошло чрез грешные уста
Во славу господа Христа.
По окончании обедни
Толпою старики пошли
И мирно хлеб и соль несли,
И в барской собрались передней;
Чины дворовые вперед,
А позади простой народ.
Андрей Потапыч рад без меры
Был прежних увидать друзей:
Вот дядька старый, детских дней

Ворчливый друг; но фрак свой серый —
Господской службы ветеран —
Сменил на будничный кафтан,
И сгорбился, и весь в морщинах,
И белой бородой оброс,
И тело у него тряслось.
А вот в подобных же сединах
И повар допотопных дней;
А вот и маменькин лакей,
Который человек был кроткой,
Вязал чулок и пахнул водкой.
А как же сделалась стара
Покойной нянюшки сестра!
И целый мир вставал из тленья...
Помещик полон был смущенья;
Но не нашлося никого
Крестьян знакомых у него.
Все друг за другом подходили
И ручку барскую просили
Облобызать наперерыв;
Но ручку как-то отклонив,
Андрей Потапыч, весь сконфужен,
Шептал, что сей обряд не нужен.
Потом приказчику велел
Ужо подать себе отчеты,
Затем, что ход конторских дел —
Предмет особенной заботы,
И завтра утром у ворот
Велел собрать крестьянский сход.

Сход собрался, и с умиленьем
Помещик вышел на крыльцо.
Раскланялся. Его лицо
Сияло чуть не вдохновеньем.
В его уме теснилось вдруг,
Что он своим крестьянам друг,
Что патриарх он благородный,
А может, и трибун народный!..
Без шляп стоял пред ним народ
(К чему обычай ни понудит!),
Вперив глаза, разинув рот,
Все ждали молча: что же будет?
Андрей Потапыч речь держал

(И очень был собой доволен);
Андрей Потапыч им сказал,
Что человек родился волен
И потому он даже б мог
Свести их с пашни на оброк.
Хотел их мненье знать заране.
Затылки почесав, крестьяне
С единогласием в ответ
Сказали: «Почему же нет?»
Потом он развил мысль благую,
Что надо школу бы завесть:
В ученье видел вещь святую
И путь довольство приобресть.
Науки с точки зренья строгой
О земледелии начав,
Замялся как-то он немного —
И, слова два еще сказав
Об истинном вреде засухи,
Велел им поднести сивухи
И воротился в барский дом.
И долго мужики потом
Смекали в болтовне досужей:
«Что?.. Лучше будет или хуже?..
А бог весть!.. Правду говорить,
Приказчика пора б сменить...»
Сначала шибко толковали,
А там как будто б и устали
Терять слова по пустякам
И разошлися по домам.

По размышлении недолгом
Соседей навестить своих
Почел Андрей Потапыч долгом:
Раз, чтобы не обидеть их,—
С отцом и матерью иные
Друзьями были; во-вторых,
Как скучны б ни были другие,
Он не простил себе бы ввек,
Он — просвещенный человек,—
Когда б оставил без вниманья
Удобный случай для влиянья.
И тотчас начал он с того,
Что съездил к набожной соседке,

Подруге матери его,
Старухе, жирной домоседке,
Хозяйке истинной. Она
Уже и тем была славна,
Что секла раз середь недели
Дворовых девок, чтоб в шесть дней
Избаловаться не успели:
Нельзя не остеречь детей!
Потом он к старому соседу
Поехал и поспел к обеду.
Старик отлично ел и пил;
Учтивостью известен был:
Когда подчас лакею в рыло
Совал размашистый кулак,
Не изменял себе никак
И приговаривал: «Мой милый!»
Скупясь на время вообще,
Андрей Потапыч и еще
К соседу поспешил другому,
Коннозаводчику лихому;
Потом к любителю собак,
Потом к сутяге записному,
Который был с судьею враг;
И к господину пожилому,
Которого признал весь свет
Одним из милых вертопрахов,
И к старой деве, с юных лет
Охотнице до иермонахов,
И под наследственную сень
Андрей Потапыч утомленный
Явился на четвертый день.
Но вид имел весьма смущенный,
И чувство скорбное таил,
Что никого не удивил,
И был неловок в разговорах,
И не довольно ясен в спорах,
И из влияния его
Не выйдет ровно ничего.

Его исправник мимоездом
Поздравить заезжал с приездом
И звал на выборы зимой.
К нему стал ездить становой,

Короткий, толстенький, вертлявый,
Низкопоклонный и лукавый.
Андрей Потапыч, сколько мог,
Чуждаясь близости постыдной,
Держал себя как некий бог;
Сперва он слушать безобидно
Не мог чиновничий язык,
Язык грабительства позорный
И нищенства язык притворный,
В котором слышен грязно дик
Разврат, неловко затаенный;
Но после ко всему привык,
Смотрел на вещи благосклонно,
Иное извинял слегка
Несчастной долей бедняка
И принимать стал без боязни
Подобострастный знак приязни.

Страшась минуту потерять
В труде, исполненном значенья,
Он ради школ и просвещенья
Решился что-нибудь начать.
И на базаре добыл книжку,
Не новую для наших дней,
И начал азбуке по ней
Учить дворового мальчишку;
Сперва день каждый, не ленясь,
Потом в неделю по два раза,
Потом учил в неделю раз.
Его усердие от аза
Тихонько под гору все шло
И скромно вовсе прилегло,
И он, не жертвуя химере,
Ученье прекратил на хере.

Хозяйству посвящая день,
Андрей Потапыч был намерен
Изгнать обычной жизни лень
И плану был сначала верен;
Но скоро убедил его
Кузьма Терентьев, что напрасно
Вводить оброк, и для чего?
Что мужики народ опасный

И не заплатят ничего;
Что, если с добротой всегдашней
Помещик быт крестьян своих
(Отнюдь не допуская шашней)
Улучшить хочет,— должно их
Попрежнему держать на пашне.
В отчетах верность увидав
И цифры всё встречая те же,
Андрей Потапыч вышел прав,
Что стал заглядывать в них реже.
Кузьма Терентьев управлял,
А барин, позабыв заботу,
Иль просто по лесу гулял,
Иль, страсть почувствовав к болоту,
С утра сбирался на охоту
И поздно приходил домой,—
Когда уже и солнце село
Давно далеко за рекой,
И поле тихое темнело,
Светились звезды в синеве,
Шел пар душистый по траве,
Коростеля в тиши глубокой
Томился голос одинокой...
Андрей Потапыч той порой
Касался к заживавшей ране
Своей любви непонятой;
Но и любовь уже в тумане
Тонула зыбко день за днем,
И он обычным шел путем
И расплывался в грустной лени,
Неясной, как ночные тени.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В июле жарок летний день.
Андрей Потапыч, друг покоя,
В лесу от тягостного зноя
Искал спасительную тень.
Деревья колыхались хором,
И лес был занят разговором
Зеленых листьев и ветвей,
И в нем был слышен робкий шепот
Каких-то ласковых речей,

Или глухой, далекий ропот
Народной смуты, иль зыбей
Вдоль по безбрежию морей;
Над лесом небеса сияли,
Лучи сквозь чащу проникали,
Теней и света мельком взор
Следил трепещущий узор;
По ветвям птиц народ болтливый
Порхал и прыгал суетливо,
И насекомых пестрый рой
Жужжал в траве и над травой;
А воздух в медленном движеньи
Дышал и мягко и тепло,
И человек, склонив чело,
Дремал и слушал в упоеньи.
Андрей Потапыч на траву
Под дубом лег в тени прохладной
И тихо грезил наяву...
О чем?.. бог весть! Но так отрадно,
Так чувством жизни поглощен,
Как грезит дней весною ранней
Дитя, баюканное няней,
Под песню, внятную сквозь сон.

Но вдруг он слышит — голос женский
В раздольи груди деревенской
Далеко по лесу поет —
То звонко льется, то замрет,
Потом все ближе, все звучнее...
Андрей Потапыч поскорее
Вскочил, вздрогнув, и еле жив
Стоял, дыханье притаив.
Вот птичка ближняя вспорхнула,
Пугаясь шелеста шагов...
Из-за встревоженных кустов
Головка смуглая мелькнула.
По щечкам смуглым, разгорясь,
Бродил румянец, и дорогой
Коса роскошная немного
Из-под гребенки развилась
И колебалась непокорно
Вкруг смуглой шейки прядью черной;
В дыханьи частом утомясь,

Уста раскрылись и алели,
И очи черные блестели...
Вот, на две стороны клонясь,
Дрожит орешник расступясь —
И образ девушки красивой
Остановился боязливо.
Она гибка, она стройна;
Хоть дурно платьице простое,
Но прелесть юная видна,
На зло шитву, в плохом покрое;
Едва ли ей осьмнадцать лет
Начел бы деревенский свет.
Она за спелою малиной
Блуждала по лесу с корзиной;
Взглянула, закричала: «Ах!»
Бежать хотела второпях,
Но свой порыв остановила,
И только глазки опустила.
Андрей Потапыч на нее
Глядел безмолвно, как на чудо;
Но, ободрясь, спросил ее —
И кто она и шла откуда?
Она — «Из вашего села,—
Сказала,— Катя, дочь лакея».
А он, любуясь и робея,
Шепнул невольно: «Как мила!» —
И покраснел, и Катя тоже,
И оба, вдруг потупя взор,
Стояли на детей похоже,
За шалость внемлющих укор...
И разошлись...
                                Но с этих пор
Андрей Потапыч, весь расстроен,
На дне души был неспокоен,
Боролся он с самим собой,
Не верил сердца страсти новой,
Считал ее за бред пустой,
Хотел за труд приняться снова,
Чтоб пыл души угомонить
И чувство глупое забыть.
А как-то все его тянуло —
Пройти случайно близ дверей
Избы, где жил старик лакей...

Дверь, может, ветром распахнуло б,
И личко смуглое мелькнуло б,
И сердце вздрогнуло б сильней;
Пройти случайно мимо окон —
Не встрепенется ль черный локон...
Уже подметив ранний час,
Когда росистою тропою
Ходила Катя за водою,—
Он до зари вставал не раз,
Чтоб повстречаться ненарочно
И поклониться непорочно.
Он даже (скользок жизни путь!),
Хоть презирал святые бредни,
В воскресный день ходил к обедне,
Чтоб только на нее взглянуть!
Иван, как человек бывалый,
Подметил все. Расчел, что мог
При этом выиграть немало,
Что барский выгоден порок,
И — как столичный психолог —
Решился как-нибудь случайно
Заставить вспыхнуть пламень тайный.
И вот поутру, той порой,
Как в силу звания и чина,
Он руки барские невинно
Студеной орошал струей
Из разноцветного кувшина,
А барин фыркал и плескал,
С ланит господских грязь смывая,—
Он вдруг нечаянно сказал,
Как будто что-то вспоминая:
«Вы Катю знаете? Она
В вас просто сильно влюблена!»
Все было кончено! Мгновенно
Андрей Потапыч обомлел,
И задрожал, и побледнел,
Сказал Ивану раздраженно,
Чтоб вздору говорить не смел;
А сам поверил откровенно,
И страсть губительным огнем
Тревожно разгорелась в нем,
И самолюбьице пустое
Задето было за живое.

Но, боже мой! Ужели он
Любви недавнее страданье
Забыл, как мимолетный сон?
Ужель о ней воспоминанье
Он сменит на пустую связь
И окунется в эту грязь
Дворовых сплетен, барской власти —
Родного края злой напасти,
Которую до этих пор
Он ненавидел, как позор?
О, как он слаб! как сердце шатко,
Как жизнь идет смешно и гадко!

В аллее дальней, темной сада,
Где в полдень веяла прохлада,
Сливались с шепотом листов
Слова двух тихих голосов:
«Нет, нет! не так меня ты любишь!» —
«Да как же вас еще любить?» —
«Нет! ты дитя. Меня ты сгубишь
И не заметишь, может быть!
Ну — поцелуй!..» — «Ах, страшно стало!
Ну, вдруг увидит кто-нибудь?..»
И вот, припав к нему на грудь,
Она его поцеловала.
«Ты приходи ужо ко мне!
Все в доме будут спать глубоко,
Ты только свечки одинокой
Увидишь свет в моем окне...
Придешь?..» — «Боюсь — отец узнает!» —
«Он не узнает ничего!
И что бояться нам его?..» —
«Ах, кто-нибудь да разболтает!» —
«Придешь?» — «Не знаю!.. Ну, приду...»
И мерно слышен был в саду
Самодовольный шаг мужчины,
И видно было — за куртины,
Пугливо удаляясь, шли
И торопилися две ножки,
И платье белое вдали
Еще мелькало вдоль дорожки.

Андрей Потапыч в этот день,
Сказав, что отдых что-то нужен,
Что голова болит и лень,—
Себе спросил пораньше ужин.
Потом сердился, что Иван
Так долго роется в буфете,
Подумал даже, что он пьян,
И побранить имел в предмете...
Но тише!.. Замер глупый стук,
И в доме смолк за звуком звук,
И в окны, звездами мерцая,
Глядела молча ночь глухая.
Ни зги не видно! Чу!.. постой!
Как будто шорох ухо слышит...
То праздный ветер в тьме колышет
Деревья сада... боже мой!
Как сердце бьется! грудь чуть дышит,
И крови трепетный приток
В виски стучит, как молоток.
Вот сторож в колокол докучный
Спросонок троекратно бьет.
И робко гул в ночи идет
И замирает в мгле беззвучной.
Ужель обманет — не придет?
Но что-то движется вперед
К крыльцу — подобно черной тени,
И тихо скрипнули ступени,
И ручка медная замка
Пошевельнулася слегка.

Поутру дворня вся узнала,
Где Катя ночку ночевала.
Кто первый слух пустил в народ?
Бог знает! Кто их разберет?
Сама, знать, Катя разболтала,
Скорей похвастаться желала.
И быть иначе не могло:
Помещик — не простой любовник,
Как кучер иль какой садовник;
От них ни жутко, ни тепло,
А быть наложницею барской —
Тут тотчас превосходство есть,
Какой-то призрак власти царской,

И сам разврат идет за честь;
Пойдут поклоны с приношеньем,
Все девки с зависти себе
Обгложут ногти, и к тебе
Приказчик сам придет с почтеньем.
В селе пропала тишина,
Страстишек рой проснулся гадок,—
Как ила грязного со дна
Внезапно взболтанный осадок.
Неугомонный толк пошел
Дворовой кучки в мелком мире;
Иной был рад, другой был зол,
Кто речь на улице повел,
Кто совещался на квартире.
Иной приказчика хвалил,
Ему пророча награжденье;
Другой приказчику сулил
Отставку, розги, поселенье;
Решили мужики спроста,
Чтоб Кате поднести холста;
Ее отец, на все готовый,
Душой не римлянин суровый,
Уже ласкал в мечте своей
Тулуп дубленый вовсе новый
И то, что в год на старость дней
Положат двадцать пять рублей;
И даже тетка при разгроме
Мечтала ключницей быть в доме,
И даже тетки мужа брат
Себе богатый ждал оклад.
И только дядька престарелый
Ни в чем участия не брал,
И что-то хмурился день целый,
И в одиночестве молчал.
Давно в однообразном ходе
Тянулась старой жизни нить:
С закатом дня и на восходе
Привык он с удочкой ходить
На берег пруда и прилежно
Безмолвно долгие часы
Глядел на поплавок мятежный
И на движение лесы.
Но с недовольною заботой

Под вечер памятного дня,
Угрюмо голову склоня,
Сидел он за своей охотой.
А между тем кругом его
Не изменилось ничего;
Все так же вечер был прекрасен,
Все так же пруд был тих и ясен,
Все так же резво кое-где
Круги мелькали по воде;
Все так же вековой березы
Листы, висевшие над ним,
Шептали шепотом глухим
Про юных дней былые грозы;
Но что-то в нем не улеглось,
Как будто сердце порвалось,
И рыба как-то не клевала
Или срывалася с крючка,
И чувство скорби выражало
Лицо седого старика.

А Катя?.. Катя своенравно
Гордилася сама собой,
Своим значеньем и красой,
С дня на день более тщеславна.
Уже ее наряд простой
Сменили платья городские
И ярко-шелковый платок
На плечи кругленькие лег,
Блеснули серьги золотые,
И ленту алую в косе,
Завидуя, хвалили все.
Уже она невольно стала
Смотреть на дворню свысока
И совершенно презирала
Привет простого мужика.
Уже и кушанье ей слуги
Носили с барского стола,
Ей робко кланялись подруги,
На чай приказчица звала.
Когда она по воскресеньям
Входила в церковь,— перед ней
Толпа склонялась с уваженьем
И расступалась у дверей.

Что грезилось в ее головке?
Какою бес дразнил мечтой?
Уж не казалось ли плутовке,
Что будет барскою женой?
Нет, Катя так не шла далеко,
Но власти вожделенный миг
Ловила жадно, и глубоко
Ей лести внятен был язык.
И начинала понемногу
Она сердиться на людей,
Когда кто поперечил ей
Иль не дал во-время дорогу,
И даже к барину она
Ходила с жалобой кичливой.
Андрей Потапыч боязливо,
Пугаясь, что нарушена
Домашней жизни тишина,
Пугаясь ссоры иль угрозы,
Сперва ей лаской гнев смягчал,
Потом уныло тосковал,
Услыша пени, видя слезы,
И, внемля вкрадчивым словам,
На слуг сердиться начал сам.
И как же быть? Не для него ли
Она своих невинных дней
Пренебрегла беспечной долей
И жизнью мирною своей?
Подверглась завистям, упрекам,
Вражде, двусмысленным намекам?
Он хочет, чтоб и каплей слез
Ей день единый не затмился,
Хоть самому б страдать пришлось;
Да и на что б он не решился
За взгляд, улыбку, звук речей,
За сладость жаркого лобзанья,
За негу медленных ночей,
За эту странность обаянья,
Что к милой женщине манит
Неотразимо, как магнит?

Шло время. Наступала осень.
Уныло мокрый лист в саду
Желтел и падал. Только сосен

Осталась зелень на виду;
И та, почуя дни сырые,
Уже без запаха смолы
Качала капли дождевые
С печально вымокшей иглы.
Андрей Потапыч у камина
Сидел один и размышлял;
Осенний ли припадок сплина
Его томил,— но он скучал.
У ног его широкоглавый
Его товарищ, пес легавый,
Свернувшись в праздной тишине,
Дремал и вздрагивал во сне.
Впорхнула Катя птичкой вольной...
Но заворчал спросонок пес,
Ее приходом недовольный,—
И Катя вспыхнула... Сквозь слез
Пошла роптать, что «не похоже
Уж это вовсе ни на что:
Добро уж люди за ничто
Грызут,— а и собака тоже!..
А он, из нежности к кому
Позором век ее покрылся,
Молчит и ничего ему!..»
Андрей Потапыч рассердился
И, сняв арапник со стены,
Хватил собаку вдоль спины.
Пес вспрянул и прилег пугливо,
Пополз на лапах и визжал
И с видом скорби терпеливой
Стопы хозяина лизал.
Андрей Потапыч чуть не вскрикнул;
Стоял, подавленный стыдом,
Арапник выпал, взор поникнул,
И грудь вздохнуть могла с трудом.
Собаку поласкав рукою,
На Катю он взглянул с тоскою
И, сам себя внутри кляня,
Велел скорей седлать коня
И ускакал... Езды тревога,
Быть может, заглушит немного
Весь этот внутренний укор!

Положим, что поступок вздор;
Но пес, который им наказан,
К нему был истинно привязан.

Усталый конь лесной тропой
Вез тихо всадника домой,
Ступая медленным копытом
По сучьям и листам размытым.
Осенним ветром вкось гоним,
Навстречу дождь хлестал, и с ним,
В один докучный гул сливаясь,
Нагие ветви, колыхаясь,
Шумели, наводя тоску;
И мокрый ворон на суку
Враждебно каркал, и сорока
В кустах болтала род упрека,
И тяжко было для души
Средь увядающей глуши.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Перед шипящим самоваром
Сидел приказчик за столом,
Где были пряники и ром.
Приказчик угощал недаром,
Недаром, доблести полна,
Его дородная жена
Чай разливала и пыхтела:
На первом месте, где висела
Икона в ризе золотой,
Перед которой день-деньской
Лампада скромная горела,
Сидела Катя и была
Невыразимо весела.
Ее веселости причиной
Был тот прием, с каким в гостях
Ее встречали во дверях
И величали Катериной
Ильинишной (почет большой!)
И угощали на убой.
Кузьма Терентьев ловко, тихо,

Со всем искусством Меттерниха,
О сча́стливой ее судьбе
Ей говорил, и о себе,
О том, что он хозяин строгий,
Именьем барским дорожит;
Затем врагов имеет много,
Но полагается на бога
И совести не изменит.
А ей легко в его защиту
(Ему ж с ней надо быть открыту,
Как есть душа вся налицо) —
Против клевет и наговоров
Между сердечных разговоров
Замолвить барину словцо.
И тут же был навек священно,
Ненарушимо, откровенно,
Прочнее всяких кровных уз
Меж ними заключен союз.
С тех пор уже без опасенья
Кузьма Терентьев,— редкий раз
По воле барской, с разрешенья,
А больше вовсе не спросясь,—
Расчеты будь крупны иль мелки,
В торговые пускался сделки,
Взимал поборы или сек
И жил, как важный человек.

Уже и дождь не капал боле,
В лесу все в иней облеклось,—
Подобие седых волос;
Застыла грязь в пустынном поле,
И в воздухе пахнул мороз.
Два раза, тая, снег ложился
И наконец, презрев тепло,
На землю вихрем навалился,
И стало все кругом бело.
В сарай поставили телегу,
Полозья скрипнули по снегу;
Мужик в тулупе зяб и дрог
Средь заметаемых дорог;
Крестьянка, встретясь узким следом,
Болтать не думала с соседом,

И пар дышал из уст ее,
И веял холод от нее.
Явились в доме — зим предтечи —
Двойные рамы по окнам;
Метая уголь, стали печи
Трещать до свету по утрам;
По томно длинным вечерам
С обеда зажигались свечи,
И чувством тягостным тюрьмы
Откликнулся приход зимы.
Хоть Катя уже месяц целый
Переселилась в барский дом
Хозяйкой полною и смелой,
Распоряжалася бельем,
На слуг кричала спозаранку,
Имела при себе служанку,
Бранилась с ней, и с ней потом
Любила сплетничать тайком;
Но как-то был угрюм и мрачен
Андрей Потапыч. Сам собой
Он был печально озадачен,
Бранил весь образ жизни свой;
Бранил себя за слабость нрава
И чувствовал свою вину,
Не извиняяся лукаво,
И видел, что идет ко дну,
И сознавал свое паденье,
И пробуждалось угрызенье,
И накипь горечи в тиши
Все рос и рос на дне души.
Ужель он втуне жизнь растратит?..
Оставить Катю?.. Сил не хватит!
Теперь осталося одно
Спасенье жалкое — вино!
Вино кипит и тело греет,
Спадает с сердца тяжкий гнет,
Вновь ожил ум и мысль светлеет,
И снова к подвигам зовет;
Андрей Потапыч снова верит
И сам себя широко мерит;
В чаду вакхических химер —
Он Минин или Робеспьер,
Законодатель, зла губитель,

Отчизны доблестный спаситель;
Опять он завтра же готов
Завесть оброк для мужиков;
А там, оставив всем по полю,
Совсем отпустит их на волю.
А между тем как барин пьет —
Кузьма Терентьев все сечет!
И невтерпеж пришлося, видно;
Хоть на подъем и не легки,
А к барину на гнет обидный
Ходили с просьбой мужики;
Но доказательства все ясны,
Что были жалобы напрасны,
И вышло только, что потом
Им было хуже с каждым днем.
Взведенный винными парами,
Андрей Потапыч как в чаду —
То занят смутными мечтами
И расплывается в бреду,
То Катю бешено ласкает,
То, будто сам в себя взойдя,
С досадой на нее глядя,
Ее сердито упрекает
За жизнь свою... К чему упрек
И все тяжелые волненья?
Оставить он ее не мог,
И после сам просил прощенья.
А Катя?.. Как сказать?.. Она
Его по-своему любила,
Прощала много, как жена,
С утра его чесала, мыла,
Порой сидела с ним полдня,
К плечу головку прислоня;
Белье чинила, песни пела
И спать укладывала в срок,
Подать заботливо умела
К обеду лакомый кусок,
И если дворня замечала,
Что барин пьет не в добрый прок,
Она ворчливо отвечала:
«Уж и напиться-то ему
Нельзя, родному моему!»

Не скрылось это поведенье,
И, изъявляя всей душой
Сочувствие и уваженье,
Стал часто ездить становой.
Андрей Потапыч раз печально
Сказал, по сердцу говоря
Сам о себе, что непохвально
Проходит жизнь его и зря;
Но становой спешил заметить,
Что он печалится вотще,
Что, рассуждая вообще —
По-человечески,— то встретить
Примеры здесь весьма легко,
Что есть сосед недалеко,—
Годами вовсе не моложе,
А крепостную девку тоже
Содержит, а еще женат
И много маленьких ребят.
Андрей Потапыч рад был тайно:
Потачкам он не доверял,
Но ждал, чтобы его случайно
Хоть кто-нибудь да оправдал.
И дружба крепла понемногу,
И каждый вечер становой
Катил к крыльцу через дорогу
Гуськом на тройке вороной.
И вот затеялися балы:
Сбиралась дворня середь залы;
Как парень ловкий и лихой,
Иван трудился на гитаре,
Гремели в ревностном разгаре
Раскаты песни плясовой.
Плясала Катя танец дикий
Задорно, с ловкостью великой
Махала беленьким платком,
Стучать умела каблучком,
И барин сам на зло порядку
Пускался с присвистом вприсядку,
Слегка подергивал плечом,
Ногами семенил и топал,
А становой в ладоши хлопал
Из всех приказных сил своих,
И ел, и пил за четверых.

Зима тянулась. После святок
Случилось раз, что у крыльца,
С тревожной гневностью лица,
Старуху тетку за остаток
Какой-то пряжи грошевой
Бранила Катя нестерпимо.
Кузнец Василий шел тут мимо
И проворчал, махнув рукой:
«Вот нынче век у нас какой!
И даже старые старушки
Под властью всякой потаскушки!..»
А Катя с теткой на него,
Да как пиявицы пристали,
Ну всячески ругать его!
Пошли — и барину сказали.
А барин, выпив через край,
Обиделся и встрепенулся;
А тут приказчик подвернулся,
Сказал, что Васька негодяй,
С ним ладить — слов пустые траты...
И Ваську отдали в солдаты!
Пошел бедняк мой одинок!
Лет на двадцать попался в сети,
Под палку, никому не впрок!
Жена осталась, тоже дети.
Поплакали. Да что — жена?
Пожалуй, рада, что одна
Без мужа может потаскаться!
Солдаткам сродно баловаться!
Эх, жизнь! Как поглядишь — куда
Скверна бывает иногда!

Но Катя и сама струхнула:
Ей человека было жаль,
И в сердце совесть промелькнула...
Он за нее понес печаль!
Но богу так хотелось, видно,
Да и в грехе сознаться стыдно,
Да показать не худо власть,
Да уж случилася напасть —
Так не вернешь! И слез не тратя,
Поуспокоилася Катя.
А говорил ей и отец:

«Послушай, девка, наконец!
Ты парня согнала со света,
Сгубила ни за что его;
Умру,— не дам тебе за это
Благословенья моего!»
И Катя чуть не зарыдала,
Но ободрилась и сказала:
«Вот вы какие! Вот для вас —
Поди ты — делай все в угоду,
А вы готовы дочь как раз
Загрызть на смех всему народу!..»
И думала (как ум лукав!),
Что был отец ее неправ.

Уже пришла недели шумной
Неугомонная пора,
Где объедается безумно
Вся Русь с утра и до утра;
Пеклись блины, варилась брага,
И мужики с прямой отвагой,
Чтоб погулять перед постом,
Копейку ставили ребром.
И вот иная наступила
Пора: великий пост пришел —
С своею важностью унылой
И пищей хуже всяких зол,
С печальным колокольным звоном,
С убийственным земным поклоном,
С ворчливо грустною мольбой
И подавляющей тоской.

Андрей Потапыч мало верил
И, мненья гордого закал
Еще храня, не лицемерил,
Своих привычек не менял.
Поутру раз в раздумьи сладком
Сидел он празден и ленив,
Еще немного закусив,
То есть уж выпивши порядком...
Как мутен взор его теперь!
Весь вид расстроенный и жалкий...
Вдруг тихо отворилась дверь,
И, подпираясь верной палкой,

Вошел дрожащею стопой
Согбенный дядька, друг седой.
«А!.. ты зачем?» — «Я порывался
К вам, барин мой, уже давно,
Да как-то с духом не собрался;
Но жить недолго мне дано
И старые спокоить кости,
Я, чай, пора бы на погосте...
Так я решился и пришел».—
«Ну, что же надо?» — «В память, что ли,
Вам будет?.. Кажется — давно ли?..
На то был барский произвол:
Велели мне ходить за вами...
А няня ваша умерла,
Да уж и то сказать — годами
Старей меня тогда была.
Ты, сударь, был ребенок хилый,
Тебя я холил, и берег,
И надышаться-то не мог!..
Бывало, лето подходило —
Готовлю удочки скорей;
Есть ветерок — спускаю змей.
Семь лет с тобой был без отлучки,
Так было мало ли проказ!
А ты был добренький у нас!
Бывало, всем протянешь ручки,
Не обижаешь никого...
И вот я дожил до чего!
На старости что̀ должен видеть!
Что́ должен слышать от людей!
Должно быть, бог хотел обидеть,—
Уж умереть бы поскорей!» —
«Что ж ты? Учить пришел ты, что ли?» —
«Сердиться, сударь, в вашей воле,
А лгать пред вами не должно,
Да и на старости грешно.
Опомнись, барин! Худо, стыдно!
Зачем же Васька-то солдат?
Зачем народу жить обидно?
А что соседи говорят?
Что ты связался с девкой вздорной
И что проводишь жизнь позорно...»
Андрей Потапыч, сам не свой,

Себе подумать не дал сроку,
Вскочил весь бешеный и злой
И старика ударил в щеку.
Старик ни слова не сказал
И только старой головою,
Взглянув печально, покачал —
И вышел... И своей тропою
Домой побрел себе, кряхтя,
Да и заплакал, как дитя.
Но как ушел он оскорбленный,
Андрей Потапыч протрезвел;
Стоял, как бы оцепенел,
Как будто к полу пригвожденный;
Мгновенным страхом с той поры
Отшибло винные пары.
Когда же взрыв угомонился,
Он тихо в креслы опустился
И головой поник на грудь,
И молча в думу погрузился.
Не в силах тела повернуть,
Он долго, внутренно встревожен,
Сидел, глубоко уничтожен.
Потом рукой по лбу провел,
Как будто ум его закружен,
И чувствуя, что воздух нужен,
Пройтись по улице пошел.
Встречались люди — он с испугом
Вдруг поворачивал назад,
Как будто все его корят
За обращенье с старым другом.
Завидел он издалека
На жалких дровнях мужика —
И будто слышит возглас рьяный:
«Вот барин пьяный! барин пьяный!»
Домой вернулся — тут Иван...
А он Ивану вдруг со злобой:
«Что смотришь? Думаешь, я пьян?..»
И странно удивились оба.
К себе приходит в кабинет,—
Тут Павла Первого портрет,
Точь-в-точь живой, глядит, хохочет
И будто палкой стукнуть хочет,
Пыхтит, как будто на мороз,

И дерзко вздергивает нос,
И говорит самодержавец:
«Пошел ты, пьяница, мерзавец!»
Везде встречает слух и взор
Или насмешку, иль укор;
Он слушать, он глядеть не смеет,
И тайный ужас им владеет,
И Катя думала сама,
Что он совсем сошел с ума.

Хотел в порывах сокрушенья
Андрей Потапыч иногда
У старика просить прощенья,
Но не решался от стыда.
Пить перестал; почти не видел
Он никого, сидел один,
Как будто мир возненавидел.
Чтоб разогнать печальный сплин,
Велик был труд для бедной Кати.
Но как-то было все некстати:
Затянет песню,— он рукой
Махнет, нахмурясь как больной.
С ума, конечно, он не спятил,
Но жизни мощь уже утратил;
Вино ли выжгло силы в нем,
Или раздумье подточило
Всеразъедающим огнем,
И тело грустно истомила
Неодолимая борьба
Поступков явных с тайным мненьем,
Казня бесплодным сожаленьем?
Или вмешалася судьба,
Случайных недугов порука?
Как это знать? Скупа наука!
С вина ль, с простуды, иль с тревог
Андрей Потапыч занемог,—
А все ж болезнь своей дорогой
Пошла с законностию строгой.
А тут повеяло весной,
Пошли от оттепели лужи,
И воздух вкрадчиво сырой
Все тело обдавал тоской...

И вот больному стало хуже.
Еще бродил он кое-как,
Но было все ему не так,
Он тосковал, глаза блестели,
И щеки впалые горели.
Вся кровь казалась горяча...
Он слег и таял, как свеча...
То видел он в бреду жестоком —
Отец и мать пришли с упреком;
То Катю с нежностию звал
И как-то грустно целовал;
То делался тревожней вдвое
И имя называл другое,
Ей не знакомое... И вдруг
Он улыбался сквозь недуг
И, слабые поднявши руки,
Шептал в припадке тайной муки:
«Отдайте молодые сны,
Когда все были впечатленья,
Как детство мирное, ясны,
Свежи, как утром дуновенья
Благоухающей весны...»
И голос слабого взыванья
Смолкал от слез, среди рыданья.
Приехал доктор, поглядел,
Пощупал пульс и грудь послушал,
И за попом послать велел;
Спросил позавтракать, покушал
И поспешил домой как мог,
Боясь испорченных дорог.
Склонив колени у постели,
Стояла Катя, вся дрожа,
Больного за руки держа;
Но тихо руки холодели,
Остановился мутный взор,
В лице застыл тупой укор...
И жизнь окончила тревогу.
Ну! плачьте и молитесь богу!

Что станешь делать? Мужики
Между собой потолковали,
Что дни их были не легки,
А лучше будет им едва ли;

Что был он добрый человек,
Хотя приказчик их и сек.
«И кто теперь в наследство вступит?
Быть может, дальняя сестра?..
Ну, говорят, она добра!
Ну! а как с торгу кто нас купит?
Вот это уж неловко нам!
Военный, что ль, какой полковник,
Да станет сам бить по зубам;
Или нажившийся чиновник,
Пожалуй, с виду и не строг,
А выжмет весь последний сок!»

Тепла боясь, положили
Покойника скорее в гроб
И в церкви гроб постановили
(А дома тело загнило б).
Кругом зажгли большие свечи,
Всю ночь псалтырь читал дьячок,
Да две старухи, в уголок
Забившись, причитали речи.
У гроба, трепетно бледна,
Стояла Катя середь ночи.
Ланит румяная весна
Исчезла, потускнели очи,
Беспечной резвости чреда
С лица сбежала без следа.
Она одна! и что-то будет?
Наследник, кто бы ни был он,
Ее забросит и забудет...
Все это точно страшный сон!
Она, быть может, виновата
Перед покойником! Ему
Была не пара, глуповата,
Не обучалась ничему...
И Катя сильно упрекала
Себя, а в чем — не понимала.
«И вот лежит, голубчик мой,
Так тих, как будто восковой».
По церкви мрак бродил уныло,
И сырость пахла и томила,
И чтенья равномерный звук
Трещал, как дальний мелкий стук;

Ей было страшно, было больно,
И слезы капали невольно.

Кузьма Терентьев с становым
Все шкафы — времени не тратя —
И двери заперли и к ним
Тотчас привесили печати,
Конечно, прежде разделив
Все, что могли, чего желали,
Как был еще покойник жив;
А Катю из дому согнали,
На память не хотели дать
Ни перышка и стали звать
Так просто Катькой — Катерину
Ильинишну...

Вот про кончину
Узнала барышня, предмет
Любви в теченье пяти лет.
Сгрустнулось ей, она жалела...
То было вечером: она
Сбиралась лечь, желая сна,
И перед зеркалом сидела
И любовалася собой,
И русый локон завивала
Своею беленькой рукой,
И на ночь шпилькой укрепляла,
И думала: «Так умер друг!..»
Но как-то вспомнилось ей вдруг,
Мечтая над покойным другом,
Что был Потап его отец;
Могло б случиться наконец —
Потапыч стал бы ей супругом!..
И тут она, полушутя,
Расхохоталась, как дитя;
Надела кофточку тревожно,
Покрыла волосы платком
И завязала узелком
У самой шейки осторожно;
Потом в постель легла она,
Закуталась, свечу задула,
Да потихоньку и заснула,

Дыша спокойно середь сна;
И мертвый друг, и сожаленье,
Все прошлое пришло в забвенье,
И жизни пустозвучный ход
Своим путем пошел вперед.

АФРИКА

(Отрывок)

Sic transit gloria mundi!

То было время грозной славы:
Междоусобием томим,
Грань расширял своей державы
И задыхался старый Рим.
Уже в коварную угоду
Или сенату, иль народу —
Вожди, заспоря меж собой,
Властолюбивою враждой,
Топтали древнюю свободу.
В то время Силла казнью мстил
Своим врагам и травлей новой
Роскошно тешил Рим суровый,
А старый Марий уходил
И в дальней Африке за морем
Блуждал, несокрушимый горем.

Клонился в море знойный день,
И блеском поздним позлащенный,
Ждал ночи берег раскаленный,
И тихо подступала тень.
Бродящего роптанья полны,
Средь колебанья дня и мглы,
Залива голубые волны
Плескались в белые скалы,
И воздух жаркий и ленивый
На берег веял молчаливый.
Тиха печальная страна!

Не нарушал уже полвека
Ее безвыходного сна
Ни труд, ни говор человека.
Давно в пустынный край не шли,
Стремясь как птиц крылатых стая,
По морю веслами махая,
С товаром дальним корабли;
От Нила по степям песчаным
Не приходили с караваном,
Рукой рабов навьючены,
Тяжелоступные слоны.
Давно с жестокостью безумной
Здесь пронеслась чрез город шумный
Война кровавою пятой,
Оставя пепел за собой.
Добыча смерти или плена,
Исчезли люди Карфагена;
Торговли жадной дни прошли,
Замолкли клики пышных брашен,
Обломки гордых стен и башен
Безмолвной грудою легли.
С тех пор, спаленные, истлели
Цветы садов и злаки нив,
И лавры больше не шумели,
Ни зелень томная олив:
Лишь жизни волею могучей
Наследник рушенных дворцов —
Зеленой сетью плющ ползучий
Разросся мирно вкруг столбов,
И в час полдневного досуга
Понежиться на солнце юга
Из-под камней скользит змея
Иль резвых ящериц семья;
И вновь в томительном молчаньи
Лежит пустынная страна,
И только дышит в колыханьи
Неугомонная волна.

Но римский вождь, венчанный славой,
Среди развалин одинок
Скитался тенью величавой,
Как бы преступник иль пророк.

Суров был взгляд его; ланиты
И лоб морщинами изрыты
И в кудрях черной бороды
Годов белелися следы.
Но крепость мышц не изменила:
Все та же в жилистой руке
Плебейская дремала сила,
Как в ненатянутом луке;
В груди, покрытой броней медной,
Таился тот же глас победный,
Перед которым вражья рать,
Смутясь, не в силах устоять.
Давно ли он с трибун народных
Громил сенат в речах свободных?
Давно ль средь боевых тревог
Он был для войска некий бог?
Смиритель кимвров и тевтонов,
Давно ль он с сонмом легионов
Лавровенчанный в Рим вступал
И Рим ему рукоплескал?
Но втуне смолкли клики славы,
Исчезла власть!.. Пред ним возник
Соперник смелый и лукавый,
Его же дерзкий ученик,
И старый вождь унес в изгнанье,
В приют далекий от людей —
Обиды горечь и сознанье
Величья гордого скорбей.
Но не грустит орел нагорный,
Подобно горлице лесной:
Вождь терпеливый и упорный
Томился думою иной.
В себя в нем вера не уснула!
Он все ж был грозен, как судьба:
Его зарезать не дерзнула
Рука наемного раба!
И те же волновали страсти
Скитальца непреклонный ум —
Любовь к свободе, жажда власти
И жизни сильной блеск и шум;
И мыслил он: еще поспорим!
И взором Рим искал за морем.

А с неба знойного сходя,
Вечерний луч сиял печален
На груды тихие развалин
И образ старого вождя,
И вечного роптанья полны,
Далеко колыхались волны.

ЗИМНИЙ ПУТЬ

(Из дорожных воспоминаний)

Посвящено П. В. А<нненкову>

1

В дорогу я пустился в ночь.
Привычки трудно превозмочь:
Поутру я объят дремотой,
Потом, ход времени ценя,
Люблю я с мудрою заботой
Свершить обязанности дня,
То есть вкусить обед и ужин
(Всегда порядок в жизни нужен),
А в ночь свободно ехать. Вот
Уже и тройка у ворот,
И вот, скрипя, помчалась прытко
По снегу мерзлому кибитка.
Путь гладок, и ярка луна,
Безмолвным светом ночь полна,
Студеный воздух сжат морозом;
Иглистый иней по березам
Повис недвижно и блестит;
Поляна снежная лежит,
Мерцая отблеском лиловым,
И веет холодом суровым,
И взор с невольною тоской
Следит за смутною чертой,
Где небо далью бледносиней
Слилося с белою пустыней.

2

А все знакомые места!
Все тот же скат с горы отлогой,
Сугроб у ветхого моста;
Все так же узкою дорогой
Обоз ползет издалека,
Дразня лихого ямщика.
Кругом разбросаны селенья...
И знаю я наперечет,
Где сколько душ, чьего владенья,
И где, и кто, и как живет;
Все знаю так, что даже скучно!
Но вырос в этом я краю;
Привычки детской раб послушный,
Его, быть может, я люблю.
Даруй вам, боже, сны благие,
Мои соседи дорогие!
В дыму удушливой избы
Спи крепко, труженик наш вечный —
Мужик ленивый и беспечный,
Прося не много у судьбы!
И ты, сосед, хозяин строгой,
Который грозно в скорби многой
Работаешь так много лет
На обязательный совет,—
И ты усни! Во сне, пожалуй,
Доход увидишь небывалый.
Вкусите мирный сон и вы,
Соседки, барыни лихие,
Которых ручки боевые
Легко с узорчатой канвы
И от вареньем полных банок —
По неизведанным путям —
Перебираются к щекам
Своих запуганных служанок!
Да будет всем вам мирный сон!
Теперь я так расположен
Учтиво, даже, может, нежно,
Что радостно б простить хотел
И грех, по жизни неизбежный,
И придурь — общий всех удел.

3

Еще в избах кой-где мерцает
Лучины дымный огонек,
И дева вечный свой клубок
В полудремоте напрядает.
Я живо помню, как порой
Спокойная картина эта
Своею милой простотой
Меня пленяла в прежни лета;
Но ныне девы сонный лик,
Храпящий на печи старик,
И вечно плачущий ребенок
В дырявой люльке, и теленок
Над грязным месивом — ей-ей —
Как жалкий образ жизни скудной,
Тоской болезненной и трудной
Тревожат мир души моей.
Милей мне в этой деревушке
Воспоминанье об одной
Соседке, добренькой старушке
С нехитрой детскою душой.
Она, бывало, пред иконой
Взывает в искренней мольбе,
Чтоб бог *ему* был обороной
И пекся о *его* судьбе;
Иль молча, сидя на диване,
Гадает трепетно о *нем,*
И все о *нем,* о милом Ване,
О внуке ветреном своем.
«Ну что ваш внук?» — «Писал недавно».—
«Чай, денег просит милый внук?» —
«Ну что ж, что просит? Вот забавно!
Ему ведь нужно для наук.
А мне?.. стара я для наряда,
И ничего самой не надо!»
И вынет дочери портрет,
В живых которой больше нет,
И смотрит с грустною отрадой,
И смотрит долго, и потом
Утрет слезу свою тайком.

4

И вот еще, близ церкви белой,
На снежном холме, при луне,
Я вижу, крест осиротелый
Стоит в печальной тишине
Над безыменною могилой...
И мужа дышащего силой
Опять на память мне пришло
И величавое чело,
И ум, наукою развитый,
И дух насмешки ядовитой
Над всем, что подло и смешно.
Он был когда-то мне одно,
Одно отрадное явленье
В глуши печальных деревень,
Где торжествующая лень
На ум наводит усыпленье,
И ни один еще вопрос
Людей глубоко не потрёс.
Но мимо, мимо! сердцу больно!
Не вызывай теней из тьмы!
Зачем давать слезе невольной
Остыть на холоде зимы?

5

И дале в путь! Встречают взоры
Равнины, горки, косогоры,
И вдоль пути ряд глупых вех,
И всюду неподвижный снег.
Вот здесь пустырь. Была недавно
Деревня. Жили в ней исправно;
Но от нее теперь одни
Торчат обугленные пни.
В субботу в ночь оно случилось:
Проснулась баба хлебы печь
И затопила — как водилось —
Давно надтреснутую печь.
На крыше вспыхнула солома,
И, подхватив, пошла вьюга́
Носить огонь от дома к дому

С остервенением врага;
И кровли, пламенем объяты,
Треща обрушилися в хаты.
Со сна вскочили мужики,
Стремглав пустились бабы в страхе
На улицу в одной рубахе,
За ними дети, старики...
Пожар! пожар! скорей! спешите!
Багры давайте, топоры!
Ломать!.. Да где ж их взять —
багры?
Воды! вези воды! тушите!..
Крик, беготня, и вопль, и шум;
В беде исчез последний ум;
Хватились бабы за пожитки —
Спасать холсты, корыта, нитки...
А по дворам поднялся рев
В огне покинутых коров,
В забытой люльке визг ребячий
Бессильно замер в общем плаче.
Спасенья нет! Толпа глядит,
Оцепенев, как все горит;
Багровый блеск в мерцаньи длинном
Ложится по снегам пустынным.
Так в пору раннего утра
Я не застал уж ни двора;
Без слов, без дел, без помышлений
Бродили люди, словно тени,
С седою всклоченной косой
Старуха дряхлая сидела
У пепла и ребенка грела,
Мотая глупо головой.
Там, где околица, бывало,
В сугроб закутавшись, дремала —
Спаленный столб печальный вид
Хранил, как старый инвалид.
Но тут (у выезда иль въезда),
В порыве бурного наезда,
Мне повстречался становой,
Приятель закадышный мой,
С пучком приятных увещаний,
По воле ревностных властей
Он торопился для стяжаний

Недовзнесенных податей;
Но тут — хоть в нем душа окрепла
На службе — перед грудой пепла,
Как будто громом поражен,
Велел остановиться он.
Вздохнул, привстал, всплеснул руками
И вновь их опустил... Потом
Уныло щелкнул языком,
И мы разъехались...

6

...Полями
Я еду долго. Скучен путь!
Но вот направо повернуть,
И виден лес в тиши глубокой.
Луна мерцает сквозь дерев,
И тени длинные стволов
По снегу стелются. Далеко
В лесную глубь уходит взор;
Уныл и гол холодный бор,
И пусто отголосок смутный
Блуждает в чаще бесприютной.
За этим лесом на горе
Высокий дом стоит дряхлея.
Я знал его в иной поре!
К нему вела дубов аллея;
Литой решетчатый забор
Каймил его широкий двор;
Шумел прохладой сад столетний —
Приют роскошный неги летней.
И было время, каждый день
Из городов и деревень
Съезжались гости; дверь подъезда
Не умолкала от приезда,
И в дом богатый принимал
Гостей радушный генерал.
Храня времен минувших нравы,
Он жил вельможей и любил
Пиров затейливых забавы;
Свои доходы не щадил
И сотни слуг рядил как франтов,

Держал собак и музыкантов;
Неистощим был мшистый клад
Душистых вин в его подвалах,
Достойно царственных палат
Сияла роскошь в пышных залах.
И вот к нему со всех сторон
Спешили гости на поклон:
Спешил бедняк, судьбой прижатый,
Искавший милости богатой,
Спешил и тот, кто от него
Не ждал, конечно, ничего,
Но так — лелеял вместо чести
Наклонность к бескорыстной лести,—
И среди них торжествовал
Наш — впрочем, добрый — генерал.
Он находился ль в убежденьи,
Как Цезарь (что известно всем),
Что лучше первым быть в селеньи,
Чем где б то ни было ничем;
Иль о покойнице-супруге
Хотел поплакать на досуге —
Соседями не решено.
Известно только, что давно
Он прибыл жить в свое именье
И скорбь легко мог превозмочь:
При нем ему на утешенье
Росла единственная дочь.
И он любил ее — насколько
Любить способен человек,
Чей беззаботно праздный век
Как непрерывный пир летел — и только!
Он дочь обычно целовал
Поутру, с ложа сна вставая,
Еще — ко сну благословляя;
Как куклу в детстве одевал,
Потом ценою дорогою
Ей гувернантку нанимал,
Чтобы обычной чередою
Учила барышню всему,
Что не полезно никому.
Еще таилася в нем вера,
Что жениха он сыщет ей,
По крайней мере камергера

Из важных графов иль князей.
И так он ждал, когда ей минет
Заветный срок — семнадцать лет,
Тогда деревню он покинет
И дочь введет в столичный свет;
Так старый садовод ревниво
В смиренный прячет уголок
Нераспустившийся цветок,
Чтоб после выставить на диво
Во всем пленительном цвету
Волшебных красок красоту.
И срок настал! Незримым ходом,
Подкравшись тихо год за годом,
Пришла пора девичьих грез,
Где дума новая мятется
В головке юной, сердце бьется
И просит счастия и слез,
И грудь младую вздох подъемлет,
И взору снится тайный лик,
И ухо жаждущее внемлет
Любви незнаемый язык,
Иль попросту: пора настала,
Где барышня, окончив класс,
Блеснуть желает в вихре бала,
Красою свежею гордясь.
Благовоспитанной девице
Тогда одно и то же: жить,
Или поклонников влачить
Вослед надменной колеснице
Победоносной красоты;
И эти гордые мечты
Ведут к прямому окончанью,
Чтоб по сердечному желанью
И без дальнейшего греха
Найти скорее жениха.
Отец в восторге умиленья
Обдумал праздник и наряд,
И в день дочернего рожденья
Назначил бал и маскарад.
Ко всем соседям, близким, дальним,
К властям уездных городов
И к лицам меньше подначальным
От генерала послан зов.

Сам губернатор приглашенье
Почел за честь, и было мненье,
Что только архирей спроста
Отрекся близостью поста.
Я был тогда в поре блаженной
Невинных отроческих лет,
А генерал был наш сосед:
К нему нас, помню, неизменно
Возили по воскресным дням;
Привык я к людям и садам,
Но в этот раз меня смущала
Мне чуждая тревога бала.
Оркестр ударил, и тотчас
Все в залу ринулись теснясь.
И я с подножия колонны,
Как будто в сказочный удел
Внезапным чудом занесенный,
Привстав на цыпочки, глядел.
Все юное воображенье
Прельщало: и толпа людей,
И музыка, и блеск свечей,
И масок пестрое движенье.
Чего тут не было, мой бог!
Паяцы, рыцари, цыганки,
Маркиз напудренный, турчанки,—
Все нарядилось, кто как мог.
Тут был судья одет матросом,
И скромный стряпчий — казаком,
Тут был исправник с красным носом
Одет индейским петухом;
И даже Дарья Тимофевна,
Годов тяжелый груз забыв,
Какою-то морской царевной
Явилась, плечи обнажив.
Шумело все. Старушки хором
За дочками следили взором,
И старички, очки надев,
Степенно наблюдали дев.
Но вот среди толпы предстала
Сама она, царица бала,
И гул сорвавшихся похвал
По зале дружно пробежал.
В кругу наперсниц суетливых,

Девиц жеманных и болтливых,
Она в безмолвьи тихом шла
Самодовольно и несмело,—
С венцом из листьев вкруг чела,
Как Норма вся в одежде белой...
Все в ней в гармонию слилось:
Движений мягкая небрежность,
Лица мечтательная нежность,
И лоск волнистый русых кос,
И взор, томящей ласки полный,
Уста раскрытые едва,
Как бы таящие слова
Для слуха сладкие, как волны,
Когда сокрытый от лучей,
В тени журча, скользит ручей...
И вдруг с улыбкой добродушной
Она, презрев толпою скучной,
Ко мне, ребенку, подошла
И тихо в польский увела.
Ее руки прикосновенье
На трепетной моей руке
Незримое напечатленье
Оставило. Так вдалеке
Знакомой песни голос милый
Тревожит долго слух унылый;
И после много, много лет,
Средь жарких снов, в чаду томленья,
Ловил мой отроческий бред
Черты знакомого виденья.
Но к делу! В сей юдоли слёз
Есть люди вне беды и гроз,
Которых жгучие печали,
Бог весть, как в жизни миновали;
Легко, без долгого труда
Цель добывалась их желаний
И застигала без страданий
Их смерти срочной череда.
Покинув сельскую свободу,
По ожиданию точь-в-точь,
В столице не прожив и году,
Наш генерал сосватал дочь
За юношу породы барской,
Которому господь послал

Богатства тьму и предстоял
Блестящий путь на службе царской.
Была ль довольна дочь, иль нет,
По нраву ль был ей высший свет,
Иль сердцу жить в нем было тесно
И жаль ей было то село,
Где мирно детство протекло, —
Мне это вовсе неизвестно.
Но знаю то, что генерал,
Довольный тем, что жил недаром,
Допив за ужином бокал,
Апоплексическим ударом
На лоно праотцов своих
Перескочил в единый миг.
За гробом важные шли лицы;
Дочь плакала. Тоскуя, зять
Наследство должен был принять;
Но, вечный баловень столицы,
Деревни он не посетил.
Сюда ж по воле барской был
Какой-то прислан плут наемный
Сбирать и доставлять доход;
А барин сам здесь не живет.
Дом опустел. Сквозь ставень темный
Не улыбнется луч дневной,
Не взглянет грустно месяц томный,
И человеческой ногой
Не нарушаем мрак сырой;
И только ветер в дни метели,
Врываясь в трубы или щели,
Тоскует жалобно, один,
Безлюдных комнат властелин;
Да ночью сторож бесполезный
Печально бродит до утра
Вокруг пустынного двора
И сторожит замок железный...
И, право, жаль мне иногда,
Что, видно, в память дней бывалых,
Мне не придется никогда
Блуждать в давно знакомых залах
И снова видеть по стенам
В прическах странных те же лицы
Старинных бар и прежних дам,

Давно сошедших в тьму гробницы.
И, право, жаль, что никогда
Не доведется мне лениво
Сидеть на берегу пруда
Под старою плакучей ивой,
Глядеть, как тихо с высоты
Она зеленые листы,
Склоняя, медленно купает...
Недвижен пруд; хоть бы слегка
Пронесся шелест ветерка,
И вечер ясный догорает,
Сливая мирно ночь и день
В одну задумчивую тень;
И ловит чуткое вниманье
Мгновенных звуков трепетанье
Над полусонною водой:
Шум крыльев птицы мимолетной
И под разбрызгнутой волной
Плесканье рыбки беззаботной.

7

Пошел! В ночи как днем светло.
Мой путь лежит через село
Огромное; в нем даже школа
Есть для детей мужского пола.
Тут жил учитель. С ним я был
Давно знаком. Мы в юны лета,
Под кровом университета,
Учились вместе. Я шалил,
А он, неловкий и смиренный,
Душою в бездну погруженный
Метафизических начал,
Прилежно Шеллинга читал,
И в годы те, когда стыдливо
Ус пробивается едва,
Он *душу мира* горделиво
Хотел понять, как дважды два;
Но только смутное сомненье
Ему навеяло ученье.
Он стал де Местра изучать

И верх премудрости искать
Там, где — пиров пустые дети,—
Не попадаясь в оны сети,—
Мы видели, махнув рукой,
Туманный бред души больной.
Так в жизнь игрушкою случайной
Товарищ юности моей
Вошел, своей заветной тайны
Не разрешив и чужд путей
Ко счастью. Вечно недовольный
И миром и собой самим
И тяжкой бедностью томим,
Пошел он, как учитель школьный,
В наш край печальный, и готов
Был с добросовестностью милой
Учить читать тупых птенцов
И по складам и без складов.
Но тщетно! Сила изменила:
Он стал грустить, потом спился
И помешался. Я в то время,
Влача беспечно жизни бремя,
Под голубые небеса
Иной страны благоуханной
Свободно путь держал желанный.
Когда же из чужих сторон
Вернулся я в родные степи
Принять обычной жизни цепи,
Я поспешил к нему, и он
Был страшно рад мне, жал мне руку
И, тайную скрывая муку,
Мне говорил, что он спасен,
Что душу мира видит он,
Но окруженную толпами
Каких-то гаденьких детей,
Должно быть, маленьких чертей,
Горбатых, подленьких, с хвостами,
Его дразнящих языками.
Но этот жизни жалкий сон
Был скоро смертью пресечен.
Я друга схоронил. Но сухо
На сердце было; на глаза
Не пробивалася слеза

И в голове бродило глухо,
Что даже лучше для него,
Чтоб вовсе не было его.

8

Я с похорон спешил. Желалось
Домой, скорей бы лечь в постель,
Заснуть и позабыть... Смеркалось,
Была сердитая метель.
След занесло. Ямщик крестился,
Глядя с боязнию кругом;
Ступали лошади с трудом,
А снег валил, и ветер злился.
Дрожь пробирала, и тоской
Томилась мысль, и сердце ныло...
И вдруг мне память воскресила
Иное время, путь иной:
Я уезжал — то было летом,—
Сияла пышная луна,
Была прозрачным полусветом
И свежей влагой ночь полна.
Мне расставаться было трудно,
Но как-то молодо и чудно
На сердце было! А кругом
Шептался в роще лист с листом,
И тихо веял воздух сонный
Какой-то негой благовонной,
И звонко пел во мгле ветвей
Печаль и счастье соловей.

9

Но стой! Вот станция! Встречает
Смотритель с заспанным лицом,
Мундир потертый надевает,
Стоит у двери и потом
Выходит вон, ворча сквозь зубы.
А я, освободясь от шубы,
Томим зевотой и ленив,
Сажусь, сигару закурив.

Пока со сна ямщик впрягает,
Пока, колеблясь и треща,
Уныло сальная свеча
Передо мною нагорает —
Часы стенные в тишине
Одно и то же сипло, глухо
Лепечут в мерной болтовне,
Как сумасшедшая старуха.
И как-то жутко! Дух в груди
Теснится; думы смутно бродят:
То будто горе впереди,
То будто призраки проходят
Людей минувших, и опять
Судьба готова повторять
Все жизни тяжкие мгновенья,
Ошибки, скорби и волненья...
Но полно! Звякнула дуга;
Нет времени для грусти праздной
Под звук часов однообразный:
Теперь минута дорога —
Ведь я в уездный город еду
По тяжбе дать отпор соседу...
В уездном городе собор...
Но я спешу во весь опор
В иное каменное зданье,
Где на алтарь иным богам
Несут иное воздаянье:
То правосудья грязный храм.
По грязным лестницам в большие
Взойду я комнаты — и там,
Увижу лицы испитые
Вокруг запачканных столов;
Там руки грязные писцов
Скользят в бессмысленной отваге
Пером скрипучим по бумаге,
И заменяют все права
Одни продажные слова.
И вот судьбы моей отчизны!
И сколько жизней и умов
Тут гибнут,— высказать нет слов,
Хотите — совершайте тризны.

10

Но кони мчатся на восток.
Луна потухла. Понемногу
Рассвета трепетный поток
Ясней ложится на дорогу,
И, светом пурпурным горя,
Встает студеная заря,
И солнце в выси бледносиней
Блестит над белою пустыней...

НОЧЬ

(ПОСВЯЩЕНО Г<ЕРЦЕН>У И Н<АТАЛИ>И)

Per me si va tra la perduta gente...

Dante

1

По скату длинному дороги
Я шел задумчивой стопой,
Томимый грозною тоской
И скорбью внутренней тревоги.
По лону низменной земли,
Окутан дымкою седою,
Тянулся город и вдали
Терялся слитый с поздней мглою.
Уже я смутно различал
И труб и кровель лес дремучий;
Над ними ветер бушевал
И серые бродили тучи.
Неслышным шагом кралась ночь
И — стогны в сумрак поглощая —
Пришла туманная, сырая;
Ее дыханья превозмочь
Не в состояньи было тело
И — содрогаясь — холодело.
Уже зажглися фонари
И в небе, в мгле сырого пара,
Блеснули трепетом зари
Иль дальним заревом пожара;
И эта ночь и этот свет,
Казалось, полны духом бед.

2

Пошел я улицею длинной;
Дома дремали в тишине,
И было в городе пустынно...
Но с каждым шагом стали мне
Встречаться чаще пешеходы,
Трещал все ближе стук карет,
Блеснул из лавок яркий свет,
И как колеблемые воды
Задвигались толпы людей,
Ряды колес и лошадей,
И стук и говор поминутный
Слилися в гул враждебно смутный.
И шел я медленной стопой
В разгаре бешеном столицы
И с беспокойною душой
Невольно вглядывался в лицы,
Меж тем как быстро тень по ним
Менялась с блеском огневым.

И вот мне, с ясностью бесплодной
Мелькнув среди бродящих дум,
Мучительно пришло на ум,
Неотразимо, безотходно —
Сознанье, что я всем чужой,
Что между нами есть преграда
И что — не только что со мной —
Они чужие меж собой
И связаны привычкой стада...—

Вот дом огромный. У дверей
Стоит швейцар в ливрее странной,
Пузатый, пудреный, жеманный,
И держит с важностью царей,
Храня надменно вид свирепый,
Над глупой тростью шар нелепый.
А в окнах бродит блеск огней
И тени шаткие гостей,
Снуясь, блуждают. Пир исправен,
Гостям хозяин саном равен:
Ему подобно, искони
Земли властители они

И не уступят, величаво
Держась за вековое право,
Клочка пустого ни на шаг,
Где отдохнуть бы мог бедняк,
Взглянуть — усталый — хоть ошибкой
На жизнь с доверчивой улыбкой.
Лакеи служат. Меж гостей,
Нарядных, важных и недружных,
Несется трескотня речей,
Неоткровенных и ненужных;
А между тем, страшна, как мгла
В ночи глухой, ночи беззвездной,
Бездонно, холодно легла
Меж ними внутренняя бездна!
Ее — дни, месяцы, года —
До самого конца их века
Не переступит никогда
Живое чувство человека!
Сошлись,— их вместе держит ложь,
Лакейство с жадностию льстивой
И чванства дух сребролюбивый;
А втайне зависть точит нож,
И клевета в норе сокрытой
Шипит змеею ядовитой...
И связи между ними нет!
Все это шутка или бред!

А этот нищий, тощий, бледный,
Оборванный, чей злобный взгляд
Тайком следит прохожих ряд,
Забывших дома грош свой медный?
А этот жирный адвокат,
Своих клиентов вор законный?..
Один, в трактире, полусонный
Сидит, едва вращая взгляд
С довольным видом равнодушья,
Один наевшись до удушья,
Напившись так, что жар с ланит
Красно-синеющих палит...
А этот пастырь, заточенный
В свой белый галстук?.. Он несет
Подмышкой том позолоченный,
Он завтра в нем строку найдет,—

У черни с высшей точки зренья
Отнимет сладость воскресенья...
Нет, нет! клянусь: тут связи нет!
Тут только шутка или бред!
Тут труп общественного зданья
В дырявой мантии преданья!

3

Вот улица, где блеск и шум
Пугают удивленный ум.
Сорвавшись с цепи злых печалей,
Сюда со всех концов земли
На пир безумных вакханалий
Толпы несметные пришли.
Здесь юноша отважно праздный
Спешит растратить свежесть сил,
И старец дряблый приютил
Разврат бессильный, безобразный.
Кипит, тревожный жар тая,
Страстей подземная струя,
И в этой улице без меры
Державно царствуют гетеры
И увлекают за собой
Небрежной легкостью нарядов,
Движеньем поступи лихой,
И плеч нагою белизной,
И томным сладострастьем взглядов.

Кого в проулке близ угла
Ты ждешь, красотка молодая?
Кого, улыбкою лаская,
Ты нынче на ночь зазвала?
Как?.. Этот остов?.. Тень мужчины?..
Я знаю, на челе его
Остались редкие седины,
Лицо худое у него
Изрыли ранние морщины;
Но — бедная! Он зол и глуп,
В разврате холоден и груб.
Да!.. но как хлеб тебе он нужен!..
Ты с ним идешь. Ваш буйный ужин
Встревожен розовой зарей...

Довольно! Шутки площадной
Наслушалась до отвращенья;
С тобой он пил до одуренья,
Теперь вези его домой!
Вот спальня. В ней царит молчанье,
Скрывают шторы дня набег,
И длится ночь, и жарких нег
Таится робкое дыханье.
Теперь он как бы счастлив был!
Но голова его повисла,
Едва ль он — пьяный — сохранил
Для наслажденья каплю смысла!
И после тягостного сна
Вы расстаетесь... Он уходит,
И остаешься ты одна.
Печальный луч сквозь шторы бродит;
Все пусто! С скукой и тоской
Ты привстаешь и ручкой нежной
Играешь длинною косой,
На грудь упавшею небрежно;
Твой взор рассеян и уныл,
Улыбку на устах сменил
Неясной думы след печальный...
На память край приходит дальний,
Твой бедный, мирный городок,
Земли укромный уголок,
Приют весны первоначальной.
Ты помнишь сад и поздний час,
И робкий ропот старой ивы,
И юношу, и в первый раз
Слова любви, любви стыдливой,
Так простодушной, как потом
Тебе не встретилось ни в ком.
Ты плачешь? Юных грез утрата
Невольно сердце шевелит;
Но в страхе мысль твоя спешит
Забыться в образах разврата...
А знаешь что?.. Умри скорей!
Умри пораньше! Не жалей!
Смерть — слово горькое для слуха,
Да разве лучше жизни нить?
И знаешь ли, как гадко жить
Голодной, брошенной старухой!

4

Но дале улицы пустей,
Карет слабее отголосок,
Туман становится густей.
Тут льется Темза. Берег плосок,
Река с свинцовым блеском вод,
Через нее мостов намет;
Кой-где гнездясь, людские тени
Чернеют в смраде испарений;
К ним страшно близко подойти:
Зловещие, тупые рожи!
Спешит испуганный прохожий
По запоздалому пути,
Почуя в мраке без движенья
Глухие тайны преступленья.
А завтра прозвенит звонок,
Пойдут свистки со всех дорог,
Пойдет вседневная работа;
Торговли гордая забота
Товар громадный двинет свой,
Облитый нищенской слезой
И градом трудового пота.
Все призраки воскреснут вдруг;
Над бедным миром вспрянут власти —
Храня общественный недуг,
И вновь помчится вихрь несчастий...
О род людской! О род людской!
Куда спешишь ты в этом шуме?
Где отдохнет твой мозг больной
На жалком поприще безумий?..

5

И вот в далекие края
Меня влечет воспоминанье
К тебе, о родина моя!
Где ранней жизни трепетанье
Я детским слухом понимал,
Где я любил, где я страдал,

Где, заглушая все, что больно,
Я тратил юность своевольно,
Как будто мне была она
На веки вечные дана;
Страна, в которой так невольно —
С годами всасываясь в кровь —
Привычкой стала мне любовь
И где оставил я унылых,
Немногих близких, сердцу милых,
И множество ненужных лиц,
Да несколько родных гробниц.
Печальной родины природа
Со мной дружна, давно своя...
Привык я долгие дни года
Смотреть на белые поля,
Когда от стужи не трепещет
Морозный воздух, день без туч,
И, рассыпаясь, яркий луч
По снегу искристому блещет,
Иль даль, белеясь при луне,
Мерцает в грустной тишине...
И длится, длится вечер длинный,
Печально бродит отблеск свеч,
И сердцу памятную речь,
Томяся, шепчет дух пустынный.

Но вот смягчен зимы набег,
И, тихо грея, солнце пышет,
Теплом дремотный воздух дышит,
И тает пожелтелый снег,
И речка, взламывая льдины,
Бурлит и брызжет у плотины.
Вот почернел знакомый путь,
Пробилась робко зелень в поле,
Душистый лист на свежей воле
Спешат деревья развернуть,
И песни вечером веселым
Далеко слышатся по селам;
Перекликанья соловьев
Всю ночь тревожат сумрак сада,
С зарей пастух выводит стадо
На склон прибрежных дубров;
Береза свиснувшею сенью

Качается под говор вод;
Пастух объят блаженной ленью
И песню звонкую поет;
Звучит, теряясь безотзывно,
Напев протяжный, заунывный,
А плакать слушая легко,
Куда-то смутно мысль несется
И между тем внутри живется
Так бесконечно широко!

6

Но ближе в жизнь людей вступая,
На томный мир родного края
Иначе взглянешь. Станет жаль;
Все ненавистно, все так больно,
Тяжелый ужас и печаль
Охватят холодом невольно.
Как их безбрежные поля,
Безгласны люди. *От Китая*
До стен недвижного Кремля,
Под диким гнетом изнывая,
Томится русская земля.
Живут и мрут среди смиренья
В молчаньи вялом поколенья.
Молчит запуганный мужик
Под розгой маленьких владык;
Его чиновник грабит смело;
В труде проходит жизнь его
И не приносит ничего;
Проходит тускло... После тело
Кладут, как ветошь, в темный гроб,
Над ним бормочет пьяный поп
Да бабы вȯпят... Жизнь бесцветна,
Безрадостна и неприветна,
Смерть равнодушна и дика,
И скорбь на сердце велика!
И тот из нас, кому наука
Раздвинула границы дум,
На привязи свой держит ум,
Снедаем праздностью и скукой.

Кругом помещики-глупцы,
Рабы, нахалы, подлецы,
Попы, мундиры голубые,
Воров казенные полки,
Да меры к лучшему тупые,
Да плеть, да ссылки, да штыки;
И чья-то воля будто правит,
И сверху вниз все давит, давит,
И тесно, тяжело дышать,
И хочется бежать, бежать,
Куда-нибудь уйти скорее
От этой жизни, пытки злее,
От этой грязи вековой,
От этой родины святой!

7

Уйти?.. Куда?.. В юдоли шумной,
Где люди бесятся и мрут,
Найдется где-нибудь приют
Свободно мирный и разумный,
Где жизнь светла и глубока,
Как величавая река,
Могла б путем не своенравным
Широко течь в движеньи плавном?
Нет, нет! Нигде приюта нет!
И всюду рабства тощий бред!
Иди чрез снежные вершины
Вечно величественных гор,
Спустися в свежие долины,
Иль, вырываясь на простор,—
Переплыви в тревоге рьяной
Разлив немолчный океана,
Везде найдешь один ответ:
Приюта нет! Приюта нет!
Живи под тяжестью терпенья
И с чувством горького презренья
И равнодушием бойца
Жди неизбежного конца.
Да! Смерти строгие картины
В воображении моем

Проходят чередою длинной...
Но при сверканьи роковом
Косы решительного взмаха
Нет ни смущения, ни страха.
Людей предсмертные черты
Теснятся в мир моей мечты:
Ее ль внезапное созданье,
Иль где-то виденного сна
Знакомое припоминанье,—
Но смертью мысль моя полна,
И слышит робкое вниманье
Предсмертной поступи шатанье...

8

Я помню образ молодой —
Борьбы и страсти отпечаток;
В нем бился с внутренней тоской
Могучей юности остаток.
И человек сказал себе:
«Оставим мир его судьбе!
Страданья тягостны и лживы
И жертвы тщетные смешны:
Мы неги сладостные сны
Осуществим, пока мы живы,
Пока могила не взяла
Холодно бледного чела».
И наслажденье молодое
На юге дальнем он искал,
Где у подножья желтых скал
Ликует море голубое,
И день сияющ, и пышна
Над ночью синею луна.
Лежит на мраморных колоннах
Спокойно замка пышный кров;
Там лики мраморных богов,
Картины в рамках золоченых
И веет запахом цветов.
Кругом зеленый трепет сада;
Снотворно льется в летний зной
Мерно урчащею струей

Фонтанов свежая прохлада;
С террасы видно — лоно вод
В даль бесконечную идет.

Там — сын неугомонной воли,
Беглец полезного труда,
В который он не верит боле,—
На передсмертные года
Себе причудливо устроил
Приют, где любовался взор
На гармонический простор.
Хоть он и тут не успокоил
Дух затаенной жажды дел,
И тут забыть он не умел
Всей злобы дум непримиримых
Противу зол неисцелимых,
И тут, как безотвязный друг,
Тоски подавленной недуг
Не раз владел его душою,
Не раз за трапезой немою
Бесплодной пеной отшипал
Его нетронутый бокал;
Но он упорно с страстью жадной
Минуты счастия ловил,
И жизни каждый звук отрадный
Ему глубоко внятен был.
Он сладко пел, когда лениво
По зыби трепетной — луной
Посеребренного залива —
Ладья, укачивая, шла
Под плеск нырявшего весла.
Порой в огнях блистала зала,
Гремел оркестр в вечерний час,—
То извиваясь, то резвясь,
Вакханка гибкая плясала...
А он любил. Он торопливо,
Прощаясь с жизнью прихотливой,
Пил с жгучей жаждою в крови
Струи последние любви.
При свете лампы одинокой
В тиши таинственных ночей
Ловил он мягкий шелк кудрей

И ласки девы черноокой,
Дрожанье персей, вздох глубокой
И шепот вкрадчивых речей;
Любовь несытая хотела
Волненья молодого тела,
Чтоб, замирая, близ него
Дыханье жаркое горело,
Чтоб жилка каждая его
И трепетала бы и млела,
И он впадал бы в смутный сон,
Весь упоеньем истомлен.

Он отжил быстро. В час урочный
Он знал, что средства беспомощны,
Что скоро тайной боли гнет
Натугу тела разобьет.
Ему венком главу обвили,
Его на берег положили,
Откуда видно — лоно вод
В даль бесконечную идет.
Была пора вечеровая,
И мирно погасавший день
Прозрачная сменяла тень;
Ложилась ночь, благоухая.
Склонясь, зеленый дуб шумел,
И звонкий голос песни пел,
И с ними вод морских волненье
В одно сливалось песнопенье;
Ему внимая, замер слух,
Остыла жизнь и взор потух.
Над телом, дремлющим без муки,
Торжественно носились звуки
И пролетела без следа,
Мелькнув, падучая звезда.

9

Но, пропадая в сумрак черный,
Сокрылся юный призрак мой,
И помню образ я иной:
То был спокойный, но упорный

И гордый муж. Уже седой
По бороде сребрился волос,
Но было тихо и светло
Его высокое чело;
Подобья лжи строптивый голос
Со дня рожденья не изрек;
Печальный взор его был строг
И, ярко в душу проникая,
Казнил, в злодействе уличая.
Он был похож на тех людей
Уже давно минувших дней,
На тех отступников Зевеса
И не поклонников Христа,
Которых строгие уста
В словах простых, но полных веса —
Служили только одному
Простому, здравому уму;
Носитель неподкупных истин —
Он не ходил за общий пир,
Ему равно был ненавистен
Прошедший и грядущий мир,
И середь племени чужого
Он ничего не знал родного.
Он видел, как сквозь тьму веков,
Чуждаясь дико мыслей здравых,
Стремится с яростью волков
Толпа мучителей кровавых
И с ними, не глядя куда,
Народов жалкие стада.
И вот уж некуда бежать,
И в бездну упадут народы,
И соберутся бушевать
Все силы дикие природы
С потопом и огнем своим
Над диким племенем людским.
Взойдет на берег новозданный,
Быть может, новый Девкальон,
И новый мир наполнит он
Породою не меньше странной,
И повторять грядущий род
Безумство старое начнет.

Но, видя общее паденье,
Как одинокое явленье
Поодаль гордый муж стоял
И ясность взгляда сохранял,
И ждал в печали величавой,
Чтобы подземных сил привал
Жерло мгновенно разорвал
И мир засыпал жгучей лавой...

10

Но ночь уходит. Фонари
Бледнеют с про̀светом зари,
И утро в тягостном покое
Идет туманное, сырое...
Душа устала — и рассвет
Все так же полон духом бед.

СНЫ

Часы старинные в столовой
Пробили полночь. Старый князь,
Всем телом к отдыху готовый,
Стал раздеваться, спать ложась.
С лицом, исполненным боязни,
Как будто ждал заутра казни,
Вокруг заботился слуга
В ливрее, вышитой гербами.
Уже была его перстами
Разута барская нога;
Он волю барскую пугливо
Читал во взгляде и привык
Ходить на цыпочках, но живо
И преклоняться молчаливо,
Внимая брань иль грозный крик.
Но вечер весь шел тих и мирен,
Князь в этот раз был вовсе смирен,
И гладко голое чело
Сияло важно и светло;
Князь чувством счастья был подавлен,
Что утром к ленте был представлен.

В богатой спальне в ту же ночь,
В тот самый час, уже лежала
Под мягким шелком одеяла
Его молоденькая дочь,
На ложе медленно вздыхая,
От тайных дум не засыпая.

И тут же у стены другой,
В постели мягкой гувернантка,
Времен минувших парижанка,
С своей девической душой,
С лицом морщинистым и старым,
С главой, повязанной фуляром,
Жалела, что пора пресечь
Неистощаемую речь.
Все было тихо в этой спальне...
Едва мог долетать до ней,
Как отголосок смутно дальний,
С морозных улиц скрип саней.
Лампада томная дрожала
И круглый отблеск колебала
На потолке, а снизу тьма
Была докучна и нема.
Сквозь щель опущенной гардины,
Упавшей на две половины,
Насупротив был виден дом,
И кровля длинная на нем
Белелась холодно, уныло;
По ней печальна и ясна
Мерцала кроткая луна,
И так все тихо, тихо было,
Что безотчетно сердце ныло.

О чем же думала княжна?
С беды ль прямой иль с небылицы
Так долго медлила она
Сомкнуть усталые ресницы
И по лбу белому порой
Водила медленно рукой?
Зачем тихонько грудь вздыхала,
Зачем нередко выступала
На темносиние глаза
Тоски невольная слеза?
В ее лета воспоминанья
Не шевелят еще страданья,
Легко бы жизнь идти должна...
И где сыскать завидней долю?
И юность и богатства вволю,
Да и красавица она!
Все это так, княжна не знала,

Чего ей надо, но скучала.
Едва десятки школьных книг —
Забвенья ради — склав на полку,
Она про мертвый их язык,
В котором не добилась толку,
Без муки вспомнить не могла,
И ум ребячески пытливый
Сгорал в тоске нетерпеливой,
И книг живых она ждала,
И в мгле загадочных стремлений
Искала чудных откровений.
Но не с кем было слова ей
О думе вымолвить своей.
Понять душевную тревогу
Едва ль могла мамзель Приве —
И только шила по канве,
Болтала и молилась богу.
А между тем княжна сама
Не находила тайной битве
Исхода ни в одной молитве;
С отцом она была нема,
Князь вечно сух был и серьезен,
Но вовсе сам не религиозен.
Недавно Мери привезли
Из тишины деревни дальней,
И в шум столичный, говор бальный
Ее — стыдливую — ввели.
Ей было жаль деревни милой,
Ее лесов, ее полей,
И сада липовых аллей,
И речки тихой и унылой;
Была там старой няни дочь
Ее подругой простодушной,
В затеях жизни мирно-скучной
Умела весело помочь;
Хоть Мери с ней не говорила
Про все, но от души любила.
А здесь, между чужих, княжна
Так бесприютна, так одна...
Она любить бы так хотела —
И не любила никого,
А втайне жаждала так смело
Всей жаждой сердца своего

И мысли новой и обильной
И страсти пламенной и сильной.
Вот от чего ночной порой
На ложе медленной тоской
Томилась Мери и не знала,
Чего ей надо, но скучала.
А усталь стала брать свое:
Тускнели помыслы девицы,
И навевалось забытье,
Сомкнулись длинные ресницы,
И неподвижно — как была —
Осталась ручка близ чела;
Сквозь трепет тайного броженья
Подкрались тихо сновиденья
С толпою образов своих
Бесплотных, странных, но живых.

Ей снилось — теплою струею
Пахнуло воздухом весны,
Долина спит под синей мглою
В сияньи дремлющем луны.
В ночном серебряном покое
Ручья падение живое
Ласкает ухо шумом вод,
Звучат неведомые струны
И голос сладкий, голос юный,
Весь в душу льющийся, поет:

Роза девственная дремлет
В свежей зелени листов
И в ночи спокойно внемлет
Звуку робких голосов.
Но под утренним приветом,
Под живым лобзаньем дня
Развернется пышным цветом
Роза юная моя,
И в душистом пробужденьи,
В блеске жизни и красы
Заколеблет в упоеньи
Капли светлые росы.
Сбрось, дитя, дремоту ночи,
Чутким сердцем оживи,
Тихо вызови на очи
Слезы счастья и любви!..

Но голос смолк. Долина скрылась,
И быстро в сумраке луна
Дрожит и гаснет... Вдруг княжна
На шумном бале очутилась.
Светло как днем. Толпа гостей,
Усы, мундиры, фраки, шпоры,
Цветы, перчатки, блеск очей,
Волос роскошные уборы;
Белее томных жемчугов
Красавиц выпуклые плечи;
Все веет запахом духов,
Сквозь общий гул мелькают речи,
И звуки музыки полны
Волшебной негой и стремленьем...
Княжна танцует с увлеченьем;
Вот на нее обращены
Лорнеты, и она невольно
Краснеет и собой довольна.
Но кончен вальс. Княжна глядит
С неясным чувством утомленья.
Madame N. N. вблизи сидит
И с гордостью пренебреженья
На Мери и ее наряд
Завистливый бросает взгляд
И — улыбаясь — вновь отводит
И с кем-то злую речь заводит.
Неловко Мери. К ней подсел
Столичный франт — и надоел;
Несносен говор, воздух душен,
И бал становится ей скучен.
Но вот — мечта, иль тайный звук,
Или предчувствие мелькнуло
И сердце ей пошевельнуло,—
Но Мери встрепенулась вдруг
И смотрит... Из толпы шумливой
Выходит юноша красивый.
Ей кажется, что с нею он
Знаком с младенческих времен...
И где она его встречала?..
И не во сне ль его видала?..
Чело открытое хранит
И смелость дум и гордый вид;
Во взоре ясное сознанье

Какой-то силы молодой,
В себе носящей ключ живой
Прямой любви и состраданья.
Он к ней подходит, говорит,
И в голосе его звучит
Любимой песни или сказки
Знакомый лепет, полный ласки,
И отголосок юных снов
Она внимает в звуке слов:
«Я знаю вас. Я с умиленьем
Следил за вами с детских лет,
На жизни розовый рассвет
Смотрел с безмолвным восхищеньем.
Вы расцветали, как цветок,
Налюбоваться я не мог!
Я все люблю в вас, все движенья,
И цвет волос, и стройность рук,
Улыбки грусть и примиренье,
И вашей речи милый звук;
Глаза... В них столько страсти нежной
И столько кроткой тишины,
Они так сини и темны,
Как небо ночью безмятежной.
Я ваше сердце и ваш ум,
Весь тайный жар и чувств и дум,
Все ваши чистые стремленья,
Все мысли, жгучие сомненья,
Я все в вас знаю, все люблю,
Я вам всю душу отдаю.
Пойдемте вместе дружным ходом;
Как для меня, для вас святы
Мои надежды и мечты;
Вы сердцем связаны с народом;
С отцовской волею борьба
В вас не страшила дух упорный,
Вы заступались за раба,
Встречая власти гнет позорный...
При вас мне на сердце тепло,
Я понимаю так светло
Всю прелесть нежности природной
И силу воли благородной.
И что грядущие года
Для нас готовят в этом мире —

Работу ль, полную плода,
Иль горечь тщетного труда,
Затишье жизни, даль Сибири...
Что б ни было — в чаду тревог,
В глуши безрадостной пустыни —
Любовь нам счастия залог,
И мы найдем в ее святыне
Для сердца теплый уголок».
Ее рука уже лежала
В его руке и крепко жала,
И чувства больше не тая,
Она шепнула: «Я твоя!»
Кругом в толпе недоуменье,
Шептанье, странное волненье,
Все смотрят точно на пожар,
И Мери страшно и обидно.
Но вот зовет ее гусар
На польку; отказаться стыдно,
Идет с тревожностью лица,
Но не танцует до конца,
На место прежнее уходит
И... никого там не находит.
Исчез ее желанный друг...
Она дрожит, она бледнеет,
Она собою не владеет,
Глядит с отчаяньем — и вдруг
Бежит, бежит искать по зале...
Все лицы прежние на бале,
Родных встречает кой-кого,
Но нет его, все нет его!
Вот дева зрелая, недавно
Знакомая, проходит плавно...
«Его вы видели?» — «Кого?» —
«Ах, боже мой! Его, его,
Кого люблю, кого желаю...» —
«Ах, Мери! я его не знаю».
И Мери дале. У дверей
Стоит затянутый лакей;
Ее вопрос его тревожит.
«Вам нужно папеньку, быть может?» —
Он отвечает, и княжна
Уходит прочь, огорчена.
Хозяйка дома ей навстречу:

«Позвольте, Мери, я с трудом
Сама решаюсь, но замечу,
Что вы позорите мой дом».
Но Мери мимо, все печальней...
В диванной старики втроем
Сидят за карточным столом;
Один из них ей сродник дальний,
С губами тонкими старик,
Худой и дерзкий на язык.
Старик держал валет бубновый;
Вдруг Мери, за руку его
Схватив, спросила у него:
«Его вы видели?» — «Да что вы,
Княжна? помилуйте, кого?» —
«Как вам не знать!.. Он благороден,
Так прост в движеньях и свободен,
Так сердцем чист, так в мыслях
смел...»
Старик, прищурясь, поглядел
И карты отложил направо,
И улыбнулся так лукаво,
Так губы сжав, что вместо рта
Осталась злостная черта;
Взял табатерку золотую,
Открыл, понюхал и сказал:
«Я, право, в вас не ожидал
Найти проказницу такую.
Его, княжна, я не видал;
Здесь никого нет в этом роде,
И даже, если б было в моде,
Чтобы такие господа
Сюда являлись иногда,—
Вы им не верьте. В них, ей-богу,
Играет кровь на миг один,
А там остынет понемногу,
И хуже тряпки господин
Такой выходит барин смирный —
Ничтожней двойки некозырной».

Едва дослушав до конца
Холодной речи смысл суровый,
Княжна бежит на поиск новый...

Вдруг видит пред собой отца.
Он с кем-то, щегольски одетым,
Чьи бесполезно бровь и глаз
Обеспокоены лорнетом.
«А! отыскали в добрый час!» —
Промолвил старый князь протяжно;
Звезда сияла, и чело
Сияло голо и светло,
И он, взглянув на Мери важно,
Сказал, торжественен и тих:
«Вот это, Мери, твой жених!»
У бедной Мери грудь стеснилась
И закружилась голова,
Она стоять могла едва,
И сердце билось, билось, билось...

А между тем мамзель Приве
Уснула в свой черед недаром,
И в этой старой голове,
Тепло повязанной фуляром,
Свои перебегали сны,
Воспоминания полны.
Сначала снилось ей — сбиралась
Куда-то на вечер она
И перед зеркалом одна
Своим нарядом занималась.
Какая страшная тоска —
Седых волос и невесть сколько!
Их выщипать — дрожит рука,
Ну — просто больно да и только!
Взяла румяны. Боже мой!
О годы! вы неумолимы!
Худые щеки, нос большой,
Следы морщин неисправимы...
Хлопочет, шиплет, мажет, трет,
А дело все нейдет вперед,
И все морщинка уцелела,
И все серебряной иглой
Мелькает волосок седой...
Она задумалась и села.
Уже давно своим трудом,
Твердя Ноэля и Шапсаля,
Она живет — детей печаля,

И не один российский дом
Ей благодарен за уменье
С раскатцем *R* произносить,
Цветистым слогом говорить
И вздору придавать значенье.
Что ж? Сколотила капитал,
Но он, к несчастию, так мал,
Что, как ни действуй осторожно,—
Жить на проценты невозможно.
А завтра замуж выдь княжна,
Она останется одна,
Без места, без друзей, без крова...
Куда подчас судьба сурова!
«О! где же годы те, когда
Была я тоже молода?..»
И перед ней воспоминанья
Так ясно начали сквозь сон
Вставать из тусклого молчанья,
Что образы иных времен
Совсем воскресли, как живые;
Все люди близкие, родные,
И каждый стул, окно иль дверь —
Все живо вот как бы теперь;
И, видя прежние предметы,
Она сама перед собой
Опять является такой,
Какой была в иные лета.

Вот близ столицы, ей родной,
Дряхлеет монастырь святой
С своей оградой невеселой,
И коридорами, и школой.
Монахинь неослабный взор
За юным женским поколеньем
Здесь держит бдительный надзор;
В саду играет с увлеченьем
Девчонок маленький народ,
И бродят взрослые девицы;
Mam'selle Privé их узнает —
Давно знакомые ей лицы...
Меж ними и сама она;
Она собою недурна,
И стан довольно схвачен ловко,

И очень милая головка
С глазами черными, с косой,
Как ворон черной и густой,
С улыбкой милою, но строгой,
И носом, сгорбленным немного.
Она не прочь бы разделить
Затеи шалости невинной,
Но наперед решилась быть
Всегда послушною и чинной;
К тому ж с подругами она
Не хочет слишком быть дружна,
Хотя и есть в ней непонятный
Избыток нежности к одной
Блондинке рослой и прямой,—
Ну! та породы очень знатной.
Mam'selle Privé ведет себя
Со всеми очень благонравно;
Она и учится исправно,
Напрасно время не губя;
Хотя варьяции и шибки,
Она бренчит их без ошибки;
В науке верует всему,
Чему прикажут, не желая
Навлечь сомнения уму;
Она довольствуется, зная,
Что в небе троица святая,
А в Риме папа, что народ,
Державно милуя, пасет
Король законный — Карл Десятый,
Отчизны истинный отец,
Но смертный; должен наконец
Таким отцом быть Генрих Пятый.
Она, изгнав из сердца грусть,
Все это знает наизусть.
К монастырю, его покою,
Однообразию вещей,
Одежд, занятий и речей —
Хотя и скучно ей порою —
Она привыкла, как в тюрьме
Привыкнуть можно год от году,
Глаз привыкает к полутьме
Иль ухо к часовому ходу.
И вот ей колокола звон

Звучит сквозь трепет сновиденья...
То час вечернего моленья!
Готовясь на грядущий сон,
Монахини чредою чинной
Вступают в коридор пустынный;
Перед Мадонною святой
Горит свеча, и отблеск длинный
Печально борется со тьмой,
И сестры, жертвуя святыне,
Поют (и все немножко в нос —
Как по привычке завелось)
Свою молитву по-латыне.
Но между сестрами одна,
В душе нося любовь святую,
К mam'selle Privé привлечена,
Ей заменяет мать родную,
Ей посвящает каждый труд
Мольбой незанятых минут.
Сестра Тереза ей предстала
Под сенью белой покрывала.
Она в том возрасте, когда
Тревожной юности года,
Разбив души невинной целость,
Уныло переходят в зрелость.
Сосредоточена, бледна,
В движеньях медленных достойна,
Среди сестер была она
Всегда печальна, но спокойна.
Хоть толки шли в монастыре,
Что, предаваяся хандре,
Она старается напрасно
Забыть обман любви несчастной;
Но никому до этих пор,
В миг откровенности случайной,
Не доверял заветной тайны
Ее нешумный разговор
Или раздумья полный взор.
И если в ней к кому пристрастье
Рождало нежное участье,—
Так это к голубю, давно
К ней прилетавшему в окно.
Святого ль духа образ вечный,
Занятье ль праздности сердечной

Ей были милы,— но его
Она, как друга своего,
Любила, холила, кормила...
И умер он!.. Она грустила
Сестре подобно иль вдове,
Потом внезапно полюбила —
Как голубя — mam'selle Privé.
И видит дева пожилая,
Лелея отроческий сон
Давно утраченных времен,—
Сестра Тереза, как живая,
Все той же ласковой рукой
Ее уводит за собой.
Мерцает лампа, тихо в келье;
Сестра Тереза речь ведет
О душ загробном новоселье,
О том, как ангелов полет
На крыльях радужных прекрасен,
Как лик их светел, взор их ясен
И сладок голос, как душа
В жилищах горних хороша...
Сестра Тереза бы желала,
Чтобы любимица ее
Заботу мира променяла
На монастырское житье,
Вдали житейского волненья
Нашла бы верный путь спасенья.
В душе mam'selle Privé самой
К сестре Терезе на мгновенье
Мелькает тайное влеченье,
Подобье дружбы молодой
С ее привязанностью нежной,
Как проблеск утра безмятежный;
Но чаще в ней перед сестрой
Иное чувство обладает,
И дружба место уступает
Одной покорности тупой,
Наружно доброй, но сухой.
Ей странны в инокине милой
Усталый и спокойный вид
И лик мечтательно унылый;
Ей странно, что она глядит
Так грустно, грустно говорит:

«Одна святая вера в бога
Душе способна дать покой.
Ты молода еще, друг мой,
Ты ждешь от жизни очень много...
О! выходя за наш порог,
Ты ждешь и счастья и тревог
Все чрезвычайных и безмерных,
Неслыханных и беспримерных —
А жизнь скупа; ни сильных бед,
Ни счастья сильного в ней нет.
Как лучше объяснить бы это?
Тебе случалось ли одной
Сидеть и слушать... Слышен где-то
Далеко в тишине ночной
Напев, мечтаемый тобой...
И вдруг продребезжит карета,
Спеша по темной мостовой...
Ну, что ж? Кареты шум случайный
Не есть же признак грозных бед;
А смолк блаженства голос тайный,
Исчез, исчез, простыл и след!..
Дитя, поверь мне, в жизни света
Найдешь ты именно вот это,
Увидишь — как ни тяжело,—
Что вечно крошечное зло
Настолько счастью помешает,
Что счастья вовсе не бывает,
А зло не важно... Жизнь мелка,
И только скука велика.
Когда же отдаешься богу,
Душа светлеет понемногу...»
Монахине mam'selle Privé,
Вперив недвижный взор, внимает
И ничего не понимает.
У ней все смутно в голове:
Молитва, папа, бог распятый,
Афины, credo, Рим, символ,
Лагарп, неправильный глагол,
Души бессмертье, Карл Десятый —
Все это истины; она
Им век останется верна...
Но отчего же постоянно
Сестра Тереза так грустна?

Чего же ждет еще она?
Все это как-то очень странно!
Но вот полгода наконец
Пройдут же — время небольшое,—
И в фьякре явится отец
И увезет дитя родное
Из школы скучной и святой
По шумным улицам домой.
Ей платье новое готово,
Она людей увидит снова,
Начнутся танцы, говор, смех...
Ах! может быть, все это грех!..
Но вдруг в монастыре смятенье,
Всех разом охватил испуг:
От города пронесся вдруг
Какой-то гул. Борьба? сраженье?..
Как грома дальнего раскат,
Слышна пальба, трещит набат;
Сестра Люси сама слыхала —
Над садом пуля просвистала;
Весь бледный, сторож прибежал
И весть принес, что Карл Десятый,
Народной силою прижатый,
С престола в Англию бежал;
Все в страхе вытянулись лицы,
Дрожат и сестры и девицы...
Mam'selle Privé сама в бреду
Перевернулась, помычала
И сны иные грезить стала,
Ловя былое на ходу.

И видит — вот ее отец,
Опрятный, толстенький купец
Со взглядом мило плутоватым
И носом бойко крючковатым,
Контору запер и идет,
К обеду весело зовет;
Спешат домашние, теснятся,
И вот за стол они садятся:
Отец, она, еще сестра
Madame Privé, давно покойной,—
Она глуха да и стара,—
Еще monsieur Ragout, достойный,

Хотя и юный адвокат,
Еще приказчик и... «Но вряд
Еще кто будет ли?.. Так что же?
Горячий суп всего дороже!
Займемтесь!..» И monsieur Privé
И разливает, и болтает,
Смеется, шутит, угощает;
Хоть крепко помнит в голове
Légion, продетую в петлицу,
Но режет жареную птицу
Отменно быстро и умно...
Вдруг злость в глазах его блеснула:
«Опять на скатерти пятно!»
Mam'selle Privé с ним заодно,
Вскочила с резкостью со стула —
Оскорблена, возмущена,
И позвала слугу она,
И показала, и сказала,
Что раз уж вычет сделан был
За то, что он стакан разбил,
Но что вперед, во что б ни стало,
Хоть будь проступок невелик,
Его прогонят в тот же миг.
Monsieur Ragout сидит, вздыхает;
Ее он любит и страдает...
Он демократ! — Ему была
Вся эта сцена, как пила
По сердцу...

Но к концу обеда
Живей становится беседа;
Monsieur Privé подать велел
Бордо — и вновь повеселел.
Не ведая сердечной муки,
Самодовольством озарясь,
Себе он потирает руки
И говорит, полусмеясь:
«Да, не совсем-то нашу веру
Хранит моя родная дочь;
Но феодальную химеру
Поможет опыт превозмочь.
Пока пускай себе мечтает,
Пускай глядит себе в окно,

Какой виконт там проезжает
Иль дюк... Мне дорого одно:
Она к хозяйству привыкает!
Поверьте мне, mon cher Ragout,—
Я опытен и я не лгу,—
Все это вздор, все это бредни —
Все их Шамборы и обедни;
И славный наш тридцатый год —
Наш коренной переворот —
Он вечность всю переживет!
Была бы собственность священна,
Порядок был бы сохранен,
И будет быстро излечен
Недуг народный совершенно».
Ragout весь вспыхнул и вскочил,
Потом ступил назад три шага
И шаг вперед; в лице отвага;
Он руки на груди скрестил,
Закинул голову, глазами
Повел восторженно кругом
И начал тихо, но местами
Все голос возвышал потом:
«Клянусь святою тенью Брута
И тенью матери моей,
Прискорбней тысячи смертей
Мне жизни каждая минута!
Нет! Нет! Еще не спас народ
Мещанский ваш переворот.
Предвижу ваше я паденье,
Народа новое житье,
Где, сделав общее именье,
Отделят каждому свое.
Была б любовь — и мир свободный
Создаст союз международный;
Вдобавок гильотина есть:
Она ваш узкий беспорядок
В день, в два (положим, в шесть)
В священный приведет порядок.
Недолго Франции народ
Потерпит мнимую свободу,—
Поверьте, не пройдет и году,
И будет вновь переворот!»
Старик вспылил, возникли споры,

И дело чуть нейдет до ссоры,
Кричат, кричат, бранятся... Но
Потом играют в домино,
И вечер дружно, тихо млеет...

Но вот старик Приве бледнеет
И падает... Что, что?.. Глядят,
А он уж мертвый!.. Все молчат.
Ну! мертвый, мертвый совершенно,
Уже и холоден, как лед;
Всех разом ужас обдает,
Стоят, оцепенев мгновенно.
Но вот, жалея и любя,
Mam'selle Privé пришла в себя
И плачет. Вносят гроб дубовый
И положили старика;
Его отвислая щека
И нос горбатый — вид суровый
Лицу тупому придают.
Проходит несколько минут...
Вослед одетой в траур свите
Священник входит пожилой;
Старуха машет им рукой.
«Тс! тише! — шепчет,— не ходите —
Разбудите! Подите прочь!»
Все шепотом жалеют дочь.
Какой-то господин высокий
Вошел с бумагой и сказал:
«Долгов покойника далеко
Не превышает капитал».
Как? Остается волей неба
Mam'selle Privé совсем без хлеба?
Всплеснув руками, тихо к ней
Идет Ragout и шепчет ей:
«Вы сирота и без именья;
Молю любовию святой —
Не отрицайте предложенья
И будьте вы моей женой».
Но, подавляя скорбь и муку,
Она спешит сообразить:
«Виконт предложит, может быть,
Свою породистую руку...»
И вот monsieur Ragout как раз

Она учтиво отклоняет
И, извиняя свой отказ,
Его до двери провожает...

Дверь распахнулась. На дворе
Метель, и снег летит клоками,
Исчезли улицы с домами,
И все темно в ночной поре.
Кругом лежит пустое поле
Под снегом белым, и над ним
Тоскует голосом глухим
Бездомный вихрь, носясь по воле.
Mam'selle Privé одна, в тоске,
Усевшись на свои пожитки,
Дрожит от холода в кибитке.
Сидит ямщик на облучке,
И рядом с ним, качаясь, дремлет
В тулупе, скорчившись, слуга;
Они все едут, все вьюга́
Знобит лицо и вой подъемлет.
Но наконец — село и дом.
Ямщик к воротам — и въезжает,
Лакей мамзель перед крыльцом
Из-под рогожек вынимает.
Уже в передней от сеней,
Клубясь в пару оледенелом,
Докучный запах вслед за ней
Идет и пахнет в доме целом;
Навстречу барин, весь седой,
В седых усах (он отставной,
В отставку вышел капитаном);
Вот барыня с дебелым станом,
С лицом широким, как луна...
«А где же Варя?.. Вот она!
Вот наша дочка. Что? Лихая?
У вас там встретится ль такая?
Ну, ты, мадам, ее учи,
А бить не смей и не кричи!»
Но звуков языка чужого
Mam'selle Privé не поняла,
А по-французски ни полслова
От них добиться не могла.
И дни проходят... О страданье!

Mam'selle Privé осуждена
На бесконечное молчанье;
А хочет поболтать она
Хоть с кем-нибудь, хоть бы с
соседом...
Уж не бежать ли ей отсель?..
И видит бедная мамзель —
Ее обносят за обедом,
Жалея лакомый кусок;
При ней (о! где терпенью мера!),
Чтоб знала Варенька урок,
Секут Аксютку для примера!
И надо видеть день за днем
В постыдной жизни вечно то же,
И то, что чувствуешь при том,
С морской болезнью как-то схоже!

Но сон таинственной рукой
Меняет скорбную картину
И кажет мирную долину,
Село большое, дом большой
Весь убран на большую ногу,
В нем веет барской стариной;
Mam'selle Privé здесь, слава богу,
Находит роскошь и покой.
Здесь с нею Мери молодая
И бабушка ее больная,
Старушка добрая; она
Приветлива, хоть и больна,
И лучше может по-французски
Вести беседу, чем по-русски.
Породу барскую любя,
Mam'selle Privé здесь совершенно
Как дома чувствует себя
И предается постепенно
Бесперерывной суете,
Девичьей старости черте;
Она всегда гостей встречает,
Хозяйку заменив собой,
И, не смолкая, день-деньской
С утра до вечера болтает
О том, о сем, о прошлых днях,
Погоде, кушанье, чепцах,

Грехе, молитве сердобольной...
Перерываяся едва,
Как бисер нижутся слова.
Порою Мери как-то больно
Звучит вся эта болтовня,
И все несносней день от дня,
И говорит она невольно,
С досады внутренней дрожа:
«Mam'selle Privé, побойтесь бога!
Мне голос ваш и вся тревога
Как по тарелке скрип ножа!»
Mam'selle Privé не отвечает
И барский дом не оставляет.
Но вот приехал старый князь;
С больной старушкой согласясь —
Как ей ни жаль — он дочь девицу
С mam'selle Privé везет в столицу.
Внезапно у mam'selle Privé
Мечта мелькнула в голове,
Что ей бы надо потрудиться
И в князя старого влюбиться,
Что он не стар и что она,
Хотя в летах, но недурна.
И вот она хлопочет страстно,
И притворяется несчастной,
И все вертится вкруг него,
Но князь не видит ничего;
Едва, едва сухим ответом
Почтит ее вопрос пустой,
Иль покивает головой,
Иль с гордым и немым приветом
Из табатерки золотой
С алмазной, яркою каймой
И императорским портретом —
В безмолвьи, сродном старику,—
Понюхать даст ей табаку.
И князя собственной особой
Прельстить нисколько не успев,
Mam'selle Privé притихла с злобой,
Обычной сердцу старых дев.

Но вдруг из двери потаенной
Выходит мальчик молодой,

За ним и дядька пожилой,
Наружности весьма почтенной,
В простом, но чистом сюртуке,
В очках и черном парике.
Mam'selle Privé глядит, дивится...
«Неужто! Как могло случиться?
Monsieur Ragout? Какой судьбой?..»
Француз протягивает руку
И говорит, скрывая муку:
«Как видите,— удел такой!» —
«Но двадцать лет, как мы расстались!» —
«Да, да! С тех пор, как не видались
Мы с вами,— многое прошло,
И в Франции есть перемена!..
Но верьте мне, чем больше зло,
Тем чище выйдем мы из плена,
И гильотина наконец
Положит дерзостям конец.
Уж в эмиграции свободной
Начат союз международный;
Поверьте — году не пройдет,
И будет вновь переворот».
Но погрузилась в размышленье
Mam'selle Privé. Прошло мгновенье —
Она французу говорит:
«Да! мне теперь все стало ясно!
Нас друг для друга бог хранит,—
Женитесь! Я теперь согласна».
Француз оторопел — и вдруг
Бежать пустился во весь дух;
Она за ним быстрее птицы,
С парадной лестницы и в дверь,
Бегут с крыльца, бегут теперь
Уже по улицам столицы...
Навстречу ветер им свистит,
С monsieur Ragout парик летит,
С самой mam'selle Privé — как тряпка
Свалилась шаль, упала шляпка.
Она бежит, она спешит,
Пять, шесть шагов,— чуть не догнала,
Но сердце в грудь стучит, стучит,
Дыханье давит и теснит,
И шаг еще — она б упала...

Но тут проснулась и привстала.
На тощий локоть оперлась,
Глядит: княжна приподнялась,
И обе смотрят друг на друга.
«Что с вами, Мери? Вы больны?» —
«Нет, ничего... во сне... с испуга...» —
«И! спите с богом! что за сны!» —
И в лихорадке от волненья
Ложатся обе и молчат
И друг от друга сновиденья
В бессонном ужасе таят.
И снова все затихло в спальне...
Уже не долетал до ней,
Как отголосок смутно дальний,
С пустынных улиц скрип саней.
Лампада томная дрожала
И круглый отблеск колебала
На потолке, а снизу тьма
Была докучна и нема.
Сквозь щель опущенной гардины,
Упавшей на две половины,
Опять был виден тот же дом,
И кровля снежная на нем
Белелась холодно, уныло;
По ней печальна и ясна
Мерцала кроткая луна,
И все так тихо, тихо было,
Что безотчетно сердце ныло.

РОВЕСНИКИ

(Поэма)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В часы, когда над сонною землей
Безмолвия летает ангел мирный,—
Во мне еще не дремлет голос лирный;
Таинственно я слышу в тьме ночной
И ритма звук, и мерное паденье,
И звонких рифм согласное движенье.
Я образы стараюсь подстеречь
Сквозь легкий пар прозрачного тумана...
Но как начать? Я не придумал плана...
Единством я намерен пренебречь;
И чувствую, что рассержу всю школу,
Но наобум пишу — по произволу.
Единства я и в жизни нахожу
Не больше, чем в картинной галерее,
Где невзначай иль по своей затее
В унынии я медленно брожу
От блудных нимф к мадоннам кротко строгим,
От грустных жертв к сатирам козлоногим.
Кто собрал их недружные черты
Под длинный свод безвыходного зданья?
Что нужды в том? Отстать от созерцанья
Я не могу. А скорбные мечты
Раздумьем мне всё портят поневоле...
Но от него уйти не в нашей воле,

Оно внутри, и требует язык.
Но к предисловиям я не привык —
И потому без церемоний сразу
Я приступлю торжественно к рассказу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Числа и дня, когда был мой герой
Рожден на свет в Москве первопрестольной,—
Не помню я. Я сам был той порой
Иль очень мал, иль вовсе произвольно
Существовал — не в качестве лица,
А в помыслах у моего отца,
Мечтавшего о сыне небывалом,
Что вырастет он штатским генералом.

2

Наверно я скажу, что мой герой
Уже весной тринадцатого года
Мог с молоком мещанки молодой
Всосать всю славу русского народа.
Достойный год! Сам немец, ободрясь,
Выглядывал героем из-за нас,
И солнце первого Наполеона
Скрывалося за тучностью Бурбона.

3

Насчет крестин героя моего
Предание подробное хранится[1]
Отчасти в метриках — и из того,
Что мог я сам узнать от очевидца;
А оный муж приходским был дьячком
И сам тогда купель доставил в дом,
И сам ревел со всей басовой силой —
«Аминь», «подаждь» и «господи помилуй».

---

[1] Читай: хранитца <*Прим. Огарева.*>

4

Родильница лежала в день крестин
В постели пышной, так сказать парадной,
Под сенью желтой шелковых гардин,
Была бледна отчасти, но нарядна.
Все гости ей дарили на зубок —
Кто золотой, кто только пятачок,
И под подушку каждый, друг преданью,
Сложил свой дар, смотря по состоянью.

5

Ровнехонько перед обедом в час
Купель была поставлена в столовой,
Где сонм гостей, в волнении теснясь,
Рассматривал обряд не вовсе новый.
Воспринимали же (и тут родство —
А не каприз,— решило кумовство)
Лет под сорок девица и мужчина,
Иван Фомич и тетушка Арина.

6

Три раза поп проворно в святость влаг
Младенца окунул. Кричал ребенок,
И морщился, и красен был как рак,
И мокрый весь дрожал,— так что с пеленок
Как бы ручей иль некий дождик шел
Святой воды на тетушкин подол,
Хоть мне дьячок, ребячью зная прыткость,
Упоминал и про иную жидкость.

7

Но как назвать героя моего,
Отец и мать решали три недели;
Ну! Как назвать? В честь именно кого?
Отец хотел его назвать Савелий
В честь своего отца, но думал — тесть,
Того гляди, обидится как есть,
И, наконец, был сын с большим усильем
В святом крещеньи наречен Васильем.

8

Но тетушка, стараясь быть мила,
Хоть молодость исчезла невозвратно,—
Смеялася и плюнуть не могла,
От дьявола отрекшись троекратно,
И думали иные не шутя,
Что черт смутит со временем дитя;
Иван Фомич, напротив, вот как дунул,
Что даже свистнул и серьезно плюнул.

9

Отец был рад; старался доказать,
Что весь в него младенец первородный,
Потом нашел, что он похож на мать;
Но мой дьячок, как скептик благородный,
Нашел, что он почти что без волос,
Слюноточив, подслеповат, курнос,
Ну, словом, так, как все бывают дети
После рожденья в день второй иль третий.

10

Обряду вслед крестинный был обед
Со стерлядью, шампанским и желеем;
Но сведений у нас подробных нет,
Нам ничего (и мы весьма жалеем)
Не сообщил дьячок о пире том:
Конечно, поп обедал за столом,
Но сам дьячок, чин чина почитая,
В буфете ел и пил, не унывая.

11

Василий! да! Фамилья же громка,
Сказать ее — поступок неприличен,
А выдумать — задача не легка:
Как быть? Герой мой мелодраматичен
На *ов* — боюсь — все пошлы имена,
На *ский* — взойдешь в чужие племена;
Оставить же нельзя мне без фамильи:
Рассердятся все прочие Васильи.

12

Конец на *ин* мне кажется нежней
Всех остальных; ну, например: Понурин?
Отличное название, ей-ей!
И звук его в стихе весьма недурен.
Да! я забыл: герой мой не один,
Я многих звал принять геройский чин.
Враги! Друзья! сбирайтесь понемногу,
Всем укажу приличную дорогу.

13

Но полно! мне наскучил этот тон,
И шутка, вдруг испуганная думой
Бежит, бежит за дальний небосклон,
Где облака сбираются угрюмо,
Все серые, сырые облака;
В их очерках ищу издалека
Я смутное подобие с чертами
Знакомых лиц, тускнеющих с годами.

14

И образы, чьи помню я черты,
Еще так полные живых движений,—
Колеблются, и вялы и пусты,
Как призраки унылых сновидений.
Мне кажется, я холодно брожу
Между могил и мертвецов бужу,
И вот они, задорны и кичливы,
Опять встают и лгут, что будто живы.

15

Зачем ты лжешь, знакомый мне мертвец?
Давно растратил ты живые силы,
Взгляни иль сам пощупай наконец —
Твой мозг заглох, не бьются кровью жилы...
Застыла мысль в понятиях тупых,
Ты хвастаешь сознаньем чувств живых,
Ты отжил век неясный и бесплодный,
Умей понять, что ты мертвец холодный!

16

Я чувствую кругом себя одно:
Предвечный нуль мне веет пустотою
В том, что прошло недавно иль давно,
В том, что пройдет своею чередою,
И тщетно я на дне души моей
Поверить бы хотел в живых людей,—
Невольно в них я вижу только тени
Минующих, ненужных поколений.

17

Но признаюсь,— рассказ мой о нуле
Не новое, а только повторенье;
Уже о нем в какой-то поздней мгле
Я говорил... Но к черту извиненье,
Я знаю, что, сердяся иль любя,
Давно привык я повторять себя...
Естественно — все мысль одна и та же
Мне давит мозг — и с каждым днем все гаже.

18

А иногда от мысли роковой
Способен я широко оторваться,
И хочется или в глуши степной,
Или в лесу беспечно затеряться;
Без рассуждений там бы все глядел
И наслаждался бы, иль даже б пел
Про тишину, любовь или свободу —
Все потому, что я люблю природу.

19

Но перейдем теперь к иной судьбе:
В тот год, в тот день, в губернии далекой,
В простой, гнилой, бревенчатой избе
Рожден на свет был мальчик одинокой;
Отец с утра отправился пахать,
Без помощи родя, томилась мать,
Пока на крик соседка старушонка
Взошла, крестясь, и приняла ребенка.

Все счастливо. Старушка сгоряча,
Ни гроша взять за труд не помышляя,
Без устали болтала, хлопоча:
«Аксиньюшка! Ложись, ложись, родная!
Я вымою, и в люльку уложу,
И люльку возле на шест привяжу...»
И, прослезясь в волнении веселом,
Глаза отерла масленым подолом.

21

Приехал муж; казалося, был рад,
Пошел к попу и долго торговался,
И долго поп никак не шел на лад
И на двугривенный не соглашался:
Дай четвертак! и дал мужик, кряхтя.
Поп окрестил, не утопив дитя,
Хоть и пришел он в церковь полупьяным;
Младенец же был наречен Иваном.

22

Мужик жене сказал: «Спасибо сын,
То есть в дому у нас теперь работник;
Господня воля! Был я все один,
А он у нас, пожалуй, выйдет плотник».
Но мужика раздумие брало:
Пока сын мал — кормить-то тяжело;
А делать нечего — купил косушку,
И выпил сам, и угостил старушку.

23

И вот они так ясны предо мной,
Знакомые две эти колыбели;
В одной дитя свободно день-деньской
Кричит себе близ шелковой постели;
Другая же, повиснув с потолка,
Качаема безжалостно — пока
Младенец тощий смолкнет без движенья,
Впадая в сон от качки с одуренья.

24

Вкруг первой нянек глупая семья,
А близ другой, в раздольи грязноватом
Спросонок хрюкая, дает свинья
Себя сосать голодным поросятам.
А жизнь и тут и там одна и та ж,
И у ребят одна и та же блажь,
И как пойдут два ровные начала
Вперед и врознь — понять бы не мешало.

25

Но кончу тут я первую главу:
Рожденье есть болезнь, а детство тупо,
И долго длить начальную канву
Я думаю, что даже было б глупо.
Пускай крестит или хоронит поп,
Родятся ли, или идут во гроб,—
Но я займусь вот этим колебаньем
Меж первым голодом и издыханьем.

26

Не знаю я, куда пойдут они,
Новорожденные мои герои,
Коротки их иль долги будут дни,
Полна ли жизнь, иль так себе — пустое,
И кто из них иль прытче, иль смирней...
Но вот теперь что мне всего страшней:
Что наслажденье (кто к нему не падок?) —
Уже само болезненный припадок.

27

И я боюсь за этих двух детей!
Я вызвал их: куда ж толкнет волненье
Порывов чистых и слепых страстей,
И ясных дум, и смутного броженья?
Куда б ни шло, я не солгу ни в чем,
Как мне ни жаль, что жизненным путем
Меж люлькою и гробом колебанье
Шутя идет, как тяжкое страданье.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В глуши степной, когда посыплет снег
И белое кругом замерзнет поле,—
Помещику, рожденному средь нег,
Становится уныло поневоле.
Что занесло его в пустую дичь?
Долги, долги — господской жизни бич!
Хозяйничать помещик уезжает
И думает, что честь свою спасает.

2

Так поступил и Васенькин отец;
А маменька... как имя?.. Лизавета...
По батюшке — не вспомню наконец,
Да кажется, что и не нужно это.
По матушке — у нас выходит брань,
По батюшке — все тоже как-то дрянь:
Васильевна, Федотьевна, Сергевна —
Не хорошо, хоть будь она царевна.

3

То был октябрь. Ужасная пора!
Замерзнет вдруг, потом опять растает;
В чем выехать не знаешь со двора —
В коляске ли, в санях ли — черт их знает.
Но барин все ж поехал по полям,
Все обозреть он лично хочет сам,
Все веря в мощь помещичьего взора;
А озими растут и без надзора.

ТЮРЬМА

(Отрывок из моих воспоминаний)

1

Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова,
И все казалося по силам:
Жизнь мира, будущность людей —
Все было тут... Но в мысли каждой
Свободы благородной жаждой
Я был проникнут до ногтей.
Враг угнетателей бездарных
И просветителей коварных,—
Я верил здравому уму,
Но не завету ничьему.
И было в доблестном безверьи,
В бесстрашьи мысли молодой —
Поболее любви живой,
Чем в их холодном лицемерьи.

2

Широкий, плоский двор. Кругом
Забор с решеткою железной.
Середь двора высокий дом,
Где век проводят бесполезно
Полки замученных солдат,
Всю жизнь готовясь на парад.

Покои — точно коридоры —
Темны и длинны; тускло взоры
Кроватей видят два ряда;
На каждой войлок безобразный,
В ночи унылой отдых грязный
За днем бесплодного труда,
А воздух там и сперт и смраден...
Нет! век солдата не отраден! —
Бывало, утром, на заре —
Глядишь в окно на двор широкий,
А уж ученье на дворе,
То-есть один дурак высокий
В ряд ставит двадцать дураков
И, под рычанье глупых слов,
Шагать их учит, чтоб не смели
Пошевельнуться головой,—
Ну! чтобы так ходить умели,
Как и не ходит род людской.
С какою радостью приятной,
С какою злобой непонятной —
Противной даже во враге —
Он бил солдата по ноге!
И я глядел с немой тоскою
И скорбно думал той порою —
Точь-в-точь как думаю теперь —
Что человек — ужасный зверь.

3

Но возле комнат этих длинных —
Там было комнат пять — едва
В длину шести-семиаршинных,
А в ширину, быть может, в два.
В одну из них меня квартальный
Привез в полночи час печальный.
Зачем не днем? Как это знать?
Так... все таинственности ради,
Чтоб арестанта запугать,
Признаний выманить тетради;
Но никакой расчет пройдох
Не мог застать меня врасплох.
По воле предписаний диких,

В одной из комнат невеликих
Я очутился взаперти.
Кровать, да стол, да стул убогий,
Да, чтобы я не мог уйти,
Был часовой поставлен строгий
У двери, запертой на ключ,
Как будто я был так могуч,
Что мог бы вырваться оттуда
Без сверхъестественного чуда.
Но тут не все: в двери окно,
И часовому знать дано,
Чтоб он смотрел — зачем, не знаю,—
Что я в тюрьме предпринимаю,
И он в окно смотрел не раз,
Безумно веруя в приказ.
Но не имели впечатленья
На жизнь мою в тюрьме моей
Все эти мелкие гоненья
Моих невинных палачей.
Мой сторож стал мне добрым другом;
Привычный властвовать испугом,
Перед смотрителем он лгал,—
Я все имел, чего желал.
Из угля делал я чернилы;
Писал на что хватало силы;
Скажу себе я не в укор:
Писал я, вероятно, вздор;
Но я — поклонник Сен-Симона —
Тогда грядущего закона
От всей душевной полноты
Чертил отважные черты.
Писал — не с тем, чтобы таиться,
Нет! перед подленьким судом
Я вдохновенным языком
Безумно думал обличиться,
Всю мысль был высказать готов
Пред сонмом хитрых пошлецов.
Порой среди ночного бденья,
Глухого полный вдохновенья,
Я в старой библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока —
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

Мне не забыть во век веков
Безумно сладостных часов,
Когда царя тупая сила
Во мне живую жизнь будила.

4

Среди восторга тайных дум
Порой я чувствовал глубоко —
Как тяжело жить одиноко,
И становился я угрюм.
Но мне отрады луч в неволе
Блеснул: в неделю раз, не боле,
Ко мне мой дядя ездить стал;
Его я вправду уважал.
Свободы был бы он оратор
В иной, не рабской стороне;
У нас он только был сенатор,
Был враг душевной кривизне,
А все же прожил век бесплодно
В борьбе, средь мелкого труда,—
Как то бывает завсегда
Там, где и мыслить несвободно.
Мир праху твоему, старик!
Успех был мал, а труд велик.
Когда тебе в воспоминанье
Из глаз моих слеза текла,
Невольной скорби воздаянье,
Поверь — она всегда была
И откровенна и тепла.

5

Еще я помню посещенье...
У нас гусарский полк стоял;
Бывало конное ученье,
И часто средь двора кричал
Забавно, голосом пискливым,
Красуясь на коне ретивом,
Огромный, толстый генерал.
Раз, недовольный эскадроном,

С отчаянья, почти со стоном
Взглянул он кверху — к небесам;
Но до небес на полдороге,
Взор останавливая строгий
На окнах,— у одной из рам
Он, арестанта наблюдая,
Дивяся, вдруг узнал меня.
С отцом знакомство вспоминая
И долг приличия ценя,
Он тотчас добыл позволенье
И посетил мою тюрьму.
Пришлось его благоволенье
Прискорбным сердцу моему!
Он был, конечно, малый честный,
По кавалерии известный,
Но долгом счел он мне урок
Прочесть, похожий на упрек.
Бранил и очень оскорблялся —
Зачем в тюрьму я так попался,
Зачем любил моих друзей,
Зачем не понял жизни всей,
К чему весь образ мыслей вольный?..
Вот он — знакомств имел довольно,
Знакомства почитал за честь,
А друга не хотел завесть;
Зато — как доблести ни малы —
А вышел скоро в генералы,
И если б был я не простак —
И мне бы надо делать так.
Я ж молча думал: без участья,
Без чувств, без мыслей и без счастья,
И даже, может, без похвал —
Помрешь ты, глупый генерал!

6

Приходит (хоть не очень чинно)
В воспоминание мое —
Как бабы на веревке длинной
Сушили мокрое белье.
Одна из них мое вниманье
Влекла, не знаю почему:

Волос ли русых колебанье
Пришлось по нраву моему,
Иль глаз лазурных взгляд унылый,
Смотревших грустно на меня,
Иль тихий свет улыбки милой,
Как утро радостного дня,—
Но что-то к ней меня манило...
То были ль призраки любви,
Иль просто жар бродил в крови,—
Но часто ночью мне мечталось,
Что дверь тихонько отворялась,
И робко шла ко мне она —
Голубоокая жена,
И вдруг бросалась мне на шею,
Я счастлив, я дохнуть не смею...
И увидав, что это сон,
Я был глубоко удручен.
Свечу печально зажигая,
С постели трепетно вставая,
Я строгость мысли призывал
И снова в библии гадал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

7

Но капитан, казарм смотритель,
Порою друг, порой гонитель,
С меня немного взятки взяв,
Вдруг возымел приятный нрав,
К себе стал в гости звать нередко,
Поил недорогим вином;
Его супруга, как наседка,
Сидела с нами вечерком,
Кудахтая о чем-то сложно,
О том, что жить едва возможно,
Все дорого... Чтоб лучше жить,
Мне им бы надо пособить...
Четы уныло гарнизонной
Я не хочу винить никак:
Все ж капитан мой благосклонный
Был малый добрый, но бедняк.

Но, боже мой, как скучно было
К нему ходить! И как меня
Его присутствие томило —
Грустней печальнейшего дня,
Как с ними час побыв, ей-богу,
Стремился я в свою берлогу,
Чтоб о грядущем, одинок,
Я вновь свободно думать мог.

8

Шли дни за днями следом скучным;
Уже за летом пыльно душным
Дожди осенние пошли;
Потом, остынув, с неба тучи
Накинули поверх земли
В холодных хлопьях снег сыпучий,
И побелел широкий двор.
Все стало пусто, молчаливо,
И только редко видел взор,
Как офицер нетерпеливый —
В санях к подъезду сквозь метель
Спешил, закутавшись в шинель.
Терялось время в скуке дикой,
Хоть и трудилась голова...
Но праздник наступал великой —
И вот канун был рождества.
Вдруг входит сторож в час полночный...
«Как? — говорит,— ты, барин мой,
И в праздник будешь так же точно —
Один, как каторжный какой?
Вздор, вздор! Никто мешать не смеет,
Пойдем в казарму... Нипочем
Нам часовой. Пойдем вдвоем
Так просто, смелым бог владеет.
Поверь, в казарме всяк солдат
Тебе, как другу, будет рад».
Вот пропустил, хоть и заметил,
Нас часовой, так раза два
Тревожно кашлянув едва.
Солдат меня в казарме встретил
И обнял, а потом другой,

И сам фельдфебель обнял братски...
Я был им брат, был им родной.
Да! это праздник был солдатский,
И праздник истинный был мой!
В казарме длинной колебались
Лучи лампады, чуть блестя,
Со мной солдаты обнимались,
А я — я плакал, как дитя!
Хотя порой фельдфебель грозный
В побоях видит долг серьезный,
Хоть косо смотрит часовой
На узника, боясь побой;
Но все ж солдат наш и незлобен,
Да и к шпионству неспособен,
Не смотрят братья мужика
На угнетенных свысока.
Пускай француз, поклонник власти,
Народ рабочий рвет на части,
Пусть немец, воин-патриот,
Бездушно душит свой народ
Из чувства дисциплины глупой;
Но все вы, генералы от —
Чего угодно,— свой расчет
У нас ведете очень тупо:
Рожден солдат наш добряком,
Не встанет брат противу брата,
И не удастся палачом
Вам сделать русского солдата!

9

Когда ж вернулся я в тюрьму
И мне пришлось быть одному
В ночи безмолвной и унылой —
Не пал я духом. Новой силой
Я был исполнен... Миг святой!
То было тайное сознанье,
Что я народу не чужой! —
Что мне тюрьма и что изгнанье?..
Весь этот пошлый вздор пройдет,
И час придет, и час пробьет —

Мы свергнем рабской жизни муку —
И мне мужик протянет руку.
Вот что мне надо! Для того
Готов терпеть я без печали
Тюрьму и ссылку в страшной дали,
И все мне это ничего.
Но спать не мог я от волненья
И стал в раздумьи у окна:
Какой мороз и тишина!
Широкий двор средь запустенья
Лежал весь белый, и луна
Над ним светилася бледна.
Могилой веяло... Шагая,
Один метался, как живой,
Себя упорно согревая,
Пред воротами часовой.
Я с тайным чувством содроганья
Смотрел на снег, на лунный свет,—
Как будто нет нам упованья,
Как будто выхода нам нет!
Мы на людском пиру не гости,
Кровь наша стынет, мерзнут кости,
И гробовая тишина
Судьбою нам обречена.
Не ночь одну в тоске глубокой,
Без сна, глядя на двор широкой,
На мертвый снег, на лунный свет,—
Я думал, что надежды нет!
Но чтоб разрушить власть могилы,
Сбирал все внутренние силы
И в старой библии гадал,
И снова жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

10

С тех пор прошло так много лет,
Царь Николай — как был — в мундире
И не лишенный эполет,
Гниет себе в подземном мире;
Давно мой толстый генерал

Прилично богу дух отдал,
И капитан мой при кончине,
Чай, в гроб сошел в майорском чине.
А я, выносливый певец,
Тружусь посильно издалека,
Уже без гордости пророка,
Но тот же искренний боец,
Тружусь, чтоб стали, наконец
И правосудье и свобода —
Уделом русского народа.

NOCTURNO

> Das tragische in Leben ist
> das Gefühl des Nichts.
> (*Brief eines Reisenden*)

Уже и за полночь давно!
Домой иду я одиноко —
Безмолвно, пусто и темно
На нашей улице широкой...
И длинной... так, что днем иди —
Конца не видно впереди.
Теперь не встретишь ни собаки!
И даже самый альгвазил,
Наемный друг гнетущих сил,
Враг бедняка, смиритель драки,
Прогулкой не тревожа слух,
Таится, как незримый дух.
И даже нищий мой, который
Здесь негу сна вкушать любил,
Занять ночлег не приходил
На тротуаре у забора.
Есть фонари, но так бледны,
Как будто только зажжены,
Чтоб показать, какой глухою
Вкруг них все веет темнотою;
Да звезды сверху между крыш
Дивятся на ночную тишь.
Звучит мой шаг во тьме унылой,
И этот звук так пуст и дик,
Что если б я себе на миг
Дал волю — мне бы страшно было.

Стоят высокие дома,
По окнам странный лоск блуждает,
Как будто в них мерцает тьма,
И этот лоск напоминает
Взгляд незакрытых мертвых глаз,
Где жизни луч уже погас,
А что-то чудится живое,
Но неприязненно немое.
Вот виден свет в одном окне;
Свеча в печальной тишине
Сквозь штору трепетно мерцает;
По шторе чья-то тень блуждает.
Кто ты, безвестный мой сосед?
Зачем не спишь ты в эту пору?
Какое чувство горьких бед
Мешает сном сомкнуться взору?
А про меня, быть может, ты
Подумал: «Что там за скиталец,
Какой непрошенный страдалец
Протяжным шагом о плиты
Нарушил мир моей мечты?»
Кто ж говорит, что я страдаю?..
Мне весело. Иду домой
С беседы милой и живой.
Там были шумны разговоры;
О важных лицах и делах,
О самых выспренних вещах
Велися ревностные споры.
Мне было весело. Со мной
Один философ записной
Проспорил целый час о боге.
Он сам далек от той мечты,
Чтоб средь небесной пустоты,—
Где по затверженной дороге
Блуждает мерно хор светил,—
Вообразить себе, чтоб жил
Какой-то барин, учредитель,
Мирских напастей управитель;
Но говорит весьма умно,
Что все есть что-то, что должно
Признать за бога, что украдкой
На дне всего живет в тиши,
Что это нужно для порядка

И для бессмертия души.
А я, ни в мир не веря вышний,
Ни в дно вещей,— я отрицал,
Я попросту ему сказал,
Что это что-то вовсе лишне.
Он спорил рьяно, мудрено,
Я спорил холодно и сухо;
Его понятье — мне смешно,
Мое — ему шло мимо уха,
Так что могли б мы без труда
С ним и не спорить никогда;
Но было весело! — А дамы
Решили, что всего страшней
Касаться до святых вещей,
Что установленной программы
Держаться лучше потому,
Что с ней покойнее уму,
Приятней сердцу без сомненья,
Да и полезно для спасенья.—
Исполнен внутренних тревог,
Меж дам, которых тут я встретил,
Одну внезапно я заметил
И глаз отвесть с нее не мог.
Улыбки кроткой безмятежность
И взора вкрадчивая нежность
Напоминали мне тот лик,
Который я любить привык
Когда-то, в молодые годы,
В дни поэтической свободы...
Мне было весело, и вдруг
Мной страшный овладел недуг;
Я чувствовал, что жизни сила,
Что сердца жизнь во мне остыла,
Что сердце выдохлось давно,
Как незамкнутое вино.—
Так что ж? Пускай! Есть жизнь иная,
Иная цель передо мной,
И труд достойный совершая,
Я занят мыслию иной,
Все благо общее и дело...
Тут юноша подсел ко мне,
Глядит так бодро и так смело,

Пророчит в жгучей болтовне,
Не спотыкаясь о сомненье,
Народов юное движенье...
А я ему сказал в ответ,
Что это вздор — надежды нет,
Чтоб ехал он в глухие степи
Искать иные племена;
Для тех, на ком преданий цепи,
Жизнь кончена, порешена...
И самому мне стало больно,
Как я убил его невольно!
Но занял нас иной предмет —
Потом — за позднею бутылкой:
Чтó лучше, спрашивалось пылко:
Clos de Vougeot или Моэт?
Я предпочел неукоснело
Бургунское; огонь его
Мне кажется дружней всего
С печалью гордой мысли зрелой...
Но речь идет не обо мне:
Ты что, сосед неугомонный,
Свечи не гасишь в тишине,
Томим тревогою бессонной?
Что ты — жалеешь или ждешь?
Грустишь о прошлом или веришь?
Или упорно лицемеришь
И мир особый создаешь?
Быть может, не прожив с полвека,
Ты хоронил уже не раз
Душе родного человека
И сна не знаешь в поздний час?
Напрасно! Никакою силой
Не воскресишь; не спи ночей,
Ворочай в памяти своей
Любимый образ, голос милый,-
Все невозвратно, и могила,
Землей засыпав темный свод,
Безмолвных жертв не отдает.
А может, в возраст тот завидный
Едва вступая, где слегка
На верхней губе пух чуть видный
Крутит надменная рука,—
Ты так влюблен, что спать не можешь,

Огнем трепещешь, и горишь,
И имя милое твердишь,
И воздух дремлющий тревожишь?
Как знать? Она ль начнет черед,
Иль ты разлюбишь наперед,
Иль страсть в сожитьи охладеет
И скука жизнью овладеет?..
Но что-нибудь из этих бед
Придет же, бедный мой сосед,
Хоть ты теперь и полный веры
Не спишь, блаженствуя без меры.—
А может быть, ты не любим?
И только страстью одинокой,
Тоской и ревностью томим,
И о красавице жестокой
Упорно думая всю ночь,
Сна врачеванье гонишь прочь?
Да! Эта страсть продлится годы;
Таков закон ее природы,
Затем, что человек упрям,
И жадно льнет к своим мечтам,
И любит с тайным напряженьем
Дразнить себя пустым волненьем.
Увидишь после многих лет,
Что страсть была ненужный бред.
Но я с чего ж воображенью
Дал ход, как мальчик иль хвастун?
С чего я взял, что ты так юн?
А ты, назло такому мненью,
Муж достославный по всему,
И по летам и по уму:
И брови с проседью нависли,
И опыт дал здоровость мысли,
И ночь безмолвная без сна
Тобой труду посвящена:
Ты пишешь новое творенье,
Где есть загадке разрешенье,
Где ты откроешь нам пути —
Как человечество спасти.
Трудись, спеши, спасай скорее,
Недуг все с каждым днем страшнее!
Над книгой ночь не станет спать
Со временем твой почитатель,

Завета нового искатель,
Чтобы наш мир пересоздать,
И сам, от горя изнывая,
Умрет, тебя благословляя.
А может, ты, подобно мне,
Трудиться любишь в тишине
Над рифмой, и с немым вниманьем
Занявшись строчек окончаньем,
Грызешь с досады до утра
Конец усталого пера?..
Все для того, чтоб как-то чудно
Сказать без нужды кой-кому —
Как в жизни тяжело уму,
Как сердцу горестно и трудно!
Чтоб тот, кто примется читать
Уныло звучную тетрадь,
Едва вкусив самозабвенье,
Опять почувствовал мученье,
Опять бы в сердце мог начать
Живые раны растравлять!
Занятье истинно благое,
И стоит, чтоб ночей не спать.
А если ты совсем иное?
Ты, может быть, больной старик
И, морщась, сдерживаешь крик?
Ценя терпение тупое —
Скучаешь так, как не скучал
Никто от нравственных начал?..
И ждешь: науки представитель
Приедет доктор, твой спаситель...
Не верь ему, не жди его:
Наука только для того,
Чтоб нерв ощупать уязвленный —
Коснуться пальцем до него,
Понять болезни ход законный —
И только, больше ничего!
Пора, старик неугомонный,
Чтоб напоследок понял ты
Всю власть бездонной пустоты,
В которой тени жизни бродят,
Родятся люди, люди мрут,
Народы в битвах век проводят
И гибнут... новые растут.

Пойми, следя всех дел теченье,
Нуля предвечного движенье,
И в этой мысли ты, друг мой,
Сыщи незыблемый покой,
Чтоб ни болезни, ни печали
Уже твой ум не возмущали.
Но вдруг он погасил свечу,—
И остаюсь я одинокой
На нашей улице широкой...
Чего я жду? чего хочу?
Зари ль улыбки ждут целебной?
Но все темно, но все враждебно...
Пойду домой — тревожный нрав
Спокоить в усыпленном теле...
А может быть, сосед был прав —
И я страдаю в самом деле!

МАТВЕЙ РАДАЕВ

(Поэма)

ПОСВЯЩЕНИЕ

И день прошел! Я наконец один,
Моей мечты бесспорный господин.
Какую цель ей в тьме ночной поставлю?
Куда полет задумчивый направлю?
О! знаю, знаю!.. Как ни отучай,
К гнезду летит затерянная птица
На родину! Как будто чуждый край —
Просторная, но грустная темница!
Нет, нет! Тебе с тоскующей мечтой
Не совладать, изгнанник добровольный!
Ей нужды нет, легко тебе иль больно,
Вспорхнет себе и полетит домой.
И там, бродя в кругу воспоминаний,
Упрямая, отыскивать начнет
Картины тусклые — народный гнет,
Унынье лиц, безмолвие страданий...
А сердце,— сердце глухо задрожит,
Холодный зноб по телу пробежит.
Иль вдруг мечта, вниманье напрягая,
Подслушает внутри родного края
Живую жизнь и с вестию весны
Над родиной с лазурной вышины
В сияньи утра крыльями забьется
И песнею серебряной зальется;
А сердце, веруя, на звук живой
Откликнется тревогой молодой.

Продержит ли, озарена денницей,
Моя мечта свой радостный полет,
Иль с высоты подстреленною птицей
Она на степь безмолвную падет,
И сердце с всей горячею любовью
Заглохнет вовсе, обливаясь кровью:
Что б ни было — придется ль отпевать
Умерших заживо, у их постели
Весь пошлый хлам их жизни поднимать,
Иль песни петь у новой колыбели,—
Что б ни было — за чуждые края
На родину лети, мечта моя,
И с трепетом надежды и кручины
Отыскивай знакомые картины...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предание

1

Вдоль снежной улицы забор,
За ним широкий белый двор;
Между людскими и сараем,
До окон снегом заметаем,
Приземистый господский дом;
Навес дощатый над крыльцом.
В передней свечка нагорела;
На койке, прислонясь к стене,
Без развлечений и без дела
Лакей храпит в неровном сне.
В столовой пусто; втихомолку
Блуждает лампы тощий свет,
Часы стенные без умолку
Снотворно стукают: да — нет...
В гостиной пусто и печально:
Перед диваном стол овальный,
Горят две свечи на столе;
Уныло креслы в полумгле,
Пустые ручки простирая,
Кругом стоят, как бы взывая —
Когда же кто, о небеса!

Одушевляя круг наш тесный,
В объятья наши полновесно
Опустит тучные мяса! —
Но их взыванье безответно...
Один, свидетель тишины,
Какой-то барин со стены,
Вперед склонясь едва заметно,
Недвижен в раме золотой,
Лукаво смотрит, как живой,
С улыбкой черствой, желчно важен,
Во фраке, чопорно приглажен
И в белом галстуке с узлом
Под красной лентою с крестом.
Но возле, в комнате угольной,
По взгляду первому невольно
Узнает каждый этот лик:
Высокий сгорбленный старик —
Да, это он! Хоть старей много,
Но тот же взгляд лукаво строгой.
Немало, знать, мелькнуло лет
С тех пор, как писан был портрет!
Теперь и голова седая,
Улыбка, съежась, стала злая,
Наморщен лоб, нависла бровь
И вместо фрака, пригревая
Уже дряхлеющую кровь,
Надет пальто, да потеплее;
Одно, как прежде: крест на шее.
Старик за письменным столом
Сидит, в расчеты погруженный;
Пред ним бумаги лист, кругом
Исписанный и разграфленный;
Следит за цифрой зоркий взгляд,
По счетам пальцами сухими
Рука, скользя из ряду в ряд,
Стучит кружками костяными.
Хотя б один сторонний звук!..
И слышно в тишине суровой
Все только счетов беглый стук
Да ровный ход часов в столовой.
И время крадется вперед...
Старик проверил свой приход,
Рука притихла, смолкли счеты;

Часы в столовой, из дремоты
С внезапным шипом пробудясь,
Пробили звонко девять раз
И снова с мерностью упорной
Пошли постукивать снотворно.
Морщины жесткого чела
Старик, насупясь, грозно сдвинул
И счеты в сторону откинул,
Взял колокольчик со стола,
Звонит... звонит... Но нет ответа;
Трепещет гневная рука...
Вдруг, будто пущен из лукá
Иль выстрелен из пистолета,
Лакей бежит, стучит, бежит —
И стал в дверях у кабинета.
Старик в лицо ему глядит,
И у лакея дрожь-злодейка
Прошла по телу беглой змейкой.
«А ты ходи, да не стучи!
Добром вас, видно, не учи!
Все спишь, мошенник! Розгу знаешь?
Иль ты ее позабываешь?
Напомнить, что ли? Говори:
Напомнить?.. То-то же — смотри!
Позвать бурмистра!» — Вслед урока
Лакей на цыпочках ушел,
Как бы боясь попортить пол,
И было слышно издалека,
Как взвизгнул блок во весь размах
И дверью скрипнуло в сенях.
Старик встает, как тень сухая,
И ровно, медленно шагая
По комнатам взад и вперед,
В углах свершая поворот,
Блуждает, точно дух пустынный
В тиши обители старинной,
И вторит шороху шагов
Глухое стуканье часов.
Пришел бурмистр и стал в столовой,
А барин ходит и молчит;
Всегда грозы бояся новой,
Мужик опасливо глядит,
То робко ноги переставит,

Погладит бороду, вздохнет,
Иль кашлянет, кушак поправит,
Или, бледнея, пальцы мнет.
Соскучившись прогулкой мерной,
Подходит барин наконец:
«Ну что? Приехал твой купец?» —
«Ждем с часу на час. Будет верно».—
«Ты у меня смотри, подлец,
Надуть меня с ним хочешь вместе?..» —
«Как можно-с! Провались на месте...» —
«Задаток в руки,— и смотри,
Чтоб было у всего обоза
Зерно получше сверху воза,
А дрянь, что ни на есть, внутри;
Да улучай и день приема,
Когда купца не будет дома».—
«Кузьма просился на базар...» —
«Забыл, чем пахнет полугар?
Али он сечен не был сроду?
Не сметь! Назначь его в подводу.
Пошел!» — И вышел вон мужик.
Опять молчанье дом объемлет,
Опять лакей на койке дремлет,
Опять по комнатам старик
Пошел бродить, как дух пустынный
В тиши обители старинной,
И снова шорханье шагов,
И снова стуканье часов,
И в вечер зимний, вечер длинный
Вас так и давит и гнетет
Глухое чувство тайной муки,
Тоски подавленной и скуки,
И время крадется вперед.
А на дворе свое молчанье,
На небе месяц, и светло,
По снегу робкое мерцанье,
Морозно, пусто и бело.
В саду деревья седы, голы,
Стоят недвижные их стволы,
Все сучья кверху устремив,
Как будто и у них порыв
Какой-то был, покуда жили,
Да тут же навек и застыли.

И ни вблизи, ни сдалека,
Среди безмолвия глухого,
Не чуешь ничего живого,
И давит страшная тоска.

Так жизнь тянулась годы, годы,
Сегодня так же, как вчера,—
Старик считал свои приходы,
Все так же длились вечера.
Из службы выгнанный когда-то,
Но верный цели всех трудов —
Копил он постоянно злато
В деревне, купленной с торгов.
Все прочее считал за шалость;
В хозяйстве видя идеал,
Он к мужику не ведал жалость,
Давил работою и драл;
В замену взяток, с страстью новой
Он полюбил обман торговый,
Любил процессы по судам
Вести кривой дорогой сам;
С своим соседом и соседкой
Не ладя, он видался редко;
Из слабостей мирских к одной
Благоговение питая,
На шее крест носил он свой,
В уединеньи поджидая:
Заедет ли купец какой
В недружелюбную трущобу,—
Чтобы тотча́с перед собой,
Взглянув, почувствовал особу;
Иль навернется как-нибудь
Судья ли, член ли непременный,
Не преминул бы униженно
«Превосходительство» ввернуть;
Но эта слабость мимоходом
Шла, не вредя любви к доходам.
Кому старик и для чего
Копил с безумием недуга?
Бог весть! Ни сродника, ни друга
Не появлялось у него.
Хотя в ребячестве когда-то
Он знал двоюродного брата,

Но жизнь их врозь пошла давно,
И что с ним сталось — все равно.
Одно живое наслажденье —
Что год, то прикупить именье,
Одна томительная страсть —
Нажив и мелочная власть...
И жил старик, как дух пустынный
В тиши обители старинной,
И все дряхлел из году в год,
И напоследок в свой черед
Он умер как-то незаметно,
Скупую жизнь дожив бездетно.
И долго после грустный дом
Между людскими и сараем,
До окон снегом заметаем,
Стоял в забвении глухом.
Лишь месяц, по небу гуляя,
Сквозь сучья голые блеснув
И робко в окна заглянув,
Лучом по комнатам блуждая,
Бросал безмолвно мертвый свет
На неколеблемый портрет.
Часы молчат, свеча задута,
Лакей ушел, и дверь замкнута,
В дому нигде не шелохнет,
И время крадется вперед...

2

Раз у околицы, зимою,
В пустую даль через ухаб
Седой мужик глядел и зяб,
И слушал с робкою тоскою —
Кого с утра господь сулит?..
А колокольчик все звенит,
То притихая по сугробью,
То заливаясь мелкой дробью,
Все громче, громче... Вот вдали,
По следу узкому, как свора,
Теснится тройка, с косогора
Катя в серебряной пыли.

Вот съехала, вот близко, близко...
И вот, в ухаб ударясь низко,
Кибитка, вымахнув с прыжка,
Мелькнула мимо мужика,
Его оставив без движенья
С раскрытым ртом от удивленья,
Летит селом во весь опор;
Вот перед ней рябит забор,
И вот, качнувшись с поворота,
Она в скрипящие ворота
Нырнула на господский двор,
И колокольчик, замирая,
Смолк у крыльца. Слуга спрыгнул
И, полость мерзлую стряхая,
Ее проворно отстегнул;
И что-то там внутри кибитки,
Вглубь, под рогожаный навес
Совсем ушедшее в пожитки,
Закопошилось, и полез
Тяжелым зверем из берлоги,
С трудом выпутывая ноги,
Какой-то барин или груз —
Где только шуба да картуз,
И в дом пошел. Его впуская,
Отверзлась с визгом дверь сенная;
Лакей, вкушавший негу сна
На койке в оны времена,
Воскрес опять; с заботой новой
Часы опомнились в столовой;
Портрет безмолвно со стены
Встречал движенье новизны.
Но кто же гость неприглашенный?
С какого горя вздумал он
Нарушить многолетний сон
И вносит в дом неблагосклонный
Заботу чуждую свою?
Не хочет ли для перемены
Вдохнуть в замолкнувшие стены
Он жизни резвую струю?
Или, покойнику подобно,
Найдет, что и ему удобно
Здесь молча жить из года в год,
И все попрежнему пойдет,

И в жизни все одно и то же
Потянется, на смерть похоже?..

Приезжий снял не без труда
Одежду зимнюю в передней,
И вышел барин хоть куда —
В пальто коротком, ростом средний,
Ни худ, ни толст и в тех годах,
Когда седин мороз осенний
Не серебрится в волосах,
А нежный цвет поры весенней
Уже навек сбежал с лица,
Достигла юность до конца;
Черты все резки, нет уж боле
В глазах веселости живой,
В улыбке мягкости родной,
И втайне спросишь поневоле,
Пред человеком становясь:
Что это сердце — скорбно ль, пусто ль?
Что тут — раздумье или усталь?
Как жизни ломка пронеслась —
Здоровость сил ли в нем созрела
И ринется в живое дело,
Иль только жизнью дан ему
Бесплодный холод ко всему?

Слуга приезжего спокойно
С ним обращался и достойно,
Покорно звал: Матвей Ильич,
Но все ж, стремглав, дрожа заране,
Не бегал на господский клич.
На принесенном чемодане,
На медной маленькой доске,
В мудреных буквах чуждых краев,
Хотя на русском языке,
Читалось явственно: Радаев.

Радаев наскоро спросил
(Что сделал всякий бы с дороги,
Устав от грязи и тревоги)
Умыться и белье сменил,
Напился чаю, сну предался
И за обедом доказал,

Что бурь житейских грозный шквал
Его желудка не касался
И свято человек хранит
В юдоли бед свой аппетит.
Удобств желание имея,
Радаев пересилил лень,
Взяв в помощь старого лакея,
Свой дом устроил в тот же день:
Столы и стулья переставил,
Слуге приезжему убрать
Велел пожитки и кровать.
И книг запас в тот шкаф прибавил,
Где молча жил из году в год
Законов многотомный свод,
Покойника в уединеньи
Одно усидчивое чтенье.
Потом по ящикам в столах
Радаев стал, порядка ради,
Раскладывать свои тетради
И письма в связках и листах,
Где почерк мелок, буквы дружно
Толпятся, жмутся в тесноте,
И много сердцу было нужно
Сказать на маленьком листе.

Но рано день склонялся томный,
Настал и вечер длинный, темный.
Была, как в прежни времена,
В столовой лампа зажжена,
В гостиной свечи. Дом устроен;
Радаев мог уж быть спокоен
И отпустил усталых слуг,
Чтоб дать им отдых и досуг,
Иль, может быть, хоть тут уж мало
Людолюбивого начала,
Хотелось наконец ему
Остаться просто одному.

Какая тишь! Как одиноко!..
Как близко ждешь ударов рока!
Почти что страшно. Эта тьма,
В окно глядящая докучно,
В углах бродящая беззвучно...

Весь этот дом — что он? Тюрьма?
И где исход из заточенья?
Где звук хоть дальний искупленья?
Здесь даже прошлым не могло
Повеять как-нибудь тепло...
Портрет двоюродного дяди!
Старик век прожил не любя,
Глядел на одного себя...
И вот, наследственности ради,
Закона странного путем
Попал Радаев в этот дом.
Он дяди не знавал и сроду,
Ему старик, и дом его,
И жизнь его вся год от году
Не представляла ничего.
Здесь не было воспоминаний,
Того знакомого следа
Былых людей, живых преданий,
Неизгладимых никогда.
Здесь тихо детскому веселью
Ничей не радовался глаз,
Никто, с любовию склонясь,
Не пел над детской колыбелью;
Никто здесь по полу порой
Шагов знакомых не направил,
Никто на вещи ни одной
Прикосновенья не оставил;
На что ни взглянет он — ему
Чужое все во всем дому́.
И только то ему известно,
Что дядя нажил грабежом
И что наследовать по нем
Почти что даже и нечестно.
Тоска, тоска! Невольно тут
Радаев стал искать приют
Среди иных воспоминаний,
Среди своих родных преданий,
И образы тут вспомнил он
Иных людей, иных сторон.
Он вспомнил, как во дни забавы,
Когда он мальчик был кудрявый,
Чтоб слабый возраст охранять,
Ему сопутствовала мать,

Высокая, со станом стройным,
С лицом задумчиво спокойным
И лаской в голосе самом.
Он вспомнил, как она сидела,
Он на коленях перед ней,
Не отводил с нее очей,
Часы глядел бы, день бы целый;
Пускай не мог он понимать,
Но взоры детские искали
На кротком лике разгадать
Значенье думы и печали.
Раз он застал ее в слезах;
Отец его, веселый малый,
На этот раз, как полинялый,
Стоял с газетою в руках.
Они тревожно разговоры
Вели все шепотом, как воры.
Речь шла, как месяц уж тому
Горячкой умер царь в Крыму,
А в Петербурге в день присяги
Был бунт, исполненный отваги.
Полк вышел чуть не на заре
И стал на площади в каре —
Готов на смерть и жаждет воли.
Не надо больше рабской доли!
Ребята! стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Царь пушки выдвинул. Солдату
Казалось грех стрелять по брату.
Но дан приказ, свистит картечь,
Телам на снег пришлося лечь.
Сомкнись! Каре, привычный к строю,
Сомкнулся суженной стеною.
Ребята! стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Залп, залп — и сила одолела,
Шатнулися, погибло дело.

Мать плакала, отец умолк.
Ребенок, сам не понимая,
Шептал: помянет Русь святая!..
Потом, что день, то больше толк
Ходил в народе боязливо;

Жандармов шлют без перерыва:
Тот в крепости, тот ночью взят;
Вот матери любимый брат
Захвачен был в Украйне дальней,
И дома день от дня печальней;
Ребенок ужасом объят.
С ума нейдет все этот дядя,
Он к ним недавно приезжал
В мундире с саблей; тихо гладя
По голове, его ласкал:
«Будь, милый мальчик, друг народа,
А там уж, что ни суждено,
Погибнет, нет ли — все равно;
Благослови тебя свобода!»
А при гостях — он так кричал,
Так как-то резко выражался,
Старик с звездой его боялся
И, втайне злясь, при нем молчал.

Потом прошло еще с полгода,
Цвела зеленая природа,
И было лето, и дитя
В саду резвилося шутя.
Вдруг весть достигла дальним слухом:
Окончен суд — и пятерых
Повесили, всех сильных духом,
Повесили тихонько их,
Так, знаете, чуть рассветало,
Чтоб говора не возбуждало.
Других в цепях в Сибирь везут
И дядя с ними тоже тут.
Ребенка обдал тайный трепет,
Кругом он слышит робкий лепет:
Повесили... Сибирь... в цепях...
Везут... и дядя в рудниках.
А сердце женское изныло,
И мать не вынесла беду,
Она слегла: звала в бреду
Свое дитя и говорила:
«Мой сын, мой сын, храни, храни —
Храни завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных,

Сыны отечества они...
Дитя мое, храни, храни!..»
Смолк голос, сила упадала,
В девятый день ее не стало...
Лицо как мрамор, бледный лоб,
Попы и пенье, свечи, гроб...
Радаев вскрикнул. Все, что было,
Так ярко память воскресила,
Душа его потрясена,
Живая дрогнула струна:
Так вот оно — его преданье!
Вот праотцы! Вот завещанье!
О! Тут с былым святая связь
Внутри его не порвалась;
Пусть все вокруг пока чужое,
Внутри преданье есть живое,
Ему в дни скорби и труда
Не изменял он никогда.
Пусть тьма ночная глухо бродит,
Метель тоскливо песнь заводит,—
Он чувствует, что сохранил
Упорство воли, бодрость сил.
А много в жизни шумнокрылой
Прошло и мыслей, и страстей,
Ошибок, слабостей, скорбей,
Падений горьких, взмахов силы,
И все ж еще, назло судьбе,
Не утомился он в борьбе.
Он вспоминал про годы школы,
И резвых мальчиков семью,
И про латинские глаголы,
Про дружбу первую свою,
Про безотчетное стремленье
И юной мысли пробужденье,
И как, сквозь школьный хлам теснясь,
На свежий путь она рвалась.
Сначала в школе шло свободно
И обращались благородно,
Без оскорблений,— и с детьми
Учтивы были, как с людьми.
Но хуже было год от году,
И юных помыслов свободу
Покрой казармы вытеснял.

Пошли предательство, нахальство,
Дух чести голову склонял
Перед понятием начальства.
И много отроков тогда
В года надежд и ожиданий,
Почти что в детские года,
Вдались в тоску без упований,
И только кто в душе подлец
Был мира счастливый жилец.
И где друзья общины школьной,
Товарищи весны привольной,
Делившие между собой
Порывы жизни молодой,
И первый пыл негодованья,
И робкой мысли начинанья,
Восторги, скорбь, надежды, труд
И прелесть искренних минут?
Все разбрелися как попало,
Их жизнь по свету разметала...
Блаженны те, кого уж нет,
Кто в гроб сошел во цвете лет
Без грязных пятен, сердца жара
Не заглушив в чаду угара
И не торгуя, как иной,
Своей душевной чистотой
За деньги, барство, блеск столицы,
За блюдо царской чечевицы.
Кто ж уцелел? Да, редкий тот,
Кто мог в себе сквозь сон и гнет
Спасти завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных...
И все оно, везде оно —
Преданье чистое одно.

Радаев вспомнил, как, в угоду
Отцу, служил он больше году
В блестящем городе Петра,
В одном из зданий многолюдных,
В одном из заведений чудных,
Где пишут с самого утра,
Спешат без смысла и без срока
С неугомонностью потока
Справлять дела, дела, дела —

Решения добра и зла,
Свершенные по воле царской
Порядком дури канцелярской.
Радаеву навеял сплин
Ход государственных пружин.
Царя он видел на параде
В тугом воинственном наряде;
Огромный рост, и зверский взгляд,
И лоб, откинутый назад,
Все, что могла создать казарма,
Все дико выразилось в нем,
Совокупив в одно с царем
России главного жандарма.
Царь на параде всех распёк
За беспокойство конских ног
И ускакал так гордо, смело,
Как бы свершил святое дело.
Радаев ясно мог понять,
Что тут нельзя спасенья ждать.
«Боюсь свободы» — надпись эта
На знамя царское надета;
Как прежде в школе, так везде
Он видел — в войске и везде
Росло предательство, нахальство,
Тупела мысль и мозг дичал,
Дух чести голову склонял
Перед понятием начальства.
И Русь жила в суровой тьме,
И было душно, как в тюрьме.
Радаев с жизнью не свыкался;
Весь чад тревоги городской,
Бездушной, дикой и пустой,
Его томил, он задыхался,
Рвался на волю и уйти
Хотел с служебного пути.
Но чувство увлекло иное
Его в те памятные дни.
Искало сердце молодое
Любви и счастья,— и они,
Они пришли тепло и ясно,
Со всей мечтательностью страстной,
С всем мягким воздухом весны,
Где мирно слиты жизнь и сны.

Радаев вспомнил утро мая:
Прогулку раннюю свершая
В садах лицея вместе с ней,
Он шел под сению ветвей.
Как солнце весело вставало
И блеском розовым сияло,
И как светла была вода
Спокойно гладкого пруда,
В студеной влаге отражая
И вглубь отрадно погружая
Верхи деревьев и кустов,
Как пахло свежестью листов,
Густая зелень чуть шептала,
Роса блестела и дрожала,
А в сердце что за полнота!
Любовь просилась на уста,
И пролетел как бы украдкой
Влюбленной речи лепет сладкой.
Радаев помнил . . . . .[1]
Пожатье беленькой руки
И личко, полное участья,
Улыбку счастья, слезы счастья.
О! как хорош, как чист был он,
Сердечной жизни первый сон.
И все надежды, всё страданье,
Свое заветное преданье,
Весь мир своих любимых грез
В свою любовь Радаев внес,
И сердце девичье, казалось,
На все созвучно отзывалось,
И силы вызвала любовь,
И в жизнь поверилося вновь.
И чем же кончилось все это?
Жениться — рано, там и тут
Отцы согласья не дадут...
В мечтах любви промчалось лето,
Нашелся в Питере зимой
У Вареньки жених другой,
Три года старше и богаче,—
Радаев близок был ему

---

[1] Недописано в рукописи. (*Прим. ред.*)

По направленью и уму,—
Но Варя разочла иначе
И к другу сердца в пять-шесть дней
Заметно стала холодней,
О дружбе говорила только,
А о любви уже нисколько,
И стала требовать совет:
Идти ей замуж или нет?
Удар был дан по самой ране;
Радаев помнил, как в тумане,—
Он, сам не зная как, тогда
Пролепетал: конечно — да!
Потом он помнил: вкруг налоя,
Взяв роль шута или героя,
Венец над милой головой
Носил он собственной рукой;
Потом в санях скакал он прытко
По темным улицам в метель
И дома, изнуренный пыткой,
Рыдая, бросился в постель.
У! вдруг как пусто в жизни стало,
Как будто умер кто, и он
Вернулся с чьих-то похорон,
Иль это что-то умирало
Внутри его, и в цвете сил
Свое он сердце хоронил?
Как все предметы стали бледны!
Как все надежды стали бедны!
Да и на чем он строил их
В мечтах восторженных своих?
Кругом осталось все как было,
Все так же пóшло, так же гнило,
Все так же канцелярский ход
Вертел уродливой машины
Самодержавные пружины,
Карал за мысль, душил народ.
Все так же точно в адской пляске
Перед глазами вдаль и вблизь
Фигуры дикие неслись.
И дикий царь в античной каске,
И в каске дикий генерал,
Квартальный, князь, фурьер придворный —
Все в касках мчались наповал:

Всё римляне, народ задорный;
Их жизни жизнь, их цель, их честь
Простого смертного заесть;
А тут директор в вицмундире —
Наглец и раб во всей красе.
Ну! где ж стесненье в этом мире?
Все надоело, всё и все.
И даже тот, как бишь, писатель,
Сухой учености искатель,
Молчалин родом, но нахал,
Который важно утверждал,
Что нам нужны, как драгоценность,
Умеренность и постепенность.

Радаев службу, наконец,
Оставил, жаждал воли, воли...
Куда? — в Москву уехать, что ли?
Там жил тогда его отец,
В своем вдовстве давно утешен
Тем, что был сильно многогрешен.
Он сыну нехотя урок
Прочел слегка и не в упрек
Сказал, что он не одобряет
Отставки, что поступок глуп,
Но, впрочем, жил бы сам как знает,—
И, засмеясь, поехал в клуб,
Где ставил мазы на валета
От ранней ночи до рассвета.

Но из среды воспоминанья
На миг Радаев отвлечен
Был мыслью странного свиданья...
Да! Вареньку увидит он.
Она теперь его соседка,
В деревне с мужем здесь живет,
Верст за десять,— уж пятый год —
С детьми... чай, стала, как наседка,
И хлопотлива и жирна...
И будет встреча их смешна!
Но он насмешкою презренья
Не омрачит прошедших дней
И взглянет с чувством примиренья
На грезы юности своей.

Так в полдень душный, в вечер мглистый
Отрадно вспомнить про рассвет,
Про утро с свежестью душистой,
Про теплый солнечный привет.
Не все ж на женскую измену
Досаду детскую питать,
Когда он сам... Но тут опять,
Уставя взор в пустую стену,
Радаев начал проводить
Былого прерванную нить.

В Москве его ждала иная
Беда — безумная, тупая...
Удар судьбы! Беды страстей,
Как ни жестоки, но сносней;
Их ждешь как молнии с грозою,
А тут, как ни бери в расчет
Причин и следствий стройный ход,
А все ж судьба перед тобою —
Топор слепого палача,
Безумно рубящий сплеча.
Радаев доблестного друга,
Товарища. . . . . , .[1]
И мыслью сильного бойца
Застал под властию недуга,
В чахотке — месяц жить навряд...
Чуть внятный шепот, мутный взгляд,
Лица и тела исхудалость,
И беспокойство, и усталость,—
Страшна она, страшна, дика
Людей предсмертная тоска!
Все кончилось... Еще могила!
Так молод, а уже идти
Пришлось на жизненном пути,
Как по кладбищу, и уныло,
В туман и мглу глядя вперед,
Считать, кого недостает.
Что ж это?.. Вот не стало друга,
Мечта любви унесена,
Как в тень юркнувшая волна,
И средь безвыходного круга —

[1] Недописано в рукописи.— *Ред.*

Где жизнь лепечет жалкий бред —
Оплот потерян, веры нет.
Свободы гордое призванье,
Его заветное преданье —
Оно не нужно никому,
Все придышалися к ярму.
Он чувствовал, что траур носит
И по своим и по чужим,
Равно по мертвым и живым,
Тоска души покоя просит;
В Москве не по себе ему
В ленивом, легоньком шуму.
И с наступившею весною
Он в путь пустился поскорей
В деревню, где он рос дитею,
К приюту мирных кротких дней,
К могиле матери своей.

ИСПОВЕДЬ ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

СЦЕНА 1

Улица в Вёве. Две девочки и мальчик.

1-я девочка. Не шуми, Леля, дома все слышно; мамаша не велела шуметь. Папаша очень болен и станет сердиться. Мамаша велела, чтобы мы были очень смирны.

2-я девочка. Да ведь я отсюда ему не мешаю, папаше. И когда же он сердится? Он только стал какой-то странный. Не любит ласкать. Подзовет на минуту, да и прогонит. А шумлю я на улице или нет — ему все равно.

1-я девочка. Ах, какая ты! Сказано — не шуметь, ну, и не шуми.

Мальчик. А нет ли чего поесть, Надя? Я голоден.

1-я девочка. Погоди, сейчас будет ветчина. Мамаша сама пошла в лавочку.

Мальчик. Ну, хорошо — подожду. Только уж как есть-то хочется!

2-я девочка. И мне хочется, а я все же ничего не говорю.

1-я девочка. А вот и мамаша.

Дама *(в шляпке и с корзинкой в руке)*. Пойдемте, дети.

Все входят в дом.

СЦЕНА 2

Комната. Больной в постели (полулежа на высоко за спину заложенных подушках) и доктор.

Больной. Что? Плохо, доктор? А и то плохо, что я вам ничего не могу заплатить за труды.

Д о к т о р. Полноте об этом говорить; на то я и соотечественник. Лучше покажите еще раз ноги... Гм!.. Дайте еще послушать. Я вам просто всю правду скажу; чай, вы не трус. Плохо, Николай Петрович! Болезнь сердца ощутительная. Ожирение ткани, гипертрофия левого ушка. Недолго поживете, будьте храбры. Тут помочь мудрено, болезнь органическая.

Б о л ь н о й. А как вы думаете, доктор, дня два еще проживу?

Д о к т о р. Может быть, и проживете... Не зна́ю.

Б о л ь н о й. Спасибо вам за откровенность. Я не хотел бы умереть неожиданно; оно как-то глупо...

Д о к т о р. Я так и думал, что у вас такая идея, оттого и говорю прямо. А в сущности я с вами не согласен: то ли дело свалиться нежданно-негаданно. Смерть — такая вещь: чем незаметнее придет, тем легче. Но все же я вам советую держаться как можно спокойнее — без тревожных дум: может, лишний день и проживете. Что вы улыбаетесь?..

Б о л ь н о й. Постараюсь, доктор.

Д о к т о р. Я вам пропишу кое-что успокоительное. *(Отворяет дверь в другую комнату.)* Варвара Ивановна, дайте-ка бумаги и чернил.

В а р е н ь к а. Взойдите сюда.

Д о к т о р. Ну! так прощайте пока, Николай Петрович. Ужо опять приду (Exit).

Б о л ь н о й. Прощайте, доктор. *(Думает.)*

Да! избегать тревожных размышлений —
Легко сказать, а выполнить нельзя.
Не то чтоб смерть меня пугала слишком,
А мысль о том, что дети и жена
Останутся без хлеба, без приюта,
Бросает вдруг в тупой, холодный ужас,
И позабыть бывает свыше сил.

Да, жизнь моя прошла довольно странно
Или промчалася... И под конец
Ни одного не остается друга,
Которому я мог бы поручить
Мою семью с той полной, полной верой,
Что он ее не бросит никогда
И трудовой свой рубль не пожалеет

На корм, на кров, на воспитанье их...
Ни одного не остается друга!..
Кто виноват? друзья ль мои ушли,
Почувствовав весьма практичный холод,
Или я сам их дико разогнал
Заносчивым, бесплодным самолюбьем?
Как это знать!.. Мне ясно лишь одно,
Что я — уж вовсе я не религиозен —
А покаяние перед собой,
Предсмертное, мне дорого и нужно.

Варенька *(входя)*. Тебе, должно быть, очень больно, друг мой,— ты бледен. Что сказал тебе доктор? Мне он ничего не хотел сказать, только почмокал губами, пожал мне руку и ушел.

Больной. Да и зачем тебе спрашивать, Варя,— успеешь горевать, когда придет время. Мне одно жаль, что твою молодую жизнь сгубил ни за что. Счастья я тебе не принес. Моя любовь, может быть, поволновала тебя ненадолго, а счастья, настоящего счастья, спокойного счастья я тебе не принес... А оставляю тебе на горе...

Варенька. Полно, полно! Слыхала я все это не раз. Ты только меня мучишь по пустякам, а самому становится хуже. Я детей накормила и послала опять играть на улицу, а то шумят.

Больной. Ты все же их ужо приведи ко мне взглянуть на них... хоть на минуту.

Варенька. Как же!.. Только ты не жалей обо мне и старайся быть спокойным. Бог даст — станет лучше. Я вот здесь сяду белье чинить, а ты постарайся уснуть. Ты ночью так страдал.

Больной. Да, Варя, постараюсь.

Варенька *(садясь)*. Вот и хорошо.

Больной *(закрывает глаза и продолжает думать)*.

Как много сил, растраченных без цели!
Чего хотел, к чему стремился я?
С чего была восторженная вера
В свой гений собственный, в свой страшный ум,
Которому доступны были мысли
Громадные — не впору никому?
С чего во мне так жарко билось сердце,
Желания не ведали границ?

С чего себя великим человеком
Я чувствовал? И что же сделал я?
Везде, куда перстом я прикоснулся,
Я людям сделал зло — невольное,
Ничуть не думая о том, что делал.
И тем пошлей! Я, стало, просто был
Игрушкой призраков — отнюдь не больше.
Так что дошел теперь до убежденья,
Что человек не может отвечать
Ни в чем нисколько за свои поступки.
Поступок — следствие своих причин...
Но где же прок и в этой верной мысли?
Она вредна. Скажи ее глупцу —
Он мерзость всякую себе позволит...

Варенька. А ведь ты не спишь и как-то тяжело дышишь?

Больной. Ничего, Варя, немножко тяжело, но это не помешает уснуть. Работай себе спокойно.

Варенька. Что это лекарство долго не несут?

Больной. Все равно, Варя, не много поможет. *(Закрывает глаза и продолжает думать.)*

Невольно мысль стремится к прошлым дням
И в дальние идет воспоминанья.
Чем далее, тем лучше, тем свежей...
Ребячество и юность... дом отцовский...

Дверь тихонько отворяется.

Служанка *(кличет шепотом)*. Madame, madame!

Варенька *(встает и спрашивает в дверях шепотом)*. Qu'y a-t-il, Marie?

Служанка. Le pharmacien ne fait pas crédit.

Варенька. Mon dieu, Marie, voilà ma bague, portez la au mont de piété. Je suis sûre que vous arrangerez tout cela parfaitement bien.

Служанка. O! certainement, madame.

Больной. Что ты с ней такое шепчешь, Варя? Ничего не слышу.

Варенька. Ничего, ничего, дело домашнее, нечего и слушать. Спи себе.

Больной *(закрывает глаза и продолжает думать)*.

Богатый дом и сад, оранжереи...
Полсотня слуг... С нелепым немцем брат,
Сестра с своей мадамой безотлучной...
И сам отец, который с нами в день
Беседовал три раза очень важно
И коротко,— а на ночь подходил
К постелям — дать свое благословенье,
И исчезал как царственная тень.
Знакомый, но какой холодный образ!

Весенним днем (мне было восемь лет,—
За мной еще присматривала нянька)
В саду, в траве, я рвал и ел щавель,
И стало мне невыносимо скучно.
В платке, в очках, старуха свой чулок
Вязала и считала тихо петли,—
И мне она до смерти надоела.
Я чувствовал — я как-то всем чужой.
И сам не знал, чего мне было надо.
Мне было жаль старуху, но меня
Присутствие ее томило страшно.
И начался какой-то переход
От детского беспечногоснованья
К сознанию или к пустой мечте.
К чему-то новому...

Служанка *(в дверях, шепотом)*. Madame! Voici la médecine — 1 fr. 50, deux francs d'intérêts et 2 pièces d'or, que voilà et le reçu.

Варенька. Bien, Marie, je vous donnerai 1 fr., dès que j'aurai du change.

Служанка. Merci, madame, vous n'êtes pas riche mais toujors bonne, que Dieu vous bénisse.

Больной. Что такое, Варя?

Варенька. Принесли лекарство. Три раза в день по ложке. Прими же ложку.

Больной. Давай, пожалуй!

Варенька подает лекарство и смотрит на больного.

Больной. Не жалей, Варя. Что тебя обманывать? Я, вероятно, скоро умру. Не жалей меня слишком. Встретишь человека доброго — выходи за него замуж. Он и детей пригреет. Да и ты, может, будешь счастливее, чем со мной.

Варенька. Полно говорить все такое! Душе больно. Лежи спокойно и старайся уснуть.

Больной. Прости, Варя,— так с языка срывается. А кажется, начинает смеркаться?

Варенька. Да, я зажгу лампу да пойду ворочу детей и усажу их внизу, у хозяйки, за лото или что-нибудь такое. А ты постарайся успокоиться.

Больной. Хорошо, Варя.

Варенька зажигает лампу с абажуром, опускает шторы и уходит.

Больной (*продолжает думать*).

Ох! это мне ненужное лекарство!
О чем бишь я хотел припоминать?..
Да! няньку я почти что ненавидел,
Отца боялся я. И (разность лет)
Чуждался я равно сестры и брата,
О прочих нечего и говорить.
Сама мадам и даже рыжий немец
Меня всегда щадили свысока...
Добра со мной бывала разве дворня,
Вся дворня без различия чинов —
Лакей, стопник, буфетчик, кучер, прачка,
Все думали — вот маленький барчук,
И ласково со мной подчас играли.
Я к ним привык, и мне их было жаль,
Мне думалось, что жить им очень жутко,
Мне думалось, что кто-то был неправ;
А кто — тогда сообразить не мог я.
Так я и рос. Меня всему учили.
В младенчестве я страшно был ленив —
До дерзости. Раз (живо помню) немца
Схватил я за ноги и чуть не сшиб,
И в угол стал — наказанный, но гордый...
А все ж болтал на разных языках...
Но отроком я к чтенью стал прилежен
С упорностью. Из классов уходил
И все читал такие книги, книги,
Которые мне памятны теперь,—
И каждый раз все больше ненавидел
Я этих всех моих учителей,
И думал — подрасту, такую книгу
Я напишу, что их повергну в прах.

Не замечал никто моих стремлений,
Ни ближние, ни немцы, ни мадам...
И выросло во мне высокомерье,
Как в схимнике. Я думал — я рожден
На подвиги великие, святые...
Куда уйти? От ближних как спастись?
Ни сил, ни средств, а жизнь все давит, давит...
Неужто ж был я отроком несчастлив?

О нет! Я помню, помню те года,
Я счастлив был и скорбию, и верой,
И помыслом, растущим каждый день,
И чувством, каждый день кипевшим жарче.
И все тогда влекло меня вперед —
И жажда знать законы общей жизни,
Судьбы великие людского рода,
В которые не верю я теперь,
И двигала меня еще живая память
О пятерых, которых Николай,
Испуганный, замучил и повесил.
По их следам слагалась жизнь моя,
Я призван был работать для свободы
И победить иль величаво пасть...

Когда отец, свершив ночной обход,
Ложился спать и дом стихал глубоко,
Я подходил к лампадке и писал,
Писал стихи (плохие, вероятно),
Но с трепетом, но крадучись, как вор,
Но внутренним исполненный блаженством,
И жизнь мою, мою живую жизнь
От них от всех я прятал с наслажденьем.

Вдруг от стихов я перешел к науке.
В моем уме невольной чередой
Теснилися вопросы за вопросом,
Без отдыха, без страха, без конца...
Бесплодные, но страстные попытки!
А тут пришла действительная жизнь
И обстановку всю перевернула.
Брат лихо в полк уехал в Петербург,
Потом сестра приятно вышла замуж;
Исчезло все — и немец и мадам,
И я один с моим отцом остался.

(Я матери не помню; дважды в год
Отец меня возил к ней на могилу.)
Я выпросил, с великою борьбой,
Чтоб он позволил мне идти в студенты;
Он наконец согласье дал, а сам
Уехал жить в далекую деревню.
Вот я один... Усердный математик!
(Да и тепѐрь, да и всегда, всегда
Стремилась мысль к своей заветной цели,
И я в рядах событий и вещей
Следил их формулу... Иного знанья
Без вымыслов признать не может ум...)

Гм! Я совсем ведь не об этом думал,
Я думал о давно прошедших днях
Доверчивых надежд и юной дружбы...
Здесь началась она так горячо,
Казалось, ей конца не будет вовсе.
Я помню раз — тогда была весна,
И талый снег едва кой-где белелся,
И мутные ручьи текли вдоль улиц...
Я с другом шел куда-то далеко —
Край города... там третий жил товарищ.
Мы бодро шли, толкуя меж собой
И шлепая калошами по грязи.
Я помню комнатку аршинов в пять,
Кровать, да стул, да стол с свечою сальной...
И тут втроем, мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм,
И чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне
И втайне шаг за шаг распространять.
Товарищ наш, глубоко религьозный,
Торжественно пред нами развернул
Большую книгу в буром переплете
Со сдёржками... И мы клялись над ней,
И бросились друг другу мы на шею,
И плакали в восторге молодом...
И в жизни слез я не припомню чище!..

И что ж потом? что ж вышло? — Ничего! —
Один в Сибирь отправился на службу;
Сперва писал, потом все реже, реже...
Я также и — вот скоро десять лет,—
Я слышал раз о нем, и то случайно.
Уроками печально жил другой...
Я как-то навестил его проездом;
Он сердцем чист остался, как и был,
И с радостью меня безмерной встретил;
Но рано он обзавелся семьей
И уходил угрюмо в религьозность,
А этому на помощь нищета...
Он показался мне каким-то пошлым...
Он умер молод и семью оставил...
А я, а я — великий человек,—
Я, сверху вниз взирая на страданья,
К нему уже потом не заезжал,
А в городе бывал-таки нередко.
Он, говорят, меня перед концом
Тоскливо звал и плакал, что нейду я,
А я, а я — я об его семье
Не справился!.. Как это гадко, гадко!
То был мой первый грех!..

Как в сердце стукнуло... Что это?
Нет, отошло... Чай, испугал ее?..
Ах, да! Она внизу с детьми. Тем лучше! —
Но вот она. Я притворюсь, что сплю.

Варенька входит на цыпочках, смотрит на больного и молча садится у стола за работу.

Больной (*продолжает думать*).

Нет, нет! то был уже не первый грех!
И как же я не сразу это вспомнил?
Иль суд внутри — за давностию лет —
Кончает, как гражданская палата?
Иль что прошло — скользнуло как волна
По памяти и холодно забылось?
Как ты легка, недремлющая совесть!..

Едва усы пробилися как пух,
А я уже безумно сделал мерзость.
Подруга бедная беспечных дней,

Забытая, несчастная Анюта,
Приходит же, однако, образ твой
Тревожить мне конец бесплодной жизни...
А я любил, как любят в первый раз,—
Когда конца любви и не предвидишь.
Позабывал я свой научный труд
И проводил с тобой и дни и ночи,
Час без тебя мне был невыносим...
Но мысль одна и тут держалась цело
И даже в страсть вносила жизнь свою —
Мысль о борьбе за общую свободу...
И помню я — бывали сны и ночи
Про будущий переворот народный;
И я будил тебя и говорил
О том, как мир быть должен перестроен
И как собой я жертвовать готов...
Ты слушала — не знаю, понимала ль.
В сочувствие я веровал охотно.
Да! Я любил в мальчишеском бреду,—
Любил с полгода, да потом и бросил.
За что? зачем?.. Соскучился любить?
Ты ж из простых была — легко и бросить.
А впрочем, нет! расчета подлого
Я не имел, а сам не знал, что делать...

Взялся опять за свой научный труд,
Но с этих пор я как-то дико, разом
Внутри себя дух стоика носил,
И жажду дел мог заменять разгулом —
Карикатурою эпикурейца.
Я б мог сказать, как многие,— среда!
Среда... И я — великий человек —
Сил не имел в ней удержаться чистым.

Я помню раз — на улице я встретил
Студента одного... из плохоньких,
Так, дурачка, и подлого вдобавок.
«А знаете вы новость,— говорит,—
Ведь родила на днях Анюта ваша,
Но мальчик ваш не прожил даже дня;
Я от ее знакомой это слышал,
Которую сбираюсь бросить сам:
Она мне тоже больно надоела».

Я думал, что совсем схожу с ума,—
Все вспыхнуло — раскаянье и жалость,
И даже стыд, что с этаким скотом
Я становлюсь теперь на ту же доску...
Дух гордости и тут не изменил!
Нет, не среда — я, человек, был гадок.

А! *(Вскрикивает, приподнимается и опять опускается на подушки.)*

В а р е н ь к а *(подбегая к нему)*. Что с тобой?

Б о л ь н о й *(переводя дух)*. Ничего, ничего, Варя. Я только хотел сказать, что после курса я вступил в военную академию.

В а р е н ь к а. Ты что-нибудь во сне видел, друг мой, и еще бредишь. Может — испугался?

Б о л ь н о й. Нет, не испугался; а точно что-то во сне видел — про старое время, должно быть. Ничего, теперь, легче.

В а р е н ь к а. Ты так необычайно вскрикнул...

Б о л ь н о й. Да, что-то вдруг больно стало; теперь ничего. Да уж не поздно ли, Варя? Ты бы привела ко мне детей проститься.

В а р е н ь к а. Сейчас, то есть скоро... Подожди с четверть часа; их приход тебя всегда волнует. Лучше подожди немного.

Б о л ь н о й. Как хочешь.

В а р е н ь к а *(Идет к двери и кличет вполголоса)*. Marie, Marie!

С л у ж а н к а. Plait-il, madame?

В а р е н ь к а. Courez vite chez le docteur; dites lui de venir tout de suite.

С л у ж а н к а. Bien, madame.

Б о л ь н о й. Что ты там, Варя? Кажется, посылаешь за Андрей Лукичом?

В а р е н ь к а. Да, друг мой.

Б о л ь н о й. Испугал я тебя? Да что ж он сделает?

В а р е н ь к а. Все лучше. И мне, да и тебе самому спокойнее.

Б о л ь н о й. А впрочем — пусть придет. Он хороший человек, я его люблю, и пока еще есть сколько-нибудь сил, я рад буду с ним повидаться. *(Закрывает глаза.)*

Варенька стоит и смотрит на него.

Больной (*думает*).

А я не зол, я даже сердцем добр,—
Откуда же бралась вся эта жесткость?
Как объяснить?.. Среда да организм...
Безвольное движение поступков!
А там пришло сознание греха...
Сознание! — да и оно невольно.
(*Раскрывает глаза.*)

Варенька в том же положении стоит и смотрит.

Больной. Тебе жаль меня, Варя? Ты мне прощаешь, что я тебя довольно помучил в этот почти десяток лет нашей жизни вместе?

Варенька. Если уж на то пошло, то не тебе, а мне приходится просить прощенья. Я об этом часто думаю. Я тебя не всегда понимала и часто оскорбляла моим упорным противоречием...

Больной. Да и я всегда ли требовал правды, или был только раздражителен? Не знаю, Варя, может, оно и глупо, что мы стали снисходительны друг к другу и нежны — только когда поняли, что мне недолго жить. Если тебе нужно мое прощенье — я его даю искренно и, кроме любви к тебе, ничего не имею в мысли... (*Протягивает ей руку.*) А себе я прошу прощенье по праву умирающего. Я не жду ни прощений, ни магарычей на том свете, поэтому мне нужно, пока еще жив, прощение людей, мне близких... Оно мне нужно, Варя, глубоко нужно.

Варенька наклоняется и нежно целует его в лоб.

Больной. Да, это так, теперь мне легче. А если бы и те могли простить меня?.. Варя, ты напоминай детям обо мне; говори им, что я их любил... больше даже, чем они думают. Мне не хочется, чтоб они меня забыли... Неужто и это с моей стороны слабость?..

Варенька (*сквозь слезы*). Перестань, ради бога, ты себя только волнуешь...

Ручка у двери тихо повертывается, входит доктор.

Варенька. Вот он!

Доктор. Ну что, что?..

Больной. Потревожили вас, доктор?

Доктор. Какой потревожили — я и без того к вам шел и встретился с вашей Marie по дороге.

Варенька. Он так вскрикнул...

Больной. Да ничего — отошло.

Доктор *(садится на постель)*. Разумеется — в лице усталь. Должно быть, боль схватила шибко. *(Щупает пульс.)* На, а теперь как?

Больной. Эх, Андрей Лукич, не удалось нам с вами поработать. Хоть поговоримте еще раз, насколько голосу хватит...

Доктор. Эге! да вы вот как! голова-то осталась свежехонька. Поговоримте, Николай Петрович. Оно даже, может быть, и хорошо подействует. Наука — дело спокойное, светлей всего остального.

Больной. Нам бы с вами хорошо было работать, доктор; во мнениях, кажется, расходиться не случалось — хоть даже и в том, что мы оба не верим в медицину...

Доктор. Что и говорить, Николай Петрович! Когда-то еще леченье будет наукою,— а покамест только исследование болезни или, лучше сказать, жизни, сколько-нибудь подходит под значение науки. Варвара Ивановна смотрит на меня, как будто сказать хочет: да зачем же ты, дурень этакий, лечишь? — Лечу, Варвара Ивановна, потому что это мой хлеб насущный. Но на сто случаев — может, раз лечу сознательно, а то все по традиции-с, немногим умней деревенской знахарки. И интересует-то меня больше процесс болезни, чем леченье. Ведь только в болезни и поймешь сколько-нибудь самый процесс жизни. Помните, Николай Петрович, как вы мне предложили вместе начать ряд исследований?..

Больной. Вчера еще об этом думал, доктор. Взять бы хоть какую эпидемическую болезнь, самую простую — оно нагляднее — да исследовать ее дотла... ну — хоть корь, например.

Доктор. Да! ведь что вы называете дотла — то дело нешуточное. Сколько способов придумать надо...

Больной. Это было бы ваше дело. Я бы вам посильно помогал в наблюдениях, а главное — помогал бы в неупущении ни одного вопроса, ни одного сведѐния сложных явлений жизни на простой физический, или лучше механический процесс, который можно привести в математическую формулу, то есть прийти в самом деле к научному пониманию...

Доктор. Ну, хорошо — возьмите хоть корь. С чего же бы вы начали исследование?

Больной. Лишь бы сил хватило, доктор, дайте досказать. Мы не выбьемся из двух координат — среда и организм. Начнемте с среды. Наблюдение воздуха — микроскопическое (потому что тут не обойдется без живого заразительного материала), химическое (потому что живой материал из чего-нибудь да возник), физическое (потому что самый организм человека — только особый вид движения). При этом все нужно знать: электромагнитное напряжение, и самое направление хода заразительного материала, образование температуры.

Доктор. Милый мой Николай Петрович, вот вы будто и повеселели. Зачем это вы давно не посвятили себя науке?

Больной. Зачем? Мало ли зачем, доктор. Зачем я весь век во всем человечески хорошем был аматёр, а во всем ненужном — maestro! Опять среда и организм... От этого я и отжил свой век лишним человеком...

Доктор. Только вам говорить-то трудно. Отдохните немного; уж лучше я поболтаю и займу вас...

Варенька *(тихо доктору)*. Я думаю, теперь можно привести детей?

Доктор *(задумчиво)*. Приведите, Варвара Ивановна.

Варенька. Я пойду за детьми, друг мой.

Больной. Хорошо, Варя.

Доктор *(думает)*. Странный человек! Сколько еще силы. Да не ошибся ли я? Не принял ли какую-нибудь иную компликацию за... Пожалуй, и ухо иной раз обманет?.. Зачем же я его встревожил? Впрочем, мудрено ошибиться. Будь я немножко похладнокровнее — что за интересный субъект для изучения.— Я вот что вам хотел сказать, Николай Петрович: уж одно наблюдение воздуха потребовало целой ассоциации ученых, да еще каких! А как же вы их сведете вместе? Подите-ка! Даже и у хороших людей, и у тех столько личных целей, что не соберете вы их вокруг одного предмета, на общую работу...

Больной. И не надо их много, доктор, довольно трех-четырех человек, ярко понимающих вопрос и искренно преданных делу...

Варенька *(вводит детей)*. Ну — подите, проститесь с отцом.

Больной. Надя! Надя! Моя белокурая Надя! Доктор, пустите ее ко мне на постель. Надя! Дай посмот-

реть на твои добрые серые глаза. Ты уж большая, Надя, скоро девять лет. Люби сестру и брата, будь им другом, учи их...

Надя *(держа его за руку)*. Как у тебя голос дрожит, папа. Зачем ты так печально глядишь на меня?

Больной. Я не печально, Надя, а так уж очень люблю тебя, и мне тебя жаль... Ну! А ты, Соня? Нарезвилась? И ты, Ваня? Что вы делали?

Мальчик. Играл, папа.

Соня. А я, папа, уж в книжке читаю.

Больной. Вот как! Ну, а ты, Ваня?

Ваня. Я, папа, картинки смотреть умею.

Больной *(молча смотрит то на того, то на другого)*. Ну, поцелуйте меня, дети, и пора вам спать. Может, не скоро увидимся. *(Целует их судорожно и закрывает глаза рукою; Варенька уводит детей.)*

Надя *(в дверях шепотом)*. Отчего папе меня жаль и отчего он говорит, что мы не скоро увидимся? Разве он куда уедет?

Варенька. Нет, Надя, это он так говорит.

Мальчик. Какой он бледный стал.

Соня. Мама, ты вели ему завтра меня читать заставить. Он еще не слыхал, как я читаю.

Варенька. Ну, идите, идите. *(Уходит с ними и затворяет дверь.)*

Доктор *(хочет что-то сказать, но не может придумать, что сказать, и думает про себя)*. Чем же я его утешу? Ничем не утешу! Что ни придумывай — все вздор! Мешать его горю? да только нужно ли мешать-то? А если и нужно, так можно ли? Детям я как-нибудь пособлю, чем в силах. Разве люди станут болтать, что с чего-либо он чужую семью содержит, верно недаром. Я уж подумывал — да не жениться ли мне после на Варваре Ивановне?.. Да нет! куда! И она-то захочет ли? Да и сам-то я... куда мне жениться? Только от науки отобьешься. Пожалуй, и сам выйдешь лишним человеком... Ну! а как и со всей наукой-то выйдешь лишним человеком?.. Нет... все же нет! Я с семейной жизнью не совладаю. *(Смотрит на больного.)* — Николай Петрович, не унывайте, друг мой. Уж вы послушайте меня, право не унывайте. *(Берет его за руку.)*

Больной. Страшно за них, доктор. Что ж тут делать — не всегда храбрость на себя натянешь. А впрочем,

тут уже не пособишь. Лучше говорить о другом чем-нибудь.

Доктор. Да вы вот что, Николай Петрович, вы уж положитесь на меня. Все сделаю для них, что только могу...

Больной. Вы, Андрей Лукич? Стало, вы меня в самом деле любите?..

Варенька входит.

Доктор. Ну! Перестаньте говорить об этом. А вот что, Варвара Ивановна, я сегодня здесь ночевать останусь, домой не пойду. Вот здесь где-нибудь вздремну...

Больной. За что ж вы-то еще себя мучить хотите?

Варенька. Лучше ступайте домой, Андрей Лукич. Я сама здесь на диване прилягу. Marie останется с детьми; если уже очень устану или если нужно, я за вами пошлю.

Доктор. Нет, Варвара Ивановна, вы, пожалуй, вздремните здесь на диване, а я все ж не уйду. У меня дома сна не будет. Нет! уж я здесь останусь.

Больной. Ну! Как хотите, доктор. Спасибо вам за дружбу. Кажется, мне самому вздремнуть хочется.

Доктор. И хорошо бы. Это бы вас успокоило. Лекарство только раз принимали? Примите еще теперь.

Варенька подает лекарство. Доктор садится в кресло. Варенька садится к столу и продолжает работать. Больной в самом деле дремлет.

Доктор *(шепотом)*. Уснул, кажется, Варвара Ивановна, прилегли бы и вы. Ночью придется проснуться; он, верно, спросит чего-нибудь, долго не поспит.

Варенька *(шепотом)*. Не знаю, Андрей Лукич. Тоска томит. Все думается — может, и я виновата, что он так болен.

Доктор. Это еще что, Варвара Ивановна, теперь вы начнете себя терзать небывальщиной.

Варенька. Нет, Андрей Лукич, не небывальщиной; а я думаю — я ему жизнь не облегчала, а затрудняла много и много...

Доктор. Полноте, Варвара Ивановна, нравственное страдание тут мало имело влияния. Болезнь выросла из других, чисто материальных причин. Перестаньте себя тревожить. Говорю вам — сберегите силы на то, чтобы в самом деле пособить ему, может что ночью будет нужно.

Вы посмотрите на себя, вы сами исхудали в это время, а тут нужны силы да твердость.

Варенька. Да, я, пожалуй, вас послушаю, Андрей Лукич. Прилягу. Только уж вы меня не переуверите в том, что я так страшно чувствую. Я тут много виновата. Я вам говорю это, потому что мне надо это сказать. *(Тихо плачет.)*

Доктор. Лягте же, Варвара Ивановна! Успокойтесь! Бросьте тревожить себя фантазиями. Положите работу в сторону (*берет у ней из рук работу*) и лягте.

Варенька ложится на диван и продолжает тихо плакать.

Доктор (*садится в кресло и думает*). Как посмотришь — к этой всеобщей тьме понимания еще всегда примыкает какая-нибудь трагедия иная, домашняя, ненужная. А он, Николай Петрович-то,— один из самых светлых умов... Кажется, иная бы доля должна была выпасть в жизни!.. Черт знает, что такое. Попробую сам уснуть. Хорошего ничего не надумаешь. Да и устал-таки, день-деньской была работа... Насмотрелся я на все этакое, привык, кажется, а тут как-то сердце не на месте, и чувствую, что на этот раз я знанием наказан. *(Потягивается. Наступает совершенная тишина.)*

Больной раскрывает глаза, пересиливает боль и продолжает думать.

РАССКАЗ ЭТАПНОГО ОФИЦЕРА

1

Да! Право, бедность лишь одна
Заставить может службу эту,
Кряхтя, вычерпывать до дна,
Не изведя себя со свету;
Не хуже каторги она.
А как тут быть? Чуть из пеленок,
Совсем дурак, совсем ребенок,—
А мать кричит: «Ступай служить!
Мы нищие, нам надо жить!..»
Ну! и пошел. Пять лет в тревоге
Хожу все по одной дороге.
Я малый добрый, господа!
Готов кутнуть... А иногда
У нас дела такого сорту,
Что все бы бросил, ну их к черту!

Вот хоть недавно: на ночлег
Пригнал я партию. Ей-богу,
Устал. Прошел, хоть и не в бег,
А все ж не малую дорогу.
Прилег. Вдруг слышу — меж собой,
Прикованных рука с рукой,
Бранятся двое — хоть до драки.
Вскочил, кричу: «Ах вы, собаки!
Молчать! Вот я вас, дураки!
Чуть пикнете — скую вас строже,
В такие завинчу тиски...

Эй! свечку! Дай взглянуть им в рожи!»
Пришел и сторож со свечой;
Смотрю — сидят передо мной,
Молчат. Один — пожалуй, молод,
Но ряб и рыж; зато кулак
Здоровый — что железный молот...
Другой пожиже — так, мозгляк.
«С чего вы, чертово отродье?»
А рыжий мне: «Я — ничего,
Я смирен, ваше благородье;
Все это он,— приструнь его».—
«Ты что, пострел? Вишь, прыть какая!
Кажись, фигура небольшая,
Силенки, чай-то, ни на грош,
Туда же в драку лезет тож!
Чего тебе?» Мозгляк сварливый
Приподнял голову лениво,
И на меня он посмотрел
Так как-то грустно, так уныло,
Что индо сердце защемило,
И словно я оторопел.
«Чего тебе?» — его я снова
Хотел спросить весьма сурово,
Но чувствую, что голос мой
Стал будто мягче сам собой.
А он в ответ: «К кому хотите
Меня прикуйте, хоть к двоим;
Но с ним меня вы развяжите,
Мне страшно — я не свыкнусь с ним».
Тут рыжий, рот скосив, нагнулся
И мелким смехом усмехнулся.
А я стою — совсем дурак —
Гляжу и, сам не знаю как,
Сказал: «Эх, братец, жаль мне, право,
Но сам я не имею права;
Пожди до города, скажу
Полковнику — и развяжу».
Поутру, выспавшись обычно,
Подумал: это неспроста;
Кажись, я человек привычный —
С чего ж напала доброта?
Достойно ль это офицера?
Чего я им смотрел в глаза

И не отвесил, для примера,
Им ни единого туза?
Все это странно... «Эй, ребята!
У кабака вас угощу;
Но даром не бывает трата,
За это вот что с вас взыщу:
Рассказывай, смотри — как было,
Все без утайки, черт возьми!
За что в Сибирь вас угодило?
За что наказаны плетьми?»

2

Вот рыжий начал: «Что же, барин!
За водку буду благодарен,
Да и корысти нет скрывать:
Своей судьбы не миновать,
Стыдиться тоже мне не сродно,—
Так расскажу вам что угодно.
Я у отца был старший сын;
Отец мой родом мещанин,
Торговлю вел чем ни попало —
Веревки, деготь, мыло, сало,—
Так в городишке небольшом
Лавчонку содержал с трудом.
Мы всё беднели с каждым годом;
Не то чтоб чай водился с медом
Спасибо скажешь, не взыщи,
За хлеб да за пустые щи.
Мы, дети, оставались босы;
Отец придет из кабака,
Да мать почнет таскать за косы
И нам, не то чтобы слегка,
Даст мимоходом тумака.
Я рос в нужде, в тревоге дикой,
Завистлив, зол и плут великой,
И думал: скоро ты большой,
Такую жизнь себе устрой —
Чего ни спросишь — тут и было б,
Всего бы вволю, ешь да пей!
Тебя тронýть никто не смей,

А сам других, пожалуй, бей,
Все нипочем, все с рук сходило б.
Вина захочешь — наливай!
Пей до упаду, дна не знай!
Закуску надо — не хлопочешь,
Идешь к купцу, берешь что хочешь,
Звенишь тяжелою мошной —
Все золотой да золотой!
А у купца есть дочь-девица,
Кровь с молоком и круглолица
И с темнорусою косой...
Позвал — иди! и без запинки —
Повязку прочь, долой косынки,
Чтоб были плечи наголо!
Гляди умильно и светло,
Люби меня во что б ни стало,
С утра и до другого дня
Ласкай меня, целуй меня,—
Она б меня и целовала
Так, что всего бы в жар бросало.
Вот жизнь так жизнь! А это что?
Чепан дырявый да побои...
Добро! поплакал, но зато
Добьюсь же, понатешусь вдвое...

Но как начать? В пятнадцать лет
Ни силы, ни уменья нет.
Эге! — подумал,— клад готовый!
В день улучу часок-другой
И шмыг — то к станции почтовой,
То к церкви. Грязный да босой
Начну с слезами и рыданьем
Копить деньжонку подаяньем.
Кто незнаком — тому как знать?..
Подаст затем, что видит — нищий;
А кто знаком — подаст опять:
Знать, у семьи, мол, нету пищи,
Должно быть пакостный отец
Спился-де с кругу наконец.—
Расчет не дурен, промышляю;
Когда ж, случится, запоздаю —
Отцу и матери солгу;
Сестре и братьям ни гу-гу!

Прах их возьми! В судьбе убогой
Ползи они своей дорогой.
И стал я грошики на двор
Таскать и прятать под забор.
Недели шли, а толку мало,
Казны не много прибывало.
Путь длинен... Как беде помочь?..
Вот и купец просватал дочь...
Что, думаю, ушла невеста,
А с горстью меди ты ни с места?
Нет! видно, надобно, друг мой,
Придумать промысел иной.

У нас в то время, под горою,
Жил Сидор Карпыч — старовер,
С седой и длинной бородою;
Крестился на иной манер.
Бывало, лоб наморщит лысый,
Очки натиснет и сидит,
Листами за полночь шурстит
В старинных книгах, словно крысы.
Чего от этих книг он ждал,
Какую правду в них сыскал?
Бог весть! Ему оно нимало —
С утра до ночи круглый год
Обмеривать честных господ
И брать с них втрое — не мешало.
Где можно взять — не проронит
Копейки даром, истый жид.
Подбился я к нему искусно:
Я, Сидор Карпыч, говорю,
И крест по-вашему творю;
А мне на белом свете грустно,
Попам не верю, а отец
Все бьет и разорил вконец.
Возьмите в лавку! Я вам буду
Служить, как пес, куда ни шло б,
За корм да обувь,— и по гроб
Благодеянья не забуду.—
Ну! и разжалобил. Купец
В сидельцы принял наконец.
Торгую славно на почине
И тоже слушаю порой

Рассказ — как черт кого в пустыне
Смущает бабой иль казной,
А тут же с стороны другой
Спешит напутствовать святой.
Старик, в чаду благоговенья,
Иной раз плакал — и потом,
Крестяся, оземь бился лбом;
Я тоже — с видом умиленья,
А сам смотрю: у старика
Как ключ добыть от сундука?
Но как ни думал — нет, опасно!
Должно быть, будет труд напрасный,
А надо с ловкостью смекнуть —
Из лавки как бы что стянуть.
Вот я и начал понемногу
(Конечно, помоляся богу)
Что день — с продажи кое-как
Утаивать хоть четвертак.
Подметил лысый черт да в зубы:
И ты, мол, лезешь в душегубы!..
Да за ворот, да в часть привел:
«Сечь, сечь тебя! А там пошел —
Сиди хоть двадцать лет в остроге».
А я ему бултых да в ноги:
«Эй, Сидор Карпыч, пощади!
Хоть пожалей лета младые,
Еще исправлюсь, погоди,
Авось помилуют святые!»
Старик молчит, но с виду зол;
А тут исправник подошел
Да так взглянул, что так вот в душу
Насквозь и смотрит, как в стекло,
Иному б просто дух свело;
Но он смекнул, что я не трушу,
И молвил: «Карпыч, не замай!
Ты лучше мне его отдай;
Исправлю, не шути со мною,
А парень выйдет с головою».
Старик махнул себе рукой
Да плюнул — и пошел домой.
Исправник дал мне в поученье
Пинка — и принял в услуженье.

Живу и грамоте учусь,
Не устаю себе, тружусь,
Какая ни была бы скука;
И скоро мне далась наука:
Пишу — хоть тотчас в писаря
Годился б даже у царя.
Исправник начал брать в разъезды;
Известно — дело хоть куда:
У нас огромные уезды,
Так деньгу зашибешь всегда.
Идешь в кабак — берешь все даром,
Исправнику приводишь баб;
По селам наша прыть могла б
Сравниться разве что с пожаром;
Исправник важный человек,
Пил, грабил, ел и сек.
А ты при нем весь день хлопочешь,
Зато и пользуйся чем хочешь.
Я ж был усерден да и лих
И с мужиков и с становых —
Не брезгал — брал рубли и гривны...
Но девки были мне противны:
Такую дай — была б точь-в-точь,
Как та купеческая дочь,
Что замуж отдали в ту пору,
Как я был парень без призору.
Так вот она с ума нейдет...
Терпи, мол, думаю,— ты малый
Оно не то, что безудалый,
Терпи — придет и твой черед.

Ну! так годов прошло немало,
Живу... всего бы доставало,
А скучно что-то. Но сам бог
Распорядился и помог.
Из волости, у нас с уездом
Почти-то смежной, к нам в обед
Купец заехал мимоездом,
Приятель с самых давних лет.
Народ скупой, дорогой бойкой
Сам правит собственною тройкой,
Один как шиш, чтоб как-нибудь
Копейки лишней не смахнуть.

Со стужи ль думал подкрепиться
Или хотел повеселиться,—
Но он подвыпил... ну болтать;
Исправник начал подливать,
Знай подавай за фляжкой фляжку;
Гляжу, купец мой нараспашку —
Расхвастался про то, про се,
Что он как барин, что другого
Нет по губернии такого
И что плевать ему на все;
Что у него пятнадцать лавок
И денег куры не клюют,
Что он на ярмарку вдобавок
С собой теперь везет, вот тут
(Рукой пощелкал по карману)
Запас немалый чистогану
И скупит все, на чем тотчас
Он рубль на рубль возьмет как раз.

Смекнул исправник. Тут-де ближе
Дорога есть,— и мне сказал:
«Ты хорошенько проводи же,
Чтоб он пути не потерял».
А сам мигнул. Я понял четко.
По делу, говорю, схожу,
А там их милость погожу
У рва за городской слободкой.
Жду. Смерклось. Таяло слегка,
И месяц чуть сквозь облака
Виднелся, и несло погодкой,
И как нарочно ночь была
Ни тьма, ни свет,— а только мгла.
Вот и бубенчик звякнул в поле,
Ползет кибитка наконец,
И подъезжает мой купец...
«Постойте ж, захватите, что ли!.. —
И я вскочил на облучок: —
Давайте вожжи, спите с богом;
Известен здесь по всем дорогам
Мне каждый пень или сучок».
Он тут же завалился спьяну
И по ухабам стал, сонно́й,
Бить о рогожу головой,

Как по какому барабану.
Въезжаем в лес. Нет ни души;
Все только ельник длиннорукий
Кой-где сучком тряхнет в глуши
И ссыплет снег... Опять ни звука.
Пустил я шагом. Тот все спит.
Я тише, тише... Тройка стала.
Он и не чует, все храпит,
Не пошевéльнется нимало.
Я слез, и — кажется, не трус —
А все чего-то я боюсь.
Вот, шеей потною махая,
Вдруг зазвенела пристяжная,
И пар кругом пошел как дым...
Я вздрогнул — и середь ухаба,
Стоял с минуту недвижим...
Да что же, думаю, бог с ним —
Он мне не сродник, я не баба,
Взялся — кончай! И вот я в миг
Ему распутал и откинул
У шубы лисий воротник,
Свой нож из-под рубахи вынул,
Да так по горлу им черкнул,
Что он не пикнул, не вздохнул.
Я опростал ему карманы,
Бумажник кожаный нашел,
Еще мешочек полотняный —
Он был и звонок и тяжел.
От сапога и до косынки
Себя потом я осмотрел;
Все ладно, полушубок цел
И ни на чем нет ни кровинки;
Нож вымыл начисто о снег
И до дому пустился в бег.
А тройка?.. Пусть бредет со скуки;
Наткнется на кого-нибудь:
Украдет — с богом, добрый путь!
Не то доставит нам же в руки.
Теперь уйти б мне одному
Подальше с кладом... Да боюся,
Исправник ловок — попадуся...
Нет! лучше все отдам ему.
Домой пришел я до рассвета,

Никто меня и не видал,—
Ну! стало, крыто дело это...
Исправник деньги сосчитал:
Вот, молвил, лучше всяких взяток,—
И дал тысчонок мне с десяток.
Потом он следствие завел,
Ну! ничего и не нашел;
Таскались мы по всем селеньям
И драли тоже не слегка,
В остроге даже мужика
Держали с год под подозреньем,
Но, не дознавшись ничего,
Мы отпустили и его.
Потом исправник взял отставку,
Купил деревню, сам большой;
А я в губернии другой
Открыл себе спокойно лавку,
И никогда меня никто
Не заподозрел ни за что.

И шло бы дело по порядку,
Я торговал и с барышом,—
Как вдруг одним беспутным днем
Встречаю бабу я — солдатку.
Судьба! Она была точь-в-точь,
Как та купеческая дочь.
Я обомлел. Знакомлюсь с нею
И в лавку привожу с собой,
Кажу товар: бери любой,
Все рад отдать, не пожалею.
Поладить не велик был труд,
И не прошло и двух минут —
Она мне бросилась на шею.
Ну! пир пошел во все концы...
Добро, коль раз середь недели
Заглянешь в лавку; молодцы
Там торговали как хотели;
У нас все песни да вино...
А пожил — хорошо оно!
Пируешь за полночь с обеда
И спи, пожалуй, до полдня;
Там гости, смехи да беседа...
Она, бывало, у меня

Подвыпьет, разгорятся щеки,
Затеет пляску, руки в боки,
Распустит косы из-под лент.
На сарафане позумент
Горит как искры издалече,
Рубашка белая дрожит,
Так все и ходит — грудь и плечи,
И только пол под ней трещит.
Когда же гости разойдутся...
Да что об этом толковать!..
Вот как припомнишь все опять —
Так вот все жилки и забьются,
На волю хочется рвануться.
А как же княжески тогда
Я разодел ее, злодейку,
Припас ей к зиме душегрейку —
Все шелк да соболь — хоть куда!
Да как пустились на буланой
На тройке с сбруей серебряной,
Пошли по городу катать
Да звонко песни распевать —
Так индо барин раз, усатый,
Остановился, шапку снял,
Да так-то ею замахал,
Кричит: знай наших! ай да хваты! —

Да! хорошо, а пожил я...
Как прах по ветру, все пропало,
В год не хватило капитала,
И лавка рухнулась моя.
А как она лишь увидала,
Что у меня нет ничего,
Она тотчас и убежала,
И я остался без всего:
Без денег, без вина, без бабы...
Глядел сердито, сам не свой,
Подумал думу день-другой;
А силы, чувствую, не слабы,
Взял нож, да в лес, да и давай —
Будь кто пешком иль в экипаже,
А от меня не ускользай
И поплатись-ка всей поклажей.
В Сибирь и угодил теперь,

Иду в цепях, как лютый зверь;
Но расшибу еще я цепи,
Урвусь — в леса ли, или в степи,
А вам меня не удержать...
И бабу отыщу опять
И заживу во что б ни стало
Опять не хуже генерала.
Ну! вот и все — поверь на честь;
Теперь и надобно поднесть».

3

Покончил рыжий. Два-три раза
Он оживал в пылу рассказа,
Сжимал кулак и станом рос,
Широко раздувался нос,
Глазенки дерзкие сверкали,
Бледнели губы и дрожали;
А тут — гляжу я на него —
Опять молчит лицо рябое,
Не разгадаешь ничего;
Что в нем сидит? что он такое?
Лукав и скрытен или так —
Не то умен, не то простак?
«Поднесть,— я говорю,— признаться,
Я поднесу, хоть и не рад;
А сдам тебя охотно, брат,
И дай бог больше не встречаться.

Ну! ты, мозгляк, не бось, вперед!
Рассказывай, знай свой черед».
Мозгляк поникнул головою
И начал тихо, будто он
Какой-то длинный, страшный сон
Припоминает сам с собою:

4

«В господской дворне я рожден.
Середь села наш флигель старый
Доселе — низенький, поджарый —
Стоит, подперт со всех сторон.

Отца не помню. Помню смутно,
Как умер он, как бесприютна
Осталась вся наша семья.
А там и мать пошла к покою,
И я остался сиротою.
Вот барыня велела взять
В хоромы — с ба́рченком играть.
В ту пору мне лет восемь было,
Меня одели казачком,
И мне, мальчишке, сильно льстило,
Что поступил в господский дом.
А барыня была богата;
Зачем в деревне все жила —
Как знать! Скупа ль она была,
Пугала ль городская трата,
Иль наших мест, глухих сторон
Затем покинуть не хотела,
Что муж ее тут схоронен,—
Не знаю хорошенько дела.
А думаю — пришлося ей
Так понутру́: живет, хлопочет,
Заводит тысячу затей
И делает себе что хочет;
Чего же больше? Лучше встарь,
Пожалуй, не жил самый царь.
А ба́рченка она любила...
Уж сколько было с ним тревог!
Бывало, дня не проходило —
Все няньки пособьются с ног.
То не тепло его одели,
То напоили холодно,
То дать варенья пожалели,
То окормить его хотели,
Все сговорятся заодно,—
И то не так, и то некстати,
И крик, и брань, и беготня,
То есть покою нет ни дня.
А вскочит прыщик у дитяти —
Беда! За доктором скорей!
Шлют в город барских лошадей,
Да через час, боясь погоды,
Чтоб доктор запоздать не мог,
Плутая в ночь середь дорог,

Как барыня ворчит и плачет,
По стульям беззаботно скачет,
Да и смеется надо всем.

Почти мы были однолетки,
И хоть я чувствовал порой,
Что все ж он властен надо мной,
Но ссоры между нами редки
Бывали в детские года́;
Всё заодно мы с ним шалили
И, признаюся я, тогда
Друг друга даже мы любили.
Прошло без малого лет пять,
Решила барыня, что нужно
Сынка наукам обучать,
А что самой ей недосужно
И мало учена притом...
И вот француза взяли в дом.
Француз был просто плут, пройдоха;
Учился барин больно плохо,
А он твердит полушутя:
«Ваш сын чудесное дитя!»
А сам все вьется вкруг застолен
За девками — взамен наук...
И так был барин своеволен,
Тут вовсе выбился из рук;
Такой стал мальчик прихотливый,
Не зол, а как-то свысока,
И мне подчас нетерпеливо
Не в шутку скажет дурака.
Ну!.. наше дело подневольно,
А все же... вместе мы росли —
И становилось индо больно.
А годы исподволь все шли,
Шестнадцать лет подкрались тихо,
Велик стал барин, смотрит лихо;
Хочу-де в полк, пора служить...
Старуха барыня тужить:
У нас-де он такой смиренный,
А там убьют-де непременно...
Но ни слезами, ни мольбой
Растроган не был барин мой.
За что терять младые леты?

Шлют две мужицкие подводы.
А ба́рченок со мной, меж тем
Давай коня да эполеты!
Мундиром бредит наяву.
Смирилась мать. «Хоть годы стары —
Для сына, говорит, живу».
Француз отправился в Москву,
А мы отправились в гусары.

Служил мой барин года два,
Но службой занят был едва.
Кутил все время; денег много —
Ну, жил, как всякий, например,
Живет богатый офицер.
Солдат своих держал не строго,
То их поит и вместе пьет,
То раскричится и побьет,
Так — сдуру, только для угрозы,
Чтоб знали: властен-де и я!
Случалось — треснет и меня,
А там обнимет, да и в слезы:
«Алеша! я и сам не рад,
Прости меня, я виноват».
Как ни досадно, как ни стыдно,
Смолчишь, простишь — хоть и обидно.

Но вот случись — старуха мать
В успенье ездила к обедне;
Вернулась — ни души в передней.
Ну! и пошла она кричать.
Дворецкий прибежал в испуге...
«А! ты мирволить стал прислуге!..»
Да так взвела себя во гнев,
Что, покраснев и посинев,
Упала на пол, растянулась
Да вечным сном и задохнулась.
Приказчик тотчас пишет к нам:
«Знать богу так угодно стало —
Скончалась маменька. Но вам
Приехать к нам бы не мешало;
Я рад служить вам до конца,
Но жить нельзя нам без отца».

А барин мне кричит: «Алеша!
Пиши на почту поскорей:
Спустил все в карты, нет ни гроша,
Пусть денег вышлет мне злодей!..»
Пождали денег три недели,
Там и поехали домой.
Ну! по приезде барин мой
Сперва о маменьке жалели,
Потом соскучились они,
Нашли, что долго идут дни,
И в полк вернуться захотели.
Да нрав-то шаток был у них...
Сосед подбился к нам в ту пору
И продал барину — борзых
Собаки три да гончих свору.
Пошла охота целый день;
С утра мой барин в поле чистом
Верхом чрез кочку, ров и пень
Летят с атуканьем и свистом.
А там известно — вечерком
Пошел кутеж, и к нам, бывало,
Гостей сбиралось полон дом,
Все ело, пило, ночевало.
А там, гляжу я, барин мой
Совсем в деревне обжилися
И волокитством занялися —
Потешить возраст молодой...
Я до собак был не пристрастен,
Ни до гостей, ни до проказ —
Но что же делать? Я подвластен
И воле барской не указ;
Велят посводничать — работай
Равно неволей иль охотой.
Сперва — обычно у господ —
Дворовых девок шел черед;
А там — как все понадоело —
Пошло смелей: мужик-де раб,
Все стерпит молча; ну! так дело
Дошло и до крестьянских баб.
А я-то барину в подмогу —
По глупости (а то с чего б?) —
Народу в скорбь, в противность богу
Служил с усердьем, как холоп!..

Но вот и отпуск был просрочен,
И мысль на барина нашла,
Что в полк им хочется не очень,
Да не пускают и дела;
Хозяйства не швырнешь под лавку,
И что за служба, что за спесь?..
И лучше уж остаться здесь...
Ну, мы и подали в отставку,
И можно было угадать,
Что нам в деревне вековать.

Одна из девушек успела
От барской прихоти уйти;
Из дворни, изо всей почти,
Она одна и уцелела.
По случаю: ее отец —
Дворецкий барыни покойной —
Просил, как милость наконец,
Оставить девку жить пристойно
И тронул барина слегка,
И пощадил он старика.
И то спасибо — без печали
Хоть дни девичьи миновали!..
И девка — впрямь — умна, мила,
Не хуже барышни была;
Домашний быт вела исправно,
Одета скромно, ходит плавно
И песни — то есть как поет,
До слез всю душу надорвет.
В нее я подлинно влюбился,
Да вижу — и она не прочь,
Согласны и отец и дочь;
Пошел я к барину, спросился,
И барин, к радости моей,
Тотчас мне свадьбу разрешили,
И подарили сто рублей,
И образом благословили.
И был я счастлив, счастлив... да!
Как не бывает никогда
Наш брат... Хоть мы и не злодеи,
А все же низкие лакеи —
Не надо б чувствовать совсем,
Знать, рождены мы не затем!..

Зима прошла быстрей минуты,
И снег сошел, пришла весна,
Но и сыра и холодна.
Вдруг занемог отец Анюты,
Все боль стояла в голове,
Помаялся недельки две —
И умер. Плакали мы много,
Старик хороший был у нас,
И сердцем добр, и жизни строгой,
И за обедней каждый раз,
И по постам, и в воскресенье,
Протяжно — всем на удивленье —
Апостола, надев очки,
Читал получше, чем дьячки.
И так по нем нам горько стало,
Так нам его недоставало,
Как будто что-то с ним ушло,
Как будто счастье все прошло.
И впрямь прошло! Случился к лету
В судьбе на худо поворот:
Меня стал барин гнать со свету,
Бранится, только что не бьет;
Пошло все на иную ногу,—
Что день, сердитей барин мой...
Вот замечаю понемногу —
Смеются люди надо мной,
За что, про что — и сам не знаю,
И ничего не понимаю.
И вижу я — моя жена
Со мною странно холодна;
Приходишь днем — она уходит
И даже речи не заводит,
Приходишь ночью — все молчит
Или прикинется, что спит.
Частенько плачет втихомолку,
Худеет так, что страх взглянуть;
А спросишь — не добьешься толку:
Я-де не плакала ничуть...

Мне становилось не в терпенье,
Дай — разом порешу сомненье
И говорю, пришед домой:
«Анюта! что ты — бог с тобой —

За что меня ты будто гонишь
И от себя меня сторонишь?
Повинен в чем — я не солгу,
А этак жить я не могу».
Она мне бросилась на шею:
«Алеша! и сказать не смею!
Ты знаешь, как тебя люблю —
Оставь, оставь меня, мой милый!
Боюсь, тебя я погублю...
Меня взял барин, взял он силой
(В ту ночь ты — помнишь — уезжал,
Тебя он в город посылал...)
Да говорит: «Смотри, Анютка,
Не смей ты быть женой его;
Но чтоб не знал он ничего,
А сведает — да хоть бы шуткой
С сердцов перечить мне начнет,
Ну! это знай ты наперед,
И плачь не плачь, а жди тогда ты —
Как раз отдам его в солдаты,
Иль в дом рабочий упеку,
Иль вовсе насмерть засеку».
Алеша! я его, злодея,
Смерть ненавижу — ты поверь,
И мне противен он, как зверь;
Но каплю жалости имея
К моей судьбе, молю тебя —
Не погуби ты сам себя!»

Стою я — точно как испугом
К земле прикован. Боже мой!
Так голова и ходит кругом...
Смотрю: Анюта предо мной
Бледна, как мертвая какая,
И плачет, изредка рыдая.
Я крепко вдруг ее прижал
К моей груди — и побежал...
И чувствую, что весь сгораю..
Тоска, и злоба, и печаль
Так вот меня и гонят вдаль.
Иду — куда, и сам не знаю.
Прошел село. Вот в стороне
Кладбище в поздней тишине.

Иду — как Каин окаянный...
Вот знаю место — крест стоит
Полусогнивший, деревянный,
Тут мой отец в гробу зарыт,
А возле мать. Я поклонился,
Задумался, перекрестился,
На землю у креста припал
И горько, горько зарыдал.
Отец родной и мать родная!
Простите мне — с ума схожу!
Я ль виноват, иль доля злая —
Но я его не пощажу:
Убью его, не пожалея,
Как вошь, как гадину, как змея.
Молитесь за душу мою!
Мое невольно преступленье —
Молитесь за душу мою!
Авось господь пошлет прощенье.
Не помню, долго ли лежал
Я над могилами родными,
Но помню, что, когда я встал,
В последний раз простился с ними
И огляделся,— ночь была
И молчалива и светла,
И стало на сердце потише,
Как будто, сжалясь, кто-то мне
Благословенье подал свыше,
И я забылся как во сне...
Но вдруг опять, как зверь, очнулся,—
Нет! говорю, уж так и быть,
Судьбы никак не изменить —
И быстрым шагом вспять пустился.

Вхожу на кухню. Вдоль стола
Наш повар спит точь-в-точь убитый,
Полштоф тут возле недопитый.
Я допил. С печки из угла
Достал, пошарив, нож забытый
И робко поглядел кругом —
И побежал в господский дом.
Всё спит. Иду по тусклой зале,
Две половицы затрещали;
Дрожит в гостиной свет, и тень,

И месяц ясен, словно день.
Иду как вор. Вот спальня. Ноги
В коленях гнутся от тревоги
И сердце бьется и стучит,
Едва дышу, в ушах шумит...
Я отпер дверь: лежит, сердечный,
И разметался, спит беспечно.
Свеча горит. Из сонных рук
Упал черешневый чубук...
Кажись, что ус пошевельнулся.
Боюсь я, как бы не проснулся —
И вдруг, с разбегу, что есть сил
Я в брюхо нож ему всадил.
Он страшно вскрикнул — дикий голос,—
Привстал весь бледный, дыбом волос,
И что-то он хотел сказать,
Но покатился на кровать,
Вздохнул и умер. В доме целом
Все спало тем же крепким сном,
А я, как вкопанный, с ножом
Один стоял над мертвым телом.
Еще красна, еще тепла
Кровь на ноже моем была,
Гляжу — все смутно в мыслях бродит,
Всего так знобом и поводит;
Я нож мой на пол отшвырнул
И вышел из дому. Светало,
Навстречу воздух мне пахнул,
И в голове яснее стало...
Куда идти?.. Э! все равно,
Так, видно, богом решено.
Пошел к приказчику всех мимо:
«Вставай!» — «Что, что?» — «Да ничего,
Сейчас зарезал я его».—
«Кого?» — «Да барина, вестимо».—
«Алеша! что ты! что с тобой?
В уме ли ты? Беги скорее!» —
«Не убегу я, братец мой,
Останусь мертвого смирнее.
Теперь и дело не о том,
Теперь мне все уж нипочем;
На прочих не было б гоненья,—
За становым без замедленья

Сейчас же ехать прикажи.
А обо мне ты не тужи!
Я кончил. Жизнь мне не отрада,
Пусть будет то, чему быть надо».

Сижу. Совсем уж рассвело.
Все так красиво и светло...
А в доме поднялись тревоги,
Как? что?.. и все ко мне спешат
И как на чучелу глядят.
Жена пришла. Упала в ноги:
«Алеша! — говорит,— любя,
Совсем сгубила я тебя!»
Ее я обнял. Сердце ныло.
Заплакал я. «Что б там ни было,
А ты иди себе домой,
Прости меня, господь с тобой!»

Приехал становой. Сурово
Распорядился всем, как мог;
Потом свезли меня в острог...
А остальное вам не ново.—
Подчас и барина мне жаль,
Как вспомнишь, как детьми мы были,
Резвились вместе и шалили...
А пуще все томит печаль:
Жена ко мне придет ли в ссылку?
Иль я один сойду в могилку?..
А впрочем — пусть другой возьмет,
Авось ей счастье бог пошлет!»

5

Мозгляк замолк. Я вижу — слезы;
Конечно, тут не до угрозы!
Что мне еще его терзать?
И приказал я расковать.
Авось ли сам за состраданье
Не попадусь под наказанье!
И средство есть: придешь — отдай
С харчей полковнику свой пай,—
И помиримся с ним на этом.

Полковник, точно, деньги взял,
Подернул левым эполетом
И дружелюбно мне сказал:
«Ты молод, на уме все шалость,
А поживешь — забудешь жалость».
И был попрежнему хорош...
Мне, вправду, дорог каждый грош,
Но тут дела такого сорту,
Что все бы отдал — ну их к черту!
Да бедность, бедность — вот беда...
Ну — так кутнемте, господа!

С ТОГО БЕРЕГА

Молчат. Топор блеснул с размаха,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.

Пушкин («Полтава»)

На утесе на твердом сижу я и слушаю:
Море темное плещет, колышется;
И хорош его шум и безрадостен,
Не наводит на помыслы светлые.
Погляжу я на берег на западный —
И тоска берет, отвращение;
Погляжу я на дальний на восток —
Сердце бьется со страхом и трепетом.
Голова так и клонится на руки,
И я слушаю, слушаю волны — да думаю,
А что думаю — говорится вслух,
Не то оно песня, не то сказание.

Погляжу я на берег на западный,—
Вот что было там, что случилося.
Мерзлым утром рано-ранехонько
Выступали полки, шли по улице;
Громко конница шла, стуча копытами,
Мерно пехота шла, раз в раз, не сбиваяся;
Гул тяжелый несся от поступи.
Барабаны трещали без умолку,
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел — птица кровожадная!
И пришли полки, стали на площадь,
Середь улицы плаха воздвигнута.

За полками народу тьма-тьмущая;
Все на плаху глядят и безмолвствуют,
Тишина была страшная, гробовая.
Вот на площадь ввели двух колодников,
Что задумали подорвать кесаря;
Не хотели они орла кровожадного
Али ястреба, падалью сытого.
Вот ввели их, двух колодников,
А ввели их со солдатами,
А солдаты со саблями с обнаженными,—
Для двух скованных сила грозная!
И пришли они, два колодника,
По морозцу пришли босоногие;
Два попа им лгали милость божию.
И пришли они, два колодника,
А затылки у них острижены,
Топору чтоб помехи не было.
И надели на них, на колодников,
Покрывало черное на каждого:
За отцеубийство казнить их велено.
Да отец-то где ж, вы скажите мне?
Разве тот отец, кто казнить велит,
Кто казнить велит, а не миловать?
Ах, лжецы вы, лжецы окаянные!
Погляжу на вас да послушаю,—
Так с отчаянья индо смех берет.

И пошли на плаху колодники,
Шли спокойно они и безропотно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись!»
И попадали обе головы.
И палач склал обе головы в мешок,
А безглавые тела повалил на телегу,
Повезли спозаранку к ночлегу.

И безмолвный народ по домам пошел,
Кто понурясь пошел с горькой горестью,
А иной был рад, что бог милость дал
Увидать на веку дело редкое.

Постояли полки,— делать нечего,
И пошли опять стройной выстройкой,
Только гул стонал от их поступи.
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел — птица кровожадная!

Кровожадная она и не новая:
В стары годы ее на знамени
Гордо-лютые носили римляне.
И у них был Брут, убил кесаря,
И была ему слава великая.
Да не впрок пошло убиение,—
Сам народ был раб, по душе был раб,
И пошли все кесари да кесари;
Много крови лилось человеческой...
Сказка старая, невеселая!

Погляжу я на дальний на восток:
Там мое племя живет, племя доброе.
Кесарь хочет ему сам свободу дать,
Хочет сам да побаивается.
Если кесарь сам нам свободу даст,
Он не кесарь — новый дух святой!
Ну! да как же кесарю нам свободу дать?
У него все ж орел на знамени:
Дух святой являлся в виде голубя,—
А орел — птица кровожадная!
Верить хочется и не верится,
С думы сердце в груди надрывается.

И все жаль мне их — этих двух людей,
Что сложили свои головы
Так спокойно и так доблестно,
Перед смертью только воскликнули:
«Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись!»

Моя песня — не просто сказание.
Моя песня — надгробное рыдание
По людям, убиенным за родину,

За любовь к воле человеческой,
По мученикам, по праведным,
Святой вольности угодникам.
Моя песня — не просто сказание,
Моя песня — надгробное рыдание:
Из груди она с болью вырвалась,
От глубокой тоски сказалася...
Ты лети ж, моя песня скорбная,
Через море, море шумное,
Долетай до людских ушей,
Пусть их слушают хотя-нехотя.
Кто в душе грешон — тот пусть бесится,
До него мне и дела нет;
А прямая душа — пусть прочувствует,
Горькой думою призадумается.
А не тронешь из них ни единого,—
Лучше ж, песня ты моя скорбная,
Потони ты в плеске волн морских,
Без следа развейся по ветру.

* * *

За столом сидел седой дедушка,
Да сидела седая бабушка,
Да молодка, млада красавица,
Да прохожий мужик, неизвестно кто,
Коренаст и бородка жидкая.
А Иван пришел со двора барского.
«Что, Иван ты наш, пригорюнился?
Аль на барском дворе-то высекли?» —
«Нет,— Иван говорит,— не высекли;
А вы лучше меня послушайте,
Прихожу вот я на господский двор,
Подхожу к дверям ко стеклянным,
Двери расперты, вижу, в комнате
Сидит барин сам, сидит барыня,
Дети малые у окошечка
Всё глядят молодыми глазками,
Так глядят, ничего не делают.
Вижу, барыня сидит гневная,
Говорит она, слышу, барину:
«Сударь, муж ты мой, Лука Федорыч,
Ну, скажи теперь ты на милость мне,
Что наделал ты да напакостил?
Как нам быть да жить, что нам есть да пить?
Все именьишко, что осталося,
Что осталося да последнее
От богатых сел, от больших домов,
Крепостных людей наших собственных,
И оно уйдет, с молотка пойдет,
По одной твоей, сударь, милости.

Сударь! бога ты побоялся бы!
На детей взгляни, всё подросточки,
Воспитать, сударь, нужно-надобно,
По-французскому, по-немецкому
И по всякому надо выучить.
И сама-то я — что я барыня,
Разъезжала я с малолетных лет
Четверней, сударь, со форейтором,
Со двумя, сударь, со лакеями,
Галуны на них гербом шитые,
А колясочка так и катится,
Как качается, и не чувствуешь;
А теперь, сударь Лука Федорыч,
Что, пешком мне, что ль, идти по грязи?
На пирах в гостях являлася —
Не графиней, а царицею!
Настоящею императрицею!
Наряжалася в перья-жемчуги,
Одевалася в блонды-бархаты;
А теперь, сударь Лука Федорыч,
Не прикажешь ли нарядиться мне
В юбку толстую, затрапезную,
Вот как носят здесь босоногие
Наши девушки судомоечки?
А скажи-ка, кто протранжирил все?
Это ты, сударь Лука Федорыч,
Со друзьями все, с забубенными,
Да за картами за игрецкими,
Да с блудницами низкородными,
А жену свою ты законную
Из дворянского роду-племени —
Ни во грош не счел, ни в копеечку.
Ох! куда пойду, горемычная?
Ох! заел, сударь Лука Федорыч,
Ох! заел ты всю мою молодость,
Поседеть велел прежде старости,
Народил со мной деток малыих,
Да пускаешь нас, сударь, по миру».
Взвыла барыня воем с привзвизгом,
Понахмурился Лука Федорыч,
Стал свой ус щипать черный с проседью
И тихонько так ей вымолвил:
«Ядовитые речи женские!

Пожалела б ты, Марья Дмитревна,
Хоть бы детушек-недоросточков.
Пощадила бы их младенчество,
Да при них меня не корила бы,
Не скребла бы ты языком своим,
Как ножом каким меня по сердцу,
Грязью в рожу мне не кидала бы.
Да скажи-ка ты, как по-твоему —
Самому небось жить мне весело?
Доконать меня, что ль, ты вздумала,
Баба-барыня ядовитая?
Как подумаешь да подумаешь...»
Тут как взбесится Лука Федорыч,
Да как со стула вскочит на ноги,
Кулаком своим треснет по столу,
Инда окны все зашаталися,
Дети малые испужалися.
Возопил он тут, Лука Федорыч,
Громким голосом да и жалобным:
«А что скажет, мол, моя тетушка,
Пересмешница Анна Павловна?
А что скажет, мол, генерал крутой,
Андрей Павлович, родной дядюшка!
Да сестрица моя бесталанная
С моим зятюшком завидущиим?
Все начнут кричать одним голосом —
Поделом ему, поделом ему,
И женился он, не спросясь родных,
Все дела свои вел по-своему,
Вишь, умнее был своих сродников;
Ну! так вот ему и разор пришел,
Дураку судьба и дурацкая! —
Да не то чтобы одни сродники
(Чтобы черт их всех на хвосте испек),—
Все, сударыня Марья Дмитревна,
Все знакомые, незнакомые,
Все ругать начнут, не жалеючи,
Сколько сраму-то и невидимо!
Уж чего сказать — вон подлец Михей
Сапогов моих уж не вычистил,
Тож, чай, думает: мы-де вольные,
А у барина спесь дворянская,
А башка-то, знать, все ж дурацкая.

Ведь, сударыня Марья Дмитревна,
Всякий в рожу мне наплюет теперь;
А виной тому, Марья Дмитревна,
Твое чванство да твои важности,
Разъезжала ты четверней лихой,
Наряжалася в перья-жемчуги,
Одевалася в блонды-бархаты,
Все хотела быть везде первая,
Модным баринкам в утешение,
Модным барыням в позавидливость.
Разорила ты, Марья Дмитревна,
Вовсе в лоск меня положила ты,
А теперь меня при детях корить,
При малюточках при невинныих?
Нет, возьми укор себе на душу,
На своих плечах его вынеси,
Подавись ты им, Марья Дмитревна!»
Побледнела со злости барыня,
Все лицо у ней вкось задвигалось,
Инда дух у ней в горле приперло,
Долго слова не могла вымолвить,
А уж там зато пошла косить:
«Так вы так-то, мол, Лука Федорыч,
Меня в грязь топтать вы задумали,
Как с кухаркой обращаетесь!
Не позволю, сударь, вам этого,
Я пойду, сударь, от вас к батюшке,
Просьбу в суд, сударь, он на вас подаст,
Вас с безумными запереть велят!
Ну! пойдемте, говорит, детушки,
Ваш отец, он совсем с ума сошел,
Непристойно вам на него глядеть,
Оставаться с ним в одной комнате».
И взяла она деток малыих,
И взяла она их за рученьки,
Повела она их, испуганных,
Гордой поступью вон из комнаты,
Оглянулася, усмехнулася,
И дверьми за собою захлопнула.
Призадумался Лука Федорыч
Да головушку склонил на руки,
Закачал ею во все стороны.
Я и сам — таить греха нечего —

Поглядел, братцы, опечалился.
Чай, теперь до меня им дела нет,
Приходить велят в ино времечко.
Почесал себя я в затылке-то
Да надел шляпу и пошел домой,
Только вымолвил: прости, господи!»

Призадумался старый дедушка:
«Уж на что, говорит, он лих у нас,
А все жаль как-то его, барина».
Призадумалась тож и бабушка:
«Уж на что, говорит, лиха она,
А все жаль как-то ее, барыньку».
А молодка, молода красавица,
Слезы девичьи рукой вытерла:
«Жаль мне, жаль, говорит, их детушек,
Что глядят молодыми глазками».
А прохожий мужик-от взял рукой
Да погладил бородку жидкую:
«Ах! ты, дедушка, ты неопытный,
Ах! ты, бабушка, ты сердечная,
И с чего, говорит, вы бьетеся?
Хорошо было нам тогда тужить,
Когда купит кто хуже прежнего,
А теперь-то что? Да кто хошь купи —
Только знай: наше дело вольное.
А тебе, молода красавица,
О господскиих о детенышах
Плакать нечего, ни кручиниться.
Что ж, что слабые, бесприютные? —
Нужда-матушка силу вырастит!»

МАРИЯ МАГДАЛИНА

В дни печали, дни гонений —
За святыню убеждений,
Новой веры правоту —
Умирал спаситель света,
Плотник, житель Назарета,
Пригвожденный ко кресту.
И сказал он: «Совершилось!»
И чело его склонилось —
И остался мертвый лик,
Как при жизни, тих и ясен,
Так же благостью прекрасен,
Так же помыслом велик.

Солнце мирно, пред закатом
Над зелено-мягким скатом
И гранитами хребта —
Шло в пути златоподобном
И, блестя на месте лобном,
Озаряло три креста,
Двух воров, с Христом распятых,
Палача в железных латах,
Грозном шлеме и с копьем,
И людей, на казнь взиравших,
И трех женщин, близ стоявших
В безутешии своем.

Две старухи: мать рыдала,
И сестра ее шептала —
Что вот распят наш Христос...
Третья с ними, молодая,

Стала, взор на крест вперяя,
Неподвижна и без слез,
С опущёнными руками,
С распущёнными власами,
Бледным ужасом лица,
Вся — безмолвное рыданье
Иль немое изваянье
Скорби, скорби без конца.

К ночи площадь опустела,
И два друга сняли тело;
Мать с сестрой была при них
И прощалась с трупом сына;
И Мария Магдалина
Для лобзанья уст святых
Наклонилась и припала,
Сердце мягче биться стало,
И заплакала она.
И лились и орошали
Слезы тихие печали
Мертвый лик и рамена.

Труп покрыли пеленою;
Двое медленной стопою
На носилках понесли
Без напевов погребальных,—
И три женщины печальных
За покойником пошли.
Шла она и вспоминала,
Что подобных не бывало
В этом мире никогда...
Вспоминала все былое,
Быстро ей пережитое
В эти краткие года.

Как по торжищам Магдалы,
Выставляя в дни бывалы
Свежесть персей молодых,
Знала в вихре шуток сальных
Только юношей нахальных
Да бесстыдников седых;
И вот встретила случайно
Взгляд, смиривший силой тайной

Бред желаний, пыл в крови,
И ей слышать было ново
Человеческое слово
Всепрощенья и любви;

Как ему омыла ноги,
Запыленные с дороги,
Умягчила жесткий зной
Маслом мирры благовонной,
Осушила распущённой
Светлорусою косой...
Как у ног его садилась,
И внимала, и молилась,
Не сводя с него зениц,
Очищалась покаяньем,
Вырастала пониманьем
И любила без границ...

Близ олив, в саду тенистом,
Под утесом каменистым,
С фонарем во тьме ночной,
Тело в гроб они сложили,
К гробу камень привалили
И, скорбя, пошли домой.
Но чуть ранняя прохлада
Пронеслась по листьям сада
Перед брезжущей зарей,
А Мария шла из дому —
Хоть бы к камню гробовому
Преклониться головой.

Видит — гроб отверстый снова,
Голос, точно у живого,
Звал по имени ее...
Оглянулась... Сон блаженный!
Это сам он, вожделенный,
Навестил дитя свое.
И она его узнала,
Перед ним она стояла
В обожании немом;
И он рек, благословляя:
«Им скажи, душа родная,
О видении твоем!»

Светлый образ, дух привета,
Потонул в лучах рассвета.
И она на сход друзей
В путь пошла, благоговея
И едва поверить смея,
Что он ей явился — ей,
Шедшей грешною дорогой...
Но любить умевшей много,
Но чья мысль была чиста,
Почва сердца благодатна,
Чьей простой душе понятна
Правды ширь и простота.

ЗАБЫТЬЕ

Я сплю иль нет?.. Что̀ это — ночь иль день?
Пора ли встать? Иль медленная лень
Даст мне понежиться и члены порасправить
И полусонный мозг на волю грез оставить?..
День без утра иль утро без зари...
Опять туман! Куда ни посмотри —
Сырое реянье в протяжном колебаньи...
Все зыбь — как на море. Я, точно наяву,
Куда-то вдаль на корабле плыву —
С волны и на волну в размеренном качаньи.
Исчезли берега, в тумане небеса,
И только плеск кругом, все только плеск бессвязный,
Безостановочный, глухой, однообразный,
Да ветер свищет в паруса.

Куда плыву? С чего сердечный трепет?
Не близки ли знакомые края?
И ты не лжешь — надежды тайный лепет?
Чу — в воздухе морозная струя!
Туман упал под ледяным дыханьем,
И ярко блещет день ликующим сияньем.
Передо мной лежит и искрится вдали
Равнина белая в серебряной пыли;
По ней, где кучками, а где поодиночке,
Чернеются рассеянные точки —
Дома, деревни, города,
И люди жмутся как стада.

Прощай, пловучий дом с свободным красным
флагом!..
На лед прибережный ступил я скользким шагом
И, пробираяся утоптанной тропой,
Я миновал сугроб, метелью нанесенный,
И выхожу на путь, санями улощенный...
Печален плоский край с замерзшею рекой!
Безвестным странником вхожу я в город людный,
Прямые улицы, высокие дома...
Знакомый мне дворец, знакомая тюрьма,
И медный богатырь в посадке многотрудной,
Сто лет уже взмощенный на гранит,
На медной лошади безмолвие хранит.
А люди около мелькают постоянно:
Курьеры вскачь спешат, как на пожар,
Летит жандарм — архангел царских кар;
Чернильный мученик — чиновник бесталанный,
Пешком усердствует со связкою бумаг;
Идут ряды солдат — сто ног в единый шаг,
И всюду суета да грохот барабанный...
Лишь редкий гость — брадатый раб, мужик —
Сторонится и головой поник,
Глядя в унынии на город чужестранный.
Бывало, тоже гость, невольный иль незваный,
Тоскуя, проклинал я бледный небосклон,
Мундиры и гранит, весь новый Вавилон,
И мерил с ужасом его тупую силу...
Теперь я знаю, он — торопится в могилу.

Толпа стоит без шляп,— и в санках
проскакал,
В шинели до ушей, какой-то генерал —
Вид озабоченный, военная посадка,
И зыбкость помысла, и робкая оглядка...
Знакомым призраком он показался мне,
Его, мне помнится, я видел — но во сне.
То было в ночь, темно сошедшую в молчаньи,
Над целою страной, томившейся в страданьи,
То было в ночь вослед за незабвенным днем,
Когда все в трауре, с торжественным пеньём,
Огромного венчанного злодея
Похоронили, не жалея:
В ту ночь, во сне, передо мной стоял

В порфире и венце вот этот генерал...
Ступай себе пока!.. А мне своя дорога.

И я на тройке быстроногой
Скачу по скатам и холмам,
Да по бревенчатым мостам,
То полем безрубежно белым,
То бором мрачно поседелым.
По глади снежной тройка мчит,
Через ухаб, нырнув, летит,
Метет и жмется по сугробью,
И колокольчик мелкой дробью
И замирает и звенит.

И гаснет день, и звезды ночи —
Небес бесчисленные очи —
Сквозь тьму глядят на белый путь...
Но мне не время отдохнуть.
Пусть дни и ночи, свет со тьмою,
Бегут, чредуясь меж собою,—
Не успокоюсь до конца,
С упорством вечного гонца;
Пренебрегу, покуда можно,
Пока не слег в тиши гробов,
Дороги усталью тревожной,
Седою усталью годов.

И и́дут дни, и следом и́дут ночи,
Уж холод сдал, и слышу я весну;
Посыпал дождь в замену мокрых клочий,
И рыхлый снег утратил белизну.
Полозья в земь ударились с упором...
Седлай коня! И дальше в путь!
И в топь и вплавь, по кочкам и зажорам —
Я проберуся как-нибудь!

Чернеет почва из-под снегу,
Ручьи сбегают вглубь долин,
И речка мутная с разбегу
Уносит вдаль обломки льдин.
Уже поля рядиться стали
В зеленый полог озимей,
Листом по роще зашептали

Побеги свежие ветвей;
Уж первый гром затих с раскатом,
Облекся вечер мирным златом;
При лунном трепете лучей
Защелкал первый соловей.

О! как баюкает томленьем сладострастья
Весенней неги мягкий звук!
Но мне не до него! я вырос вон из счастья,
Мне нужен толк да сила рук.
Мой путь с утра идет дремучим бором...
А вот и ночь и скат береговой,
Река — что море — не окинешь взором,
И месяц всплыл над синей мглой.
Внизу у отмели пологой
Стоит бурлак с ладьей убогой.
Бурлак, вези! Пора пришла!
Ладья скользит, и волны мчатся,
И брызги искрами дробятся
Под взмахом мощного весла.
Плыву, молчу от ожиданья,
От нетерпенья и желанья,
А тут и волны, и луна,
И плеск, и блеск, и тишина...

Свежеет воздух, ночь бледнеет,
И сумрак трепетный редеет.
Заря! заря! Я различить могу
Кусты на дальнем берегу.
И вижу я: стоит толпа народа,
Кричит: «Скорей! сюда! сюда! свобода!»
И голос, точно дальний зов,
Поет... и песня так знакома!
И подхватили с силой грома
Ее сто тысяч голосов:

«Из-за матушки за Волги,
Со широкого раздолья,
Поднялась толпой-народом
Сила русская, сплошная.
Поднялась спокойным строем
Да как кликнет громким кличем:
Добры молодцы, идите,

Добры молодцы, сбирайтесь —
С Бела-моря ледяного,
Со степного Черноморья,
По родной великой Руси,
По Украйне по казацкой,
Отстоим мы нашу землю,
Отстоим мы нашу волю,
Чтоб земля нам да осталась,
Воля вольная сложилась,
Барской злобы не пугалась,
Властью царской не томилась!..»

Ладья причалила, я выпрыгнул на берег...

СТРАННИК

> Сего ради не являйся ты орле, и криле твоя грозные, и перийца твоя строптивая, и главы твоя лукавыя, и ногти твоя злейшие, и все тело твое суетное. Яко да прохладится вся земля, и обратится свободна от твоея силы, и уповает на суд и милосердие того, иже сотвори ю.
>
> *Ездры, книга третья (или, правильней, четвертая), глава одиннадцатая*

1

В глухом бору, удалена
От шумнолюдного поселья,
Стоит пуста, стоит одна
Моя бревенчатая келья.
Вернусь ли я в нее, иль нет?
Во имя истины бродяга —
Найду ль свой кров под старость лет?
Замру ль в метель середь оврага?
Не знаю.— Смерть везде тиха!

От зла мирского и греха
Бежал я молод в лес сосновый,
Бежал неторною тропой,
И прорубал мой просек новый,
И ставил сруб семивенцовый
Своею собственной рукой.
Топор звенел, щепа летела,

Удары вторил гул лесной,
И птица близко сесть не смела...
Не ведал устали мой труд —
Я созидал себе приют,
Душа алкала врачеванья
И строгих дум и покаянья.

2

Богатый торгом, мой отец
Хотел, чтоб был и сын купец.
Бывало, брань ввернет сурово
В свое напутственное слово,
Так что сгораешь от стыда,
И пустит парня молодого
На прибыль — в села, в города...
И буйно шли мои года!
Удалый нрав да денег кипа —
Гуляй и празднуй без просыпа!
Раз — еду. Месяц, ночь светла,
Длинна дорога, степь бела,
Мороз пробрал сквозь полушубок...
Вот дотащились до села...
Держи у первого угла —
К избе! — Вхожу... Сквозь дым от трубок
Горит огарок в полумгле,
Исправник с барином-соседом
Проводят ночь обычным следом —
Полштоф заветный на столе.
«Купец знакомый не помеха!
Садись!» — Сажусь; пошла потеха.
Кто выпьет чарку похмельней,
Кто скажет слово посрамней —
Тому и слава! Хохот, песни...
«Рассыльный! Митька! ты хоть тресни,—
Кричат лихие господа,—
А девок нам веди сюда!»
Вот их и вводят, в дверь толкая...
Красоток пара молодая!
Гляжу сквозь хмель: из них одна
Как лист, дрожит, как смерть бледна;

Другая только плачет, плачет,
В рукав лицо тихонько прячет.
Как взноет сердце! Я вскочил,
Со злости задрожали губы,
Кричу: «Злодеи! душегубы!»,
Да кулаком что было сил
Хватил исправника по роже,
И барину досталось тоже,
Обоих на пол повалил...
Догнать погоня не сумела,
Отец дал денег, скрыли дело.

3

Но в эту зиму я притих,
Смирился и кутеж оставил,
Дичился встречных и своих,
И свет постыл и не забавил.
Стал думать. Из ума не шло —
Отколь страдание и зло?
Зачем повсюду плач и горе?
Зачем народ живет в позоре,—
И зол и жалок род людской?
Зачем я сам на зло способен,
Развратен, дик, скотоподобен?
Где слово правды? Где покой?..
И слышу шепот над собой:
«Спасайся!» — Холодом объяло
При этой мысли, дух сперся
И дыбом стали волоса,
И будто к полу приковало —
Так в этот заповедный миг
Восторг и ужас был велик.
Отец стал сильно недоволен,
Ругал: «Ты пес, а не торгаш»,—
Сбирался сечь, но лекарь наш
Сказал, что я, должно быть, болен;
Гадать ходили на бобы,
Но не разведали судьбы.
Пришла весна, снега сбежали,
Я говорю отцу: «Прощай!
Не злобствуй на мои печали

И денег мне не припасай;
Промаюсь помыслом нешумным
Да подаянием мирским...»
Отец почел меня безумным,
Народ почел меня святым.

4

Как я вздохнул свободным вздохом,
Когда над кельею покрыл
Я кровлю хворостом и мохом
Да печь нехитрую сложил...
Блажен достигший мирной цели!..
Я жил один. К концу недели
Был приносим, в обычный день,
В дупло знакомой старой ели
Посильный дар из деревень,
И благостынною крупицей
Делился я с лесною птицей.
Близ кельи, у корней древес,
Чуть слышно сквозь обрыв песчаный
Сочился змейкой ключ студяный...
Был тих и шумен древний лес
И веял влагою смолистой.
Я сквозь навес его иглистый
Глядел далеко в глубь небес:
Зачем же в людях плач и горе
И бури на житейском море?..

Я жил один. Весне вослед
Томило сушью жарких лет,
И вслед за осенью сырою
Шли зимы белой чередою,—
Святую книгу я читал
И духа истины искал.
Изведал много дум палящих,
Молитв сердечных, слез скорбящих;
И сколько прожил зим и лет —
Не в силах дать себе ответ:
Я не считал зари восходы,
Я не видал, как длились годы,—
Теперь я знаю, что седа
И голова и борода.

5

В последний год в тиши дремучей
Мне трижды снился сон — могучий,
Пророческий!.. Я помню ночь —
В бору носилась тьма сырая,
Лил дождь, и ветер во всю мочь
Рвался, свистя и завывая,
А сосны бьются и трещат,
И шишки сыплются, как град.
А я, коленопреклоненный,
В безмолвной келии моей
Стоял над книгою священной,
То тайный смысл гадая в ней,
То взор вперив с немой отрадой
На озаренную лампадой
Ко мне склоненную с креста
Главу спасителя Христа.
Раскрылись вещие страницы,
И сон смежил мои ресницы...
И вижу я — все степь кругом
И на земле зноепалимой,
Среди степи необозримой
Спит человек тяжелым сном;
В тяжелом сне дрожит от муки,
Раскинув немощные руки.
На нем сидит орел степной
И вкруг поводит головой,
Сверкая дико, как огнями,
Желтобагровыми глазами,
И топчется из боку в бок,
Вонзает когти жестких ног,
И шея горбится клоняся,
И жесткий клюв терéбит мясо.
И крылья темные простер
Орел над сонным, как шатер,
И из-под перьев, в взмах крылатый,
Свалились хищные орляты,—
И злее старого врага
Клюет и топчет мелюзга —
Их жадный хрип и посвист дикий
В степи гласят про пир великий.
А с человека льется кровь,

Но тело зарастает вновь,
И спит он, спит, дрожа от муки,
Раскинув немощные руки,
И не волён ни глаз поднять,
Ни рта раскрыть, ни простонать.

Чело я в ужасе понурил
И в самом сне глаза зажмурил.
Но с уст невидимых исшел
Ко мне торжественный глагол:
«Восстань, силен, как лев косматый,
И, духа истины глашатый,
В житейский мир опять иди
И человека разбуди,
Чтоб он открыл живые очи
И после долгой, долгой ночи
В единый взмах спугнул орла,
И разлетелись бы орляты,
Живой святыни супостаты,
Зане земле пора пришла —
С отлетом птицы плотоядной —
Дышать свободно и прохладно».

Проснулся. Ночь, лампады блеск,
В лесу все дождь, и гул, и треск...
Я думал — это дух гордыни
Смущает мир моей пустыни,
И я ли — кающийся дух —
На звук греховный столько глух,
Чтоб быть орудием святыни?..

6

Вторая ночь была зимой,
Пришла с такою тишиной,
Что по лесу во тьме глубокой
Был слышен каждый робкий звук —
Ломился ль обветшалый сук,
Иль падал снег с сосны высокой.
Перед лампадой и крестом
Листы ворочал я перстом:
Разверзлись вещие страницы,

И сон смежил мои ресницы...
Все ту же птицу вижу вновь,
Все та же степь, и солнце пышет,
И с человека льется кровь,
И он во сне тяжелом дышит.
И тот же голос рек: «Иди
И человека разбуди».
И вера дух мой охватила,
Мысль крепла в грозной тишине,
И я почуял, что во мне
Растет восторженная сила.
На третью ночь был лес душист,
Весенний месяц серебрист.
Раскрылись вещие страницы,
И сон смежил мои ресницы...
Я внял виденью моему,
И взял я посох и суму,
Пошел, исполнен светом чудным,
Бродить по селам многолюдным
Неутомимою стопой,
Доколе хватит сил и века,
Вещая виденное мной
И пробуждая человека.

7

А там, в бору, удалена
От шумнолюдного поселья,
Моя бревенчатая келья
Стоит пуста, стоит одна...
Засну ль в ее тиши священной
Кончиной мирной, несмущенной?..
Не знаю! Но прожитых в ней
Ночей несчитанных и дней,
Безмолвных дум, и слез скорбящих,
И снов, грядущее гласящих,
Поста, восторга и труда —
Я не забуду никогда.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В ПАНОРАМЕ

Мужичок с ящиком по ярмарке похаживает,
Разные картинки в стеклышко показывает.

1

Не бось, не бось! мои боярыни и баре,
В стеклышко смотрите, подходите по паре;
Вам, чай, приятна и ектенья на амвоне,
Вы попривыкли ко всякой царской вони.
Мужик вот нейдет — ему не интересно,
Земля-то широкая, только жить тесно;
И что, мол, мне до восточного вопроса,
Коли дома ни ржи, ни пшеницы, ни проса.
А у вас, господа мои, боярыни и баре,
Все же кое-что да сбереглося в амбаре;
Вы на комедью восточного заката
Приходите взглянуть по копеечке с брата.

2

Вот первое стеклышко — тем и обидно —
Кажется, когда темно, так ничего не видно.
В прочих стеклышках идет иллюминация,
В каждом стеклышке особая нация.

3

Первая — Франция — Наполеон Третий,
Человек первый из девятнадцати столетий;
Речь говорит — уж нельзя превосходней,

«Француза, говорит, прижать — тем он и свободней.
Я, говорит, не просто король аль император,
Человек, говорит, штатский и больше оратор.
Хожу, говорит, не в мундире, а во фраке я,
Что мне их Крит алибо Фракия?
Я, говорит, человек мирный — даже по платию,
Между Турцией и Грецией учрежду симпатию.
Конфедерацию строю из плюса да минуса
Да затем дальше всех вперед и подвинуся.
Войско для миру держу, даже денег не жáлится
(Они ж не свои), а иначе мир провалится.
Франция меня любит, у меня жена Евгения,
И все рукоплещут, в принце узрев гения».
Видите, господа, у него речи звонкие,
Мысли всё благие и усы тонкие.

4

А вот тут на него граф Бисмарк смотрит косо.
«Я, говорит, за Рейном ему дам хлопштоса,
У меня, говорит, совсем новая Пруссия,
Стало — в восточном вопросе упрусь и я,
Правда нас не обдает оттолева страхом;
Мое дело — князьков немецких швырнуть прахом.
Да кто б и Австрию хватил, кабы да не я?
У меня в комочек свернулась и Дания.
У меня король Фридрих вошел в леты,
А носит всегда енеральские эполеты.
А сам я хоть и граф, но настоящий король;
Богатейшая, говорит, моя на сем свете роль».

5

А вот Австрия — император Франц-Осип,
По-венгерски Карл — такой уж у них способ:
Надо, говорит, чтоб имен была троица,
Потому что без троицы дом не строится.
А сам он сидит бедный да печалится.
«Того гляди, говорит, Австрия провалится;
Друзей в самом деле нету, потерял святого Марку,
А Берлина, говорит, боюсь и его Бисмарку.

Славяне к России тянут, и Чехия, и Галиция
(Я, говорит, немец — не люблю их лицы я),
Да им и к нам притянутым время соскучиться,
Куда им к России?.. Все врозь хотят скучиться.
Того гляди, говорит, не Франц-Осипом имперским,
А придется остаться мне только Карлом венгерским».
Но фон Бейст говорит: «Не беспокойтесь, обделаю,
Уж такую господь в меня вложил душу смелую».
Франц-Осип фон Бейсту на шею повалился,
От избытка чувствия — слезами залился.

6

А вот Виктор-Иммануил, веселый любитель,
А по-русски значит: избранный победитель,
«У меня, говорит, богатырские и усы и талия,
И королевство теплое — имя ему Италия.
Всякие строгости хотел бы ослабить,
Да с министрами пришлось только народ грабить,
А народ от евтова тянет к республике,
А мне бы, говорит, только поплясать в публике.
А тут ничего не поделаешь и с папою,
Он все загребает священною лапою;
Рад бы поплясать на его гробе я,
Да у него всё французские пособия.
Какое, говорит, мне дело до восточного дела,
Лишь бы своя голова-то на плечах уцелела».

7

А вот Англия — в восточный вопрос-то
Вступаться не желает, говорит просто.
«Мне, говорит, чтоб у народа прошел глад и стон,
Только и нужно, и министр у меня Гладстон,
Человек, мол, крепкий, да и сама королева
Ездит себе в коляске безо всякого гнева».

8

А вот, господа, стеклышко большое самое,
Это наша Россия, племя неупрямое.
Александр Николаевич, всех дел вершитель,

«Я, говорит, ввожу всякие реформы,
А сам, говорит, знаю, что это для проформы.
Войны, говорит, не хочу, хотя мы и хватики,
А рекрутов, говорит, надо — поиграть в солдатики.
Грекам обещаний надам выше тополя,
А сам, говорит, и прочь — не забыл Севастополя.
Мужичкам любезным поберегу розги,
Пусть дворяне секут — это в их мозге.
А сам к обедне схожу для божьего оплоту,
Да позабавиться и съезжу на охоту».
Так у нас, господа, дело и варганится,
Куда нам тут восточным вопросом чваниться?

9

А вот греческий король сидит да все плачет:
«Все, говорит, христианство ко гробу скачет.
Мне бы, говорит, хорошо — и в салате настурция,
Сам я греков не ем, ест нас Турция.
Но надо мириться, когда кто не сможет,
Все, говорит, нас надуют, никто не поможет».
Да вот и Султан: «Я, говорит, лыс без волоса,
Но с Грецией смирюсь — мы оба без голоса.
Голос, говорит, у Краевского, с ним и оболванится».
Затем, господа, прощайте! Друзьям просим кланяться.

* * *

Гой, ребята, люди русские!
Голь крестьянская, рабочая!
Наступает время грозное!
Пора страдная, горячая.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны
Суд мирской злодеям-ворогам
А злодеи эти вороги:
Все дворяне, все чиновники,
Люди царские, попы, купцы,
Монастырские, пузатые —
Все они нас поедом едят,
Поедом едят — судом судят,
Обложили нас оброками,
Мы за все про все платить должны;
Про их брюхо ненасытное
Работаем с утра до ночи,
Сами наги, сами голодны,
На Руси мы как в аду живем!
Подмененный царь Александрушка,
С головой пустой, со немецкою,
Только пиво пьет да командует
Палачам своим толстой гвардии,
Чтоб стреляли нас, чтоб нас вешали,
Чтоб в Сибирь вели людей умных.
Видно, с глупыми легче справиться,—

Как ни мучай их, всё «ура» кричат.
А отродье-то его царское,
Дети, внучата, сестры, братчики,
В золотых дворцах потешаются,
Только пьянствуют да распутствуют;
А мы, глупые, неразумные,
За них молимся, «много лет» кричим.
От нужды-горя от крестьянскова
Как бы стон стоит по земле русской;
В деревнях печаль ветром носится,
Сердце рвет у всех, зубы скоркают.
Услыхал о том Стенька Разин сам,
Во горах что спал лет поболе ста.
Он, заступник наш, просыпается,
На помогу к нам собирается.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам.
Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь, добры молодцы,
На разбой — дело великое!
Мы отплатим нашим недругам
Все злодейства, все мучения;
От рук наших умираючи,
Пусть помянут годы тяжкие,
Как тиранили народ простой,
Как поборами нас грабили!
Будут плакать, будут сетовать
Жены их и дети малые;
Не должно для них пощады быть,
Надо всех их нам со света сжить,
Города, дворцы огнем спалить,
Чтоб не знали, где главы склонить.
И очистим мы землю русскую
От всех ворогов да бездельников,
Что наш хлеб едят, да нам зло творят,
От попов, купцов, от чиновников,

От дворян, от бар, что кровь нашу пьют.
Мироедам всем карачун дадим;
Все дома их пустим по ветру.
Подставному царю-батюшке,
Александрушке подмененному,
Мы скрутим руки немецкие,
Поведем на площадь Красную,
На Московскую площадь Красную,
Пред мужичий люд, им обманутый;
Там судить его станем миром всем,
Мы допрос ему учиним такой:
Подмененный царь, Александрушка,
Лиходей земли нашей русския,
А зачем ты нас обманул, надул,
Вместо волюшки в кабалу отдал?
Ты зачем велел нас рубить, стрелять,
Как хотели мы себе землю брать?
Ты за что про что мучил пытками
Вожаков наших да заступников?
Ты за что рубил, ты за что секал
Их разумные, буйны головы?
Подымалися под Архангельском
Мы от голоду от великого,
Наги, босы, отощалые,
В Питер-город шли шестьсот тысячей;
Ты послал на нас свою гвардию,
С генералом своим плутом Треповым,
Свою гвардию откормленную,
Откормленную, подпоенную;
Ты велел нас бить, да без милости,
Без разбору безо всякого
Палить залпами да картечами,
На штыки сажать, конем топтать.
От тоё ли, от картечи от поганые
Полегло нас много тысячей,
Потекла ручьем кровь мужицкая
По лицу земли нашей русския.
Мы теперь с тобой, подмененный
царь,
Поквитаемся, рассчитаемся!
Мы теперь тебя разорвем в куски,
Разбросаем их во все стороны.
Подымайтеся наши головы,

От печалей преклоненные!
Разминайтеся наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам,
Без пощады им поделом воздать,
Чтоб добыть *себе волю вольную.*

ПРОЗА

ТОЛПА

(Разговор на площади)

> Blut, sag ich dir, wird deine ganze Seele fallen.
>
> *Schiller*

Полдень сиял над Москвою. Народ толпился по улицам; казалось, все было оживлено этой заботливой, странной, мелочной жизнью, всегда господствующей в общей массе людей. В это время молодой человек с веселым лицом, с быстрыми огненными глазами пробирался через городскую площадь, внимательно бросая пронзительные взоры на проходящих.

«Здравствуй, Леонид»,— сказал он, подходя к юноше, который в задумчивости стоял, облокотясь на решетку церкви Василья Блаженного, и бледное лицо его изображало непонятную грусть.

Леонид. А, это ты, Вольдемар. Но что значит странная улыбка на твоем лице?

Вольдемар. Мне смешна твоя задумчивость; о чем, кажется, печалиться, когда ты успел выбрать такое удобное место обозревать эту пеструю толпу проходящих? Ну, право, здесь как нельзя лучше можно делать психологические наблюдения и от души посмеяться.

Леонид. Смеяться... Но что же нашел ты тут смешного?

Вольдемар. Как что смешного? Да взгляни на все эти лица; посмотри на этих суетящихся лавочников, заметь это желание воспользоваться хотя копейкою барыша,

эти смешные приемы, эти беспрестанные повторения одних и тех же слов: «сахар, чай, кофий — все есть у нас; пожалуйте, барин». Какую досаду наводят они на сморщившееся лицо этого старика, олицетворенную идею скупости; посмотри на эту толстую рожу осанистого купца, который с самодовольным видом выступает, поглаживая бородку, как будто бы его везли на сундуках золота; видишь ли эти вытянутые фигуры тонных дам, которые спешат втридорога заплатить за всякий товар, чтобы украсить свои отцветшие уродливые лица; посмотри на этого барина, который со всею дворянскою важностью отправляется забирать как можно более вещей — в долг. Ну, скажи, Леонид, не смешны ли все эти фигуры? Не заставит ли тебя хохотать эта заботливость, ни к чему не ведущая, эта заботливость, которую можно назвать беспечностью, эта суетливость, которую можно назвать бездействием? Не смешно ли видеть этих людей, которые целую жизнь хлопочут, чтобы ничего не сделать?

Л е о н и д. Нет, Вольдемар, я еще ничего не вижу здесь смешного. Досадно и жалко! Целая толпа, которая живет без всякой цели в жизни или с какою-нибудь мелочною целью, с каким-нибудь эгоистическим чувством, унижающим человечество.

Тысячи людей, не одушевленных никаким общим стремлением, никакою общею идеей, тысячи людей, разъединенных в глубине души, занятые частностями, жалкими видами — и это тебе кажется смешно? Вольдемар, Вольдемар! Любил бы я видеть человечество прекрасное, могущественное, гордое своим достоинством, напрягающее все силы свои к добру, изощряющее все способности свои для блага общего, а не эту жалкую толпу, которой кумир — золото, действия — расчет, которая теряется в ничтожных спекуляциях, отвратительных покушениях на счастье ближнего, в эгоистическом стремлении к безумным наслаждениям. Нет, друг, что тебе смешно, мне кажется жалким и горестным.

В о л ь д е м а р. Ты уж не мизантроп ли? Вот и это мне смешно. Можно ли ненавидеть все эти обыкновенные явления? Эти контрасты в мире, эти карикатуры на род человеческий смешны каждому, как ребенку, когда он смотрит на безобразную горбатенькую куклу, и, право, веселее быть таким ребенком, чем грустить обо всех людских глупостях.

Леонид. Нет, я не ненавижу людей, но жалею об них. О Вольдемар, если б я мог зажечь в них хотя одну искру жизни общей, устремить их к общей деятельности, где забыли бы они свои корыстолюбивые виды, где перевес имели бы одни качества души, где не ползали бы пред богатым, где бы не трепетали сильного, но где труд для блага общего был бы единым уровнем людей, и это благо их единой целью — о, если б я смог это, я бы всем пожертвовал, верь, Вольдемар, для этого я бы всем пожертвовал!

Вольдемар. Что за безумная мысль, Леонид. Миллионы людей, как ты, перемрут и все еще не успеют ее исполнить. Прогрустите вы целую жизнь, а толку мало. Лучше посмеяться и по крайней мере прожить весело.

Леонид. Одушевить эту толпу хотя бы на один миг — нет, Вольдемар, не говори, чтобы это было невозможно. Возьми в пример хотя бы и наш православный народ: неужели в этих остроумных физиономиях, в этой огромной способности понимать и производить, в этой оборотливости ума не заключается достаточных элементов, чтобы созиждить стройное гармоническое целое, чтобы человечеству показать чудный пример общественной жизни, выказать его прекрасное назначение?

Верь, Вольдемар, природа не даром разбрасывает дары свои, не даром обрисовывает отличительные черты на лицах людей; так надежда примеряет меня с человечеством.

Но ты смеешься, Вольдемар, не сошлись наши души. Оставь меня, поди смешайся с этой толпою; живи, чтобы смеяться над нею; дай бог тебе с той же улыбкой окончить жизнь свою.

Весело улыбаясь, пошел Вольдемар, все так же продолжая присматриваться к лицам проходящих. Леонид долго не переменял своего положения, только на бледных щеках его и пламенеющих глазах видны были все движения волнующейся души его.

Уже вечерело, и он только тогда тихими шагами отправился в хату свою, улицы были пусты, люди наслаждались сном, и, может быть, Леонид думал: «Спите, спите теперь; о, если бы поскорее настал для вас час лучшего пробуждения».

ТРИ МГНОВЕНИЯ

Трилогия моей жизни

(Посвящено любви и дружбе)

1

Солнце уходило на запад и лучами прощальными купалось в светлых водах реки величаво-спокойной. А она, извиваясь подковой, с ропотом тайным проходила у подножья крутого высокого берега. А на другой стороне вдали расстилался город огромный, и главы его храмов сверкали в огненном отблеске вечернего солнца.

На высоком берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля не надолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по душам их, и сердца их забились с одинакою силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: «Вместе идем! вместе идем!» И это мгновение ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось в великой душе мира.

Но судьба разрознила юношей и раскидала их в дальние стороны. Но то мгновение в душах их свято росло в бесконечность.

2

В зале, освещенной огнями, толпились люди и думали — веселиться. И в шумном говоре звенело бездушное слово, и жалкая мысль выливалась в многосложные речи. Раздавалась музыка, и в таинственных звуках, говоря

о небесном, отличалась ярко от пустых восклицаний детей праха и тленья.

Вдалеке от толпы сидели дева и юноша. Их взоры с любовью тонули во взорах друг друга. Они говорили о мире небесном, о том же свете грядущем. И сознание симпатии глубокой электрической искрой пробежало по душам их, и сердца их забились с одинакою силой. И разом из уст их сорвалось слово: люблю! Это мгновение ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось в великой душе мира.

С хохотом люди смотрели на чету, благословенную любовью. Но дева и юноша бросились в объятия друг другу — и то мгновение, когда сказали: люблю! — свято росло в их душах в бесконечность.

3

Но та же судьба, божья судьба, что раскидала юношей в дальние стороны, снова свела их. И с каждым была уж любимая дева, каждый пришел с ненаглядной подругой.

Тогда пред распятием, пред богом, за любовь пострадавшим, все четверо пали они на колени и жарко молились с благодарностью в сердце, и слезы лились по ланитам. И после, в сознании высокой любви, все четверо бросились в объятия друг другу и слились духом в единое дивное чувство. И это мгновение ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось в великой душе мира.

И снова судьба разрознила юношей, но каждый остался с своею подругой. И в четырех душах то мгновение свято росло в бесконечность.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОСТИТУТКИ

(Из времен жизни в России)

В огромной зале неопрятной, но хорошо освещенной сидело за столом большое общество; толстая дама, хозяйка дома, старалась улыбаться, обращаясь к гостям, но, несмотря на ее улыбки, лицо ее производило не совсем благоприятное впечатление: оно как-то лоснилось и было покрыто большими прыщами, нос ее был немного красен, глаза маленькие и узкие и лоб необыкновенно низкий. Даму эту звали Марьей Ивановной, она тем более казалась дурна и неприятна, что остальные женщины, сидящие за ужином, были не только не дурны собой, но многие из них были даже очень красивы, только все они очень небрежно одеты, кто в блузе, кто закутан в шаль, кто в полинялом шелковом платье, а кто и в ситцевом. Мужчины были тут всякие, были офицеры, страшно шумевшие и делавшие пошлые непристойные шутки — один из них поминутно кричал: «Шампанского, черт возьми, шампанского, Марья Ивановна». К ним она была всего благосклоннее. Был тут и чиновник, смиренно сидевший на кончике стула и отодвигавшийся каждый раз, как подавали блюда, из боязни закапать с иголочки сюртук; был тут и bon genre чиновник, который почти не разевал рта и показывал всему обществу полнейшее презрение; был тут и богатый купчик, пожиравший глазами молодую женщину, сидевшую возле него. Он много уж выпил; глаза его слипались, но он их усиленно открывал и пристально смотрел на свою соседку. Почти против Марьи Ивановны, на другом конце стола, сидел молодой человек в пальто. Он

не ужинал и не снимал лайковых перчаток, курил сигару и лениво слушал молодую девушку, которая с жаром что-то говорила ему вполголоса. Молодой человек этот был Сергей Михайлович. Его собеседнице, черноволосой и бледной девушке, могло быть лет двадцать; черты ее были тонкие, глаза большие и выразительные — видно было, что она была очень хороша, но в настоящую минуту щеки ее впали, глаза блестели болезненным блеском, словом она была в чахотке — часто раздавался ее сухой кашель,— тогда она на несколько минут умолкала и с отчаянием в лице прижимала руку к груди.

— Что ж вы не лечитесь, Маша? — спросил Сергей Михайлович.

Она улыбнулась и махнула рукой.

— Вы так молоды еще, может выздоровеете.

— Где выздороветь,— возразила Маша печально,— да и зачем. Вы смеетесь надо мной, это нехорошо. Умереть ничего, но вот что ужасно, я умру здесь,— сказала она, понизив голос,— здесь меня оденут в одно из этих платьев.— О боже! Неужели? — Она впала в задумчивость, потом живо сказала: — Пойдемте в гостиную, мне надо поговорить с вами, а здесь я боюсь.

— Да, право, сегодня мне некогда,— отвечал торопливо Сергей Михайлович. Он посмотрел на часы,— меня ждут, я уж и так опоздал.

— На минуту, не откажите мне. Я уж недолго...— Кашель не дал ей договорить. Сергею Михайловичу стало ее жаль, должно быть.

— Ну, пожалуй, пойдемте,— сказал он.

Уходя, он обернулся на ужинающих, иные пары уже исчезли, другие продолжали пить и шутить. Молодой купчик крепко спал на стуле, закинув голову назад. Марья Ивановна сидела на прежнем месте, она не спускала глаз со спящего, на лице ее было что-то недоброе, какое-то беспокойство и ожидание, губы ее нервно двигались. Один из офицеров все еще сидел за столом и все кричал: «Шампанского, черт возьми!» Сергей Михайлович пожал презрительно плечами и вошел в гостиную с Машей, дверь осталась растворена в залу. Обои и мебель гостиной были богаты, но так изорваны и запачканы, что Сергей Михайлович не без брезгливости уселся на диван. Он указал Маше место возле себя, но она не села, а вдруг стала на колени и протянула к нему руки.

— Спасите меня,— сказала она,— спасите меня, уведите меня отсюда куда хотите, хоть в больницу, хоть в острог, только не дайте мне здесь умереть, подумайте, здесь умереть, ведь это страшно выговорить!

— Милая Маша,— сказал немного взволнованный Сергей Михайлович.— Я уже говорил вам, что это невозможно, я не денег жалею, но это может разгласиться и повредить мне. Я скоро женюсь — право, это невозможно,— сказал он и хотел встать, Маша удержала его. Она все еще стояла на коленях.

— О! Если б ваша невеста узнала это, она должна бы вдвое оценить вас.

— Милая Маша, оставьте мою невесту, ее неуместно поминать здесь,— сказал Сергей Михайлович.

Щеки Маши вспыхнули на мгновенье.

Настало молчание.

— Зачем было приходить сюда, если вам здесь так противно, вы сами виноваты,— начал Сергей Михайлович наставительным тоном.

— Я не приходила сюда, меня привезли сюда,— возразила твердо Маша.

— Привезли? Ну как же это привезли? — спросил немного насмешливо Сергей Михайлович.

— Послушайте, если вы хотите остаться, я расскажу вам, как было — ведь вы не станете умирающую подозревать во лжи?

— Нет, нет, я не думаю, чтоб вы лгали, садитесь, Маша, и рассказывайте, я уж останусь, так и быть,— сказал Сергей Михайлович, немного пристыженный.

— Может, вас тронет мое горе — я никому еще не рассказывала всего, что было со мной, но сегодня я хочу говорить; слушайте же.

Я сирота, родителей своих не помню, тетка была мне заместо всего — мы были барские, долго тетка копила деньги и, наконец, накопила и откупила меня, а сама осталась барской. Когда я подросла, она отдала меня в ученье в Москву к портнихе, мне было пятнадцать лет, год жила я в ученье; ничего, только хозяйка была очень взыскательна да скупа. Когда наши господа приезжали в Москву, тетка прибегала посмотреть на мое житье. Уезжая в деревню, она приходила проститься со мной и всегда горько плакала и просила хозяйку беречь меня: ведь она сирота, ее каждый должен на добро наставлять,

говорила она. Хозяйка наобещала много тетке, и она поехала со спокойным сердцем.

Мне уж пошел семнадцатый год, подросла я и пополнела. К нашей хозяйке часто ходила приятельница, они все шептались, но я была глупа, ничего не примечала, гораздо позже я узнала, об чем они толковали. Вдруг хозяйка ко мне переменилась, стала ласковая такая, бывало мы все дивимся, что это с ней сделалось? Многие из девушек стали даже завидовать. Вскоре к нам стал ходить какой-то офицер, красивый, ловкий такой. Все работу заказывал Марье Ивановне. Она ему так в глаза и глядит, бывало; много было у нас хорошеньких, но я ему одна полюбилась. Приедет, бывало, не отходит от меня, работу из рук вынет, сидит да смотрит на меня. «Что, говорит, работать, еще, пожалуй, уколете хорошенькие пальчики».— «Да меня побранят»,— говорю. «Кто это смеет вас бранить?» — «Кто — хозяйка, разумеется».— «Вот еще, смеет она»,— говорит он.

И в самом деле, хозяйка не только не бранит, да и работы почти не дает. Я сама не рада была этому, девушки стали насмехаться надо мной, звали меня барской барыней... Одна Аннушка меня жалела, а от других много я за него вынесла, да и не горевала слишком. Как увидела, что он меня любит — я всю душу ему отдала. Так мне было хорошо жить, казалось, нечего и желать больше, а он что-то озабочен был, часто заходил к хозяйке и подолгу сидел с ней — подарки ей носил, а мне говорил, смеясь: это все, чтобы она мои хорошенькие пальчики берегла. Вот раз он приходит и говорит мне: «Маша, я хочу на тебе жениться, только съезжу в деревню к родителям и попрошу их родительского благословения, а ты до поры до времени ничего тетке не говори». Надел он мне золотое кольцо на палец: «Теперь ты моя невеста, жена моя все равно, ты моя, не правда ли?» — говорит. Ну и хозяйка стала уговаривать, говорит: «Слово дворянина свято перед богом, вы уж муж с женой, а что вам до людей? пусть смеются, а что они скажут, как ты госпожой станешь, а ведь уж до этого недолго».

Глупа я была, отдалась ему,— хозяйка отвела нам особую комнату, Василий Петрович почти жил у нас. Месяца три спустя я почувствовала, что беременна — обрадовалась я как сумасшедшая и думаю: как он-то будет рад — когда лучше ему сказать, и как-то стыдно, все от-

кладываю день за днем. А уж как мы жили хорошо, дружно, никогда сердитого взгляда я не видела, выпросит, бывало, меня у хозяйки, на извозчике и увезет на гулянье или куда за Москву, идем улицей, бывало, на нас посматривают — немудрено, что смотрели, счастье на лицах точно написано было!

Раз он пришел такой веселый, я к нему, говорю: «Присядь на сундук, мне хочется что-то тебе сказать».— «Что, моя милая?» — спрашивает.

Я смотрю на него, улыбаюсь и ничего вымолвить не могу, он тоже смотрит. «Нас будет скоро трое»,— сказала я наконец.

Брови его вдруг так сдвинулись и лицо стало такое строгое, что я испугалась и отодвинулась на край сундука.

Он тотчас оправился: «Ты уверена, моя милая,— спросил он,— я был так удивлен потому, что никогда не думал об этом, но я рад, я разделяю твое чувство». Но слова его не успокоили меня, я сидела печальная. «От тебя трудно уйти,— сказал он несколько минут спустя,— я даже забыл, что зван сегодня, пора — но завтра я твой на целый день. Ну, прощай, Маша, поцелуй уж меня. Да что ты так невесело смотришь, завтра не за горами». И он ушел, насвистывая какую-то песню, а я, как он ушел, бросилась головой в подушки и горько зарыдала. Того ли я ждала? Что ж это, разве он уж не любит меня? Бедный мой ребенок. Тут Аннушка вошла, пристала: что да что с тобой. Долго я крепилась, наконец бросилась к ней на шею и рассказала все. Покачала она головой: «Бедная ты моя, не сдобровать тебе, коль бросит тебя, и девушки-то и хозяйка-то поедом станут есть, да еще тетка приедет...»

Я заливалась, плакала. «Да, может, я не доживу, Аннушка, бог приберет». «Кому горько, тот жив остается»,— говорила она. Потом вдруг начну Аннушку обижать: «Зачем ты меня слушаешь, тебе не жаль, видно, меня, он это так, может о чем раздумался, он придет, вот увидишь, что придет».— «Не придет, Маша, нет и не думай, тошнее будет».

Дни пошли долгие такие, а его нет как нет. Уж я перестала и ждать его и только просила у бога, стоя на коленах перед иконой: господи, вынь ты из моего сердца любовь к нему — и возьми меня с неродившимся младенцем — дай нам приют у тебя! Молилась и горько пла-

кала, но Аннушка правду сказала: кому горько, тот жив остается; не взмолила я господа, не взял нас. А уж какая была моя жизнь — девушки проходу не дают, в глаза смеются, хозяйка вздохнуть не дает. Как она поняла, что все кончено, ей захотелось, должно быть, воротить потерянное время — целый день она жужжала надо мною, девушки спать идут, а я сижу за работой, чуть брезжит, никто не шевелится в доме, а я уж сажусь за шитье — и все не угодишь, и все недовольна, поутру идет грозная такая. «Работай, работай, говорит, тебе нечего с другими равняться, за тобой много вин». Тяжко мне было, не хозяйке бы так говорить, но я безропотно все сносила, пусть делают со мной, что хотят, коли он меня бросил.

Иногда я думала об тетке, вина приближалась, куда я денусь, когда она придет? Я ей не покажусь, лучше руки на себя наложу. Под конец и сна мне не стало, только стану глаза закрывать, представится мне, будто В. П. сидит у моей кровати и просит прощенья у меня,— а то будто тетка вошла и всплеснула руками, глядя на меня. Так вся и трясусь и рада сама, как ночь пройдет.

Вот раз хозяйка откуда-то воротилась, сердитая такая, вышла к нам в рабочую да так отрывисто говорит: «Марья, иди за мной». Вошла она в свою комнату и села на кресло, а я стала против нее за столом.

«Ну, говорит, что ж ты думаешь, ведь твоей беременности уж месяцев семь или восемь, ведь у меня не воспитательный дом, бросил тебя твой голубчик, и всегда так бывает, сама виновата, очень зазналась, барыней захотелось быть». Я оперлась на стул и слышала, как он скрипнул под моими пальцами.

Хозяйка остановилась на минуту, как будто ждала, что я скажу, но я молчала, только мне становилось холодно и сердце замирало.

«Я встретила давеча твою тетку, она придет к тебе — я ей все рассказала».

«Что вы наделали?» — вскричала я с отчаянием. Помню, что я крепко сжимала толстую шею хозяйки, что-то теплое текло по моим пальцам. Она дико кричала — на ее крик все сбежались, меня силой оттащили. Слышала я будто издали голос хозяйки: «Вяжите ее, в полицию ее!» — и потом все стихло. Я очнулась на заре от холода, смотрю, не понимаю, где я — вдали поле, налево виднеется лес, направо монастырская ограда, я встала и чув-

ствую, что уж мне плохо, далеко не дойдешь. Калитка растворена, робко, боязливо вошла я за монастырскую ограду, звонили к заутрене, из келий плавно шли монахини в церковь — много их прошло мимо меня, я все не решалась заговорить, наконец идет такая молоденькая, добренькая на вид. Я к ней. Она взглянула на меня: «Не говорите со мной, голубушка, я сама здесь недавно, я боюсь». Идет другая, старая такая, вид почтенный. «Сжальтесь надо мной,— говорю я несмело,— мне дурно, дайте мне приют». Монахиня строго меня осмотрела с головы до ног: «Иди-ка, матушка, в воспитательный дом да молись, чтоб бог простил».— «Да я не дойду, мне мочи нет».— «Ступай, ступай отсюда,— сказала она грозно,— здесь не место»,— и она вытолкала меня за калитку. Пока силы были, я брела к городу, не зная сама, куда иду, но, наконец, сил вовсе не стало, и я легла на мостовой, с отчаянием думая: пусть будет что будет.

Какая-то толстая дама проехала на извозчике, обернулась ко мне и велела остановиться, она быстро подошла ко мне: «Что вы так лежите? Что с вами?» Я ей рассказала всю правду. Она долго и пристально меня рассматривала и задумалась. «Успокойтесь, я возьму вас», она махнула извозчику — усадила меня и с трудом села подле. Боже, как я благодарила ее и за себя и за ребенка, я целовала ее руки, я плакала от радости. Долго мы ехали, мне было очень тяжело, однако, наконец, добрались,— извозчик повернул в переулок и остановился перед большим грязным домом. Мы поднялись по лестнице, дама поддерживала меня немного, каждую минуту мне казалось, что я упаду. Несколько неопрятных женщин прибежало к нам навстречу, все с любопытством на меня смотрели, и когда увидели, в каком я положенье, раздался страшный хохот. «Что ж она здесь будет делать?» — вскричала одна из них, помирая со смеха. Дама погрозилась, и все вмиг разбежались, а я не обратила на все это большого внимания, мне было не до того, да и привыкла я уж к насмешкам. Меня уложили в постель и ходили за мной хорошо, грех пожаловаться, в ночь родился ребенок. И что ж? ведь я ему не знаю как была рада; нечего мне было надеть на него, я сняла свое платье и закутала его; шесть дней он жил — хоть бы сто лет еще жить, я не забуду этих дней,— конечно, были горькие минуты, навертывались слезы, когда я вспоминала, что бедняжка не бу-

дет знать отца, что никто в мире, кроме меня, не приласкает его; да хоть и сквозь слезы, а все-таки улыбнешься, глядя на него. Вот, думаю, я не одна теперь, будет с кем поплакать, будет кому и улыбнуться — мне казалось, что он будет жить, вдруг он перестал есть, стал кричать, кричать... ах! этот крик, я и нынче его слышу иногда, когда не спится. Три ночи я не закрывала глаз, на четвертую усталь свое взяла. Да и он как-то тише стал, у меня немного отлегло от сердца, я и задремала, вдруг просыпаюсь от какого-то страшного холода, ребенок был мертвый — да, мертвый. Страшно вспомнить; говорят, я помешалась, не отдавала его, когда хотели хоронить, кусала руки, которые силой отняли у меня моего ребенка. Не знаю, сколько дней я провела в помешательстве, голова была тяжела и пуста. Стала ко мне ходить эта толстая дама, то есть Марья Ивановна, уговаривать стала, об работе говорила, я молчу. «Нельзя так жить»,— говорит. «Пожалуй, дайте работу»,— отвечала я равнодушно. Она ушла. Вдруг дверь отворяется, и входит какой-то господин. Я на него смотрю так дико, и он на меня с беспокойством смотрит. «Здоровы ли вы?» — говорит он. «Я здорова, а его зарыли».— «Кого?» Я расплакалась. «Бедная, она помешана»,— сказал он вполголоса и вышел.

Марья Ивановна подождала еще несколько дней и стала требовать, чтобы я ходила в залу обедать и ужинать.

Странно мне было смотреть на все, что делалось у нас, сначала я не понимала, где я, в деревне этого не знают, да и у хозяйки в ученье я ничего не слыхала. Наконец, между мной и Марьей Ивановной были объяснения и такие сцены, которых и рассказать нельзя,— я хотела броситься из окна, она приставила ко мне караул. «Ты мне слишком дорого стоишь, чтобы я дала тебе умереть»,— говорила она.

Тогда я стала хитрить... Мало-помалу все меня оставили, Марья Ивановна поняла, что это значит, и стала меня преследовать. «Если ты не хочешь мне подчинить свою гордость, так не быть тебе живой»,— сказала она мне раз...

— Взгляните на меня, ведь и в самом деле мне недолго жить,— сказала она, вставая.

В эту минуту из залы вбежал офицер, уже совершенно пьяный, за ним шло несколько женщин. Он подошел ско-

рым шагом к Маше и ударил ее по щеке так, что она покачнулась и упала на кресло.

Молодой человек вспыхнул.

— Милостивый государь,— начал было он, но вдруг остановился,— иметь объяснение, может дуэль за Машу...

Она закрыла лицо руками, слезы текли по ее пальцам.

— Маша, сколько вам надо денег, чтобы уйти отсюда?

Она встрепенулась и приблизилась к нему. Минуту они говорили шепотом, потом оба встали.

Маша подняла руки в страшном волнении:

— Да благословит вас господь, вы спасли меня от позорной смерти.

САША

Саша Рябина была смуглая живая девочка с большими черными глазами. Отца Саша не помнила, зато бабушка и мать баловали ее вдоволь, каждая по-своему, но хорошая натура не портится в баловстве, а развивается свободнее, шире,— строгое воспитание сломило бы Сашу, а тут она росла в тиши и в неге — никто не стеснял ее воли, и ее воля никому не была тягостна. Уйдет, бывало, в сад одна или к нянюшке в комнату, слушает там сказки, разговоры или смотрит, как нянюшка гадает на картах. Сидит так смирно, бывало, а ничего от нее не ускользнет. Раз, ей было тогда лет семь, при ней вошла Акулька прачка.

«Сделайте милость,— заговорила она, проворно обращаясь к Сашиной няне,— раскиньте еще карты на мое счастье, Марья Ивановна».

«А? опять пришла,— отвечала неохотно няня,— да что тут раскидывать, когда барыня не позволяет тебе идти замуж». Саша робко придвинула свою скамеечку к няне и на ухо спросила: «Отчего маменька не позволяет?» — «Да оттого,— отвечала громко няня,— что стало не угодно, прачка нужна».

Акулька суетливо окинула взглядом всю комнату, как будто искала чего-то, и быстро отерла пот со лба шейным платком: «Перед богом, буду все так же стирать, еще лучше буду служить!» — «Ладно, ладно, душа моя,— возразила нетерпеливо няня,— зачем божиться, ведь я не барыня, не моя тут воля».

Саша побежала к матери и так долго целовала ее и плакала, что, наконец, получила согласие. После десяти-

летнего ожидания Акулина Терентьевна сочеталась законным браком с буфетчиком Трофимом. За подобные вмешательства в дела дворовых и мужиков Сашу безмерно любили, один Трофим оставался к ней холоден. «Да, да, ангел, они все ангелы, пока не замужем»,— говорил он. Трофим ненавидел господ, а Михайло-кучер — попов. Когда они выпьют на храмовый праздник, просто беда, ни один не уступает, Михайло бранит попов, а Трофим господ, и день всегда оканчивался дракой.

И так Саша росла в Молчановке, большом веселом селенье, под крылышком этих трех старух; но как они были разны, эти старухи, стоит об них сказать несколько слов. Няня Саши, Марья Ивановна, была полная, высокая женщина, с резкими чертами лица и с большими черными глазами. Ей было уже за шестьдесят, крепкое сложение ее позволяло ей вести еще очень деятельную жизнь, она ходила и на скотный двор и на птишный и везде бранилась; но никогда барыне ни на кого не доносила, так что в сущности ее брань принималась без ненависти, даже ее уважали и любили и вовсе не боялись, хотя в этом состояло главное ее самолюбие; чтобы достичь своей цели, она делала все возможные усилия, кричала во все горло, грозилась, стращала, что скажет барыне, махала руками — и все-таки ее не боялись, но она была убеждена в противном и любила похвастать этим. Марья Ивановна имела еще одну слабость, она не терпела барских фаворитов — добрая к бедным вообще ко всем, она ненавидела людей в милости. Как скоро Саша устроит чью-нибудь участь или выпросит прощение кому-нибудь, так Марья Ивановна не в духе и слышать ничего не хочет. Когда Саша была маленькая, это ее смущало. «Да как же, няня, ведь ты сама их жалела?» — говорила она Марье Ивановне. «И, матушка, полноте,— отвечала Марья Ивановна,— дармоеды они, лентяи, что их жалеть». Когда Саша подросла, она только улыбалась, слушая противоречия няни. Марья Ивановна была всей душой предана Саше, что не мешало ей кричать и на нее, такая уж у нее натура была; не менее Саши она любила свою маленькую внучку Дуню, оставшуюся на ее руках годовым ребенком после смерти матери. Странные слухи носились об Дуне, иные говорили, что она дочь барина, другие утверждали, что это ложь. Марья Ивановна молчала, только много морщин прибавилось на ее лбу с рождения Дуни. Она и

била дочь и говорила, что проклянет ее и бог весть, чего она не говорила! А когда дочь ее стала худеть, худеть да кашлять и когда, наконец, кровь пошла у нее горлом, тогда материнская нежность проснулась в Марье Ивановне. Казалось, она бы сама легла в гроб, лишь бы Настя уцелела; но холь пришла слишком поздно: двадцатилетнюю, беспечную и безответную Настю снесли на погост. Говорили, но бог знает, правда ли это, будто, когда хотели заколачивать гроб, господин какой-то, весь закутанный в плащ, отдернул быстро покрывало и поцеловал покойницу в лоб — и будто Марья Ивановна вскрикнула, увидавши его,— и он быстро исчез,— но всему верить нельзя, в Молчановке так много выдумывают. Марья Ивановна не только любила внучку, но все чего-то боялась за нее. «Вяжи,— говорила она ей строго,— не гляди у меня по сторонам, а то я тебе». Случалось и побьет ее. Дуня была, может, единственное существо, которое действительно боялось Марьи Ивановны. Она понимала, что бабушка любит ее, заботится об ней, но понимала тоже, что, пожалуй, и достанется от бабушки. Печально проходило ее детство, вечно за чулком, вечно на маленьком зеленом сундучке,— иногда она грустно останавливала на бабушке полные слез глаза. «Что ты?» — спрашивала Марья Ивановна. «Устала»,— отвечала робко Дуня. «Устала! вот еще, ах ты лентяйка — вяжи». И ребенок со вздохом вновь принимался за работу. Когда Марья Ивановна поколотит, бывало, Дуню и та расплачется, Марья Ивановна ей строго говорила: «Ну об чем плакать, ведь я тебя на доброе наставляю»,— и Дуня стихала, как будто соглашалась с словами бабушки. А у Марьи Ивановны, как говорится, муха сидела в голове: что вот, дескать, того и гляди и Дуня будет такая же горемыка, как покойница ее мать, разве только вечной работой можно выбить дурь из девичьей головы; ее мечта была выпросить вольную Дуне и шестнадцати лет поскорей выдать ее замуж за какого-нибудь вольного мастерового, хоть бы за небогатого, все равно; деньжонки водились у старухи; только она часто с трепетом про себя повторяла: «Доживу ли, господи, доживу ли?» Странно, как людям отрадно мучить друг друга даже без нужды; кажется, что бы стоило Катерине Петровне, Сашиной матери, бойко и немного криво подмахнуть свое имя на гербовом листе, а между тем она не уступила в том ни просьбам свекрови своей, ни слезам

дочери, ни мольбе старухи, служившей ей тридцать лет,— ничто не могло переломить ее каприза. «Жалею,— говорила она,— да что вы пристаете, разве вы мне не верите?» И все были принуждены молчать. А бедная Марья Ивановна тем более сокрушалась, что она была, что называется, человек сырой и, по словам всех опытных людей («обучать не стоит»), так ее враз и унесет.

Катерина Петровна была сорокалетняя женщина, пустая и, как говорится, добрая женщина, хотя доброты в ней мало было, она любила только себя да Сашу, но любовь ее была какая-то порывистая, неровная, то побалует, то несправедливо взыщет. У нее была страсть к нарядам и к закупкам: разносчики дня по три живали в Молчановке.

Вставала Катерина Петровна очень рано и бог знает для чего: целое утро проходило за туалетом, наконец она являлась кофе кушать — зимой в столовую, а летом на террасу; и с этой минуты до той, когда она закрывала глаза, она была в постоянной суете: то приказывала повару, то заводила диссертацию с клюшней об разных приготовлениях на зиму, а было еще лето: «Нынешний год что-то огурцы не были так вкусны, а вот в прошлом году это были не огурцы, а объядение»,— говорила она с важностью в лице. Ключница Настасья слышала эти замечания каждый год и, признаться, слышала их довольно равнодушно; чтоб прервать Катерину Петровну, иногда она быстро наклоняла голову и пристально смотрела вверх: «Кажись, пчела?» — говорила она будто про себя. Это сейчас делало диверсию, потому Катерина Петровна очень боялась пчел. Иногда Настасья резко кашляет в руку и начнет, будто не слыхала слов барыни, жалобу на повара. «А что, матушка Катерина Петровна, прикажете делать с Васильем? Такой разбойник! на один суп трех кур взял да и то недоволен. Побойся бога, говорю, Василий, куда это три курицы. Такой разгром точно архирей с певчими наехал. А он что, разбойник, говорит: мне что, пожалуй не давайте, бульон будет жидок».

«Да, три курицы — это много»,— задумчиво говорила Катерина Петровна.

«Он просто, матушка, озорник,— подхватывала Настасья с новым жаром,— куры-то на чердаке живут над кухней; истинно говорю, матушка, побожиться могу, только из-за кур как будто не приходится. В воскресенье

я сама полюбопытствовала, он был на охоте; дай, думаю, своими глазами посмотрю, правду ли народ болтает. Десять кур, матушка, десять!» — «Да, может, не наши»,— перебила ее ошеломленная Катерина Петровна.

«Как не наши? ведь я их знаю — ряпинькая сама подошла. Да это всем известно. Он как-то с прачкой, с Акулькой, побранился, а она такая вострая: «Вы, говорит, что-то, Василий Михайлович, много бульону пролили на чердаке»,— в кухне-то смех поднялся, он так и вспыхнул, а она давай бог ноги!»

Барыня не без удовольствия слушала подобные рассказы, она любила знать все, что происходит в доме. Настасья знала эту слабость и всегда приходила с запасом подобных ужасов. Зато между Настасьей и Марьей Ивановной существовала вечная вражда — напрасно они мирились, напрасно в прощальные дни клали друг перед другом земные поклоны и целовались с непритворными слезами на глазах,— все было напрасно, с другого же дня начиналась скрытая, подавленная вражда, и дня три спустя она обнаруживалась резко,— и все говорили с улыбкой: «Ну, теперь до будущих прощальных дней!» Настасья часто оставляла Катерину Петровну в страшном раздумье: кем бы заменить Василья повара, но это оказывалось совершенно несбыточной мечтой — никто так хорошо хлебы не пек и никто не умел делать мороженье, как он. От Василья она перешла к Трофиму; сбыть его в солдаты, а он был хромой, да и годы ушли, была тоже ее постоянная мечта; и именно эта невозможность имела для нее что-то особенно привлекательное. И по нескольку раз на дню она возьмет ревизские сказки, отыщет имя Трофима и задумается: «Ах, как досадно, ему тридцать восемь лет!»

Сам председатель рекрутского присутствия говорил ей: «Будь он только хромой, я бы его принял, или будь он годом или двумя стар — но и то и другое, это уж бросается, так сказать, в глаза начальству».

Она вздыхала — а Трофим знал все это и только презрительно пожимал плечами. Раз Саша, весело вбегая на балкон, застала мать за ревизскими сказками: «Ах, как хорошо в саду, бабушка у меня сидит в беседке, да вот забыла очки — а вы что нейдете, чудо?» — «Ах, погоди, друг мой, я все думаю, на беду он такой старообразный».— «Кто, maman?» — «Трофим. Мне так бы хотелось

отдать его в солдаты».— «Зачем же в солдаты? Они так счастливо живут».— «Душа моя, да разве я об этом думаю?» — «А что же, maman?» — «Да он такой грязный и грубый».— «Возьмите другого».— «Да он лишний, что ж он будет делать?» — «Он сапожник, он может работой жить».

Катерина Петровна растерялась: «Ах, душа моя, ты ничего не понимаешь, ты молода еще, чтоб давать советы». Саша покраснела, взяла на столе очки и побежала к бабушке.

Агафья Степановна, бабушка Саши, была старушка маленького роста, лет шестидесяти пяти; черты ее правильные и тонкие, и маленькие карие глаза носили отпечаток ума и спокойствия. Глядя на нее, становилось легче жить, как говорят. Она была задумчива, говорила довольно мало, но всегда приветливо со всеми; в улыбке ее было что-то такое доброе и ласковое, что все были привлечены к ней. В хозяйство она уже вовсе не вступалась и только изредка останавливала суетливость Катерины Петровны. Каждый, кто видал бы их раз или два, понял бы, что не будь между ними этого живого союза Саши, этим двум женщинам нечего бы делать вместе. Однако они жили хорошо, Агафья Степановна многое выносила молча, Катерина Петровна хотя внутренно и кусала губы, но принимала с уваженьем короткие замечания свекрови.

Когда Саша уселась на скамейке у ног бабушки и раскрыла было книгу, Агафья Степановна спросила ее с удивлением:

«Что же ты так раскраснелась, Саша?»

«Ничего, бабушка, так».

«Так? да у тебя никак и слезы на глазах, кто-нибудь тебя огорчил?»

«Не спрашивайте, бабушка, это ничего, не хочется рассказывать».

«Не говори, друг мой, коли не хочется. Странно,— продолжала она, будто про себя,— так людям значит огорчать друг друга! Кабы они знали, как они сами портят жизнь, безделицу-жизнь, богатство из богатств!»

«Да, не все не понимают,— возразила живо внучка,— вот вы никого не огорчаете».

«Не говори так, дитя мое, я уж отжила, и на моей душе много слез — много, много пало слез. Оставим все это, забудь свою печаль и дай мне отвернуться от прошедшего и

взглянуть на будущее, на это свежее личико, на это светлое сердце,— сказала бабушка и поцеловала Сашу.— Возьми свою книгу, где бишь ты остановилась? И во всем я виновата, ну зачем я забыла очки? Все старость. Меня очень интересует этот рассказ об охоте, хоть я и старуха, но я сочувствую храбрости, отваге, с которой охотник идет на дикого зверя — убивая его, он спасает жизнь, может, не одному человеку, и заметь еще, подвергается страшной опасности без всякого возмездия. Это не то, что в военном деле, каждый знает, что слава ожидает его в случае успеха, тут больше самолюбия, чем истинной храбрости. Но читай, дитя мое, время летит, уж недолго и до обеда».

Саша стала читать, однако скоро им помешал лакей, одетый в ливрею. Он шел ровным, тихим шагом по дорожке и нес письмо на серебряном подносе. Саша увидела его; она не смела прекратить чтения, потому что бабушка слушала внимательно, но сама она читала рассеянно, невольно она задавала себе вопрос: от кого бы это? Так в деревне все тихо, что и письмо событие, особенно не в почтовый день. Бабушка медленно взяла письмо и спросила человека:

«Откуда?»

«Из Белых Полей с нарочным,— отрывисто отвечал Архип,— ответ будет?»

Агафья Степановна, не отвечая, стала читать письмо. Саша не спускала глаз с нее.

«Вели подождать посланному да скажи, чтоб Параша принесла бумаги, чернила да перо и пакет тоже чтоб захватила. Ах, как я рада, вот неожиданно».

«Что, бабушка, от кого это письмо?» — перебила ее Саша.

«От Сергея Михайловича — я очень любила его мать, она была славная женщина, давно уж ее не стало,— сказала Агафья Степановна со вздохом,— оставила она только одного ребенка и того тотчас увезла к бабушке в Симбирскую губернию, так Белые Поля и опустели, а то мы часто туда езжали в старину, да где тебе помнить, ты у кормилицы тогда была. Отец Сергея Михайловича,— ну, царство небесное, и его теперь уж нет в живых,— любил, чтоб дом был всегда полон гостей — иные живали у них по нескольку дней,— она была другого нрава, но ни в чем не перечила мужу».

«Что же он пишет, бабушка?»

«Он просит позволения приехать к нам, милости просим, я очень, очень рада познакомиться с сыном Надежды Ивановны. Сбегай к мамаше и спроси, в какой день лучше его звать обедать, вот возьми его письмо».

Саша пустилась как стрела по дорожке и скоро воротилась с ответом. Катерина Петровна думала, что лучше звать его на послезавтра.

«Ну, садись, Саша, да пиши,— сказала бабушка,— вот и Параша с бумагой».

Агафья Степановна продиктовала внучке очень дружескую записку к Сергею Михайловичу с приглашением отобедать в середу в Молчановке. Долго тянулись эти два дня для Саши,— ее любопытство было затронуто; ей было уже шестнадцать лет, и ей редко случалось видеть посторонних; но, правду сказать, обыкновенно она не скучала, у нее много было дела, то чтения с бабушкой, то фортепьяно, она не только играла на фортепьяно, но и пела — без учителя, правда, однако голос ее был звучен и верен — она могла петь все, что слышала хоть раз. Летом прогулки в лесу с Машей, ее молочной сестрой, в поле, на гумно, с бабушкой к больным каждый день; она уж год как ездила верхом, мать подарила ей премиленькую лошадку, она не шла, а летела; зимой, конечно, было поскучней, катанье в санках, тоже каждый, однако, день к больным и к бедным, по вечерам она шила для них, переделывая и выгадывая из своих старых платьев,— а там к старой няне зайти, Дуню читать поучить — часто она уводила ее в сад под этим предлогом и там играла и бегала с ней половину урока; бедной Дуне только и было отдыху, что учиться у барышни. Старая няня подозревала немного Сашу, потому что Дуня слишком охотно бросала чулок, когда Саша ее звала. «Вы ее избалуете у меня. Смотри, ты учись и слушай барышню»,— говорила она строго Дуне, но Дуня уж была за дверью.

И несмотря на все эти занятия, Саша не знала, как дождаться середы,— приезд молодого человека — событие в деревне, особенно когда молодой человек из Петербурга. Катерина Петровна накануне с утра имела совещание то с поваром, то с Настасьей, послали в город нарочного, послали за рыбой верст за двадцать пять, а между тем всего было довольно в Молчановке, но Ка-

терине Петровне хотелось, чтоб обед был необыкновенный, ничего бы не имел общего с ежедневным обедом. Агафья Степановна смотрела на все эти приготовления с улыбкой.

«Э, мой дружок,— говорила она Катерине Петровне,— зачем все эти хлопоты, стол наш всегда хорош, а он молод,— проедет десять верст — так будет хорошо обедать».

«Ах, маменька,— отвечала суетливая Катерина Петровна,— я уверена, что он привык к такому столу и ничего не найдет в нем лишнего».

«Ну, как хочешь, друг мой»,— сказала Агафья Степановна и вышла на террасу. Там она нашла Сашу. Солнце ложилось и освещало лес красными лучами. Старушка прищурилась: «Посмотри, как хорошо, Саша, но ветер будет сильный завтра, видишь, какое красное солнце? Даже больно смотреть».

«Да, бабушка, очень хорошо,— отвечала Саша немного рассеянно,— а которая дорога из Белых Полей?»

«Из Белых Полей? Да Чумякинская, ведь ездят на Чумякино из Белых Полей. А что?» — спросила простодушно Агафья Степановна.

«Да так, бабушка, мне хотелось знать, с какой стороны приедет этот гость».

Старушка погрузилась в свою обычную задумчивость, и Саша тоже об чем-то задумалась, даже так задумалась, что не слыхала звонкого голоса Маши у калитки:

«Барышня, а барышня,— кричала молодая девушка, белая и румяная, с вздернутым носиком и с веселыми, бойкими глазами.— Александра Владимировна! барышня — осипну — что это с вами?» — вскричала с досадой молодая девушка.

Саша вдруг встрепенулась и в один прыжок очутилась у калитки.

«Смóтрите, да не видите, вот как задумались, об ком эта крепкая думушка?» — лукаво спросила Маша. Саша покраснела.

«Да что же ты так тихо звала меня, Маша?»

«Подите, тихо,— возразила Маша, стягивая крепче клетчатый платок на голове,— тихо звала, я и то не смею вашу баушку — господь ее знает, каждусь ли я ей».

«Ну вот, Маша, какой вздор, будто боишься бабушку: бабушка такая добрая».

«Знамо добрая, да она все больше убогих да калек любит, а меня-то — бог знает,— сказала насмешливо Маша,— я вот что, матушка барышня, шла вра́гом с работы да гляжу — такая крупная клубника, дай, думаю, снесу моей барышне... нате-ка, неколи теперь, батюшка ждет у поворота — завтра забегу, може, за блюдом».

«Благодарствуй, благодарствуй, Маша, чудная клубника»,— успела только закричать ей вслед Саша.

Скоро все они собрались в гостиную. Саша села за фортепьяно, Катерина Петровна ничего не делала, а Агафья Степановна раскладывала.

«Не выходит сегодня»,— говорила она серьезно озабоченным тоном.

Подали чай в столовую; Саша пошла первая разливать — в одиннадцать часов пошла спать. Когда Сашу крестили и целовали, она с радостью подумала: «Ну и последний день прошел — завтра середа».

С утра все в доме засуетилось: Марья Ивановна заставляла девушек мыть окна, обметать паутины; Катерина Петровна то и дело звонила и требовала то повара, то Настасью. Нередко впопыхах Настасья и Марья Ивановна сталкивались в дверях и злобно взглядывали друг на друга, потом на Катерину Петровну, как будто хотели сказать: кабы ее тут не было, мы бы потолковали. Одна Агафья Степановна была так же покойна, как всегда. День был жаркий, она отправилась в беседку и позвала Сашу читать. Саша была так же просто одета, как обыкновенно, немного, может, слишком à l'intims, но это не зависело от нее: открытое ситцевое платье маленького голубого узора, черный передник, короткие рукава и едва заметное шитье ниже платья, на шее черный бархат с пряжкой у волос — вот ее обычный наряд. Она не носила еще косы, ее черные волосы были зачесаны назад и вились немного сами собой. Для того, кто понимает красоту выраженья больше, чем совершенную правильность черт, Саша была удивительно хороша, особенно когда что-нибудь оживляло внезапно ее лицо. В настоящую минуту она казалась бы совсем в своей тарелке, если б не глаза ее — они беспрестанно перебегали от книги к Чумякинской дороге и от Чумякинской дороги к книге,— от этого движенья глаз происходило маленькое заиканье, так что бабушка заметила это, наконец, и спросила Сашу, не устала ли она.

«О нет»,— отвечала она, краснея, и больше не отводила глаз от книги.

Наконец, в час показался верховой на Чумякинской дороге, но никто не обратил на него вниманья, все ждали коляску четверней.

Однако приезжий соскочил с лошади, отряхнул с себя пыль, покрыл бережно лошадь свою попоной и вручил ее конюху, прося ничего ей не давать без него; собаки разлаялись, на этот шум выбежал Архип в ливрее и, протирая глаза, спросил отрывисто: «Как прикажете доложить?» — «Сергей Михайлович Гаринов». Архип отворил ему дверь в залу и сказал лаконически: «Сейчас доложу». И через минуту он вернулся. «Приказали просить»,— сказал он и отворил дверь в гостиную. Казалось, Сергей Михайлович приготовился к встрече с Агафьей Степановной. Он радостно и даже с некоторым волнением вступил в гостиную и вдруг смутился — Катерина Петровна, разодетая, раздушенная, сидела одна на диване.

«Очень рада познакомиться, Сергей Михайлович,— садитесь, пожалуйста»,— проговорила она каким-то чужим голосом, или, лучше сказать, голосом, который употреблялся только для чужих,— в нем была какая-то неестественная мягкость, что-то певучее, что очень неприятно поражало порядочного человека, но бедная Катерина Петровна, должно быть, этого не подозревала.

Через несколько минут Сергей Михайлович совершенно оправился:

«Я так много слыхал от тетушки об Агафье Степановне, об ее дружбе с моей матерью, что, признаюсь, ужасно нетерпеливо желаю с ней видеться,— сказал он развязно,— и если я ее не стесню ранним посещением...»

«Пожалуйста, она давно в саду»,— перебила его Катерина Петровна и позвонила. Вошел Архип.

«Да нет, впрочем я и сама с вами пойду. Ступай»,— сказала она, обращаясь к Архипу.

Сергей Михайлович быстро встал, и они оба отправились в беседку. Агафья Степановна приняла Сергея Михайловича с неподдельным добродушием.

«Рада, бесконечно рада видеть вас,— говорила она, не спуская с него глаз.— Ах, как напоминает покойницу,— ведь я вас на руках носила, сколько раз вы у меня на коленях засыпали, нянюшка зовет укладывать, а вы нейдете, бывало...»

Сергей Михайлович улыбался радостно и вместе конфузился немного. Саша не могла удержаться от смеха, она крепилась, крепилась и, наконец, разразилась звонким детским смехом.

«А,— сказала Агафья Степановна,— вот кстати напомнила о себе, а я забыла вас познакомить: Саша, внучка моя, ну она знает вас, я ей об вас не раз рассказывала... Да что ты смеешься, тебе странно, что Сергей Михайлович засыпал у бабушки на руках, ну, а ты-то сама ведь давно ли, кажется, была у кормилицы, а теперь ведь какая длинная стала».

Катерина Петровна заговорила об охоте, об лошадях. Сергей Михайлович ей отвечал, но видно было, что ему более хотелось, чтоб Агафья Степановна рассказывала об минувшем времени. Однако разговор этот не наладился. Скоро показался лакей с салфеткой в руке и произнес скороговоркой: «Кушать поставили». Все встали, Сергей Михайлович подал руку Агафье Степановне, и все отправились на террасу, где суп уже стоял на столе. За обедом Сергей Михайлович еще попробовал вызвать воспоминания старушки.

«Я не только не знаю мать свою, но и отца чуть помню, ведь он немногим пережил матушку».

«Да, я слышала, года через два и он скончался»,— сказала задумчиво Агафья Степановна.

«Он ведь оставил Белые Поля — не мог здесь жить; говорят, его тревожили воспоминания».

И опять Катерина Петровна как-то вмешалась неловко, и разговор принял другой оборот.

«Дали ли овса лошадям?» — спросила заботливо Агафья Степановна у Архипа.

«Они не приказали»,— возразил он.

«Да, я просил не давать, я верхом приехал, лошадь была немного горяча».

«Вы верхом приехали? Саша наша тоже ездит, покажите ей вашу лошадь, она страстная до них охотница»,— сказала Агафья Степановна.

«С большим удовольствием, только эта лошадь не из лучших, у меня есть маленький завод, я был бы очень рад показать его. Александра Владимировна, если вы когда-нибудь захотите взглянуть на Белые Поля, вспомнить старое время и об нем потолковать... я почти ни до чего не

касался, так хочется сохранить все, как было при матушке».

«И хорошо сделали,— сказала живо Агафья Степановна.— Как я не люблю, когда молодые выбрасывают старину за окно. Каждый стул, каждая безделица так живо, так живо напоминают нам тех, которые нас оставили навсегда. Приеду,— продолжала она,— непременно приеду в Белые Поля еще раз перед смертью взглянуть на дом, где молодая женщина так привязалась к старухе, где мы беседовали по вечерам так часто около вашей кроватки. Славная женщина была ваша матушка, и ни от кого вы не услышите другого отзыва».

После кофею все отправились в сад, он очень понравился Сергею Михайловичу, быть может оттого, что это скорей была роща, чем сад, только дорожки были выметены и много было поставлено скамеек. Часто все общество садилось на несколько минут, потому что Агафья Степановна не могла долго ходить. Час спустя Сергей Михайлович начал прощаться, но его не пустили.

«Полноте, зачем это? Что за церемонии, поживите»,— говорила Катерина Петровна.

«Останьтесь, если вам с нами не скучно,— ведь мы тихо живем, очень тихо»,— сказала, улыбаясь, Агафья Степановна.

И Сергей Михайлович остался.

«Очень радостно принимаю ваше приглашение, только в таком случае позвольте мне взглянуть на мою лошадь».

«Саша вам покажет ближнюю дорогу через сад, и вы ей покажите вашу лошадь»,— сказала весело старуха.

ГУЛЕВОЙ

Повесть

ГЛАВА 1

Рождение

Animalia crescunt, vivunt et sentiunt?

Linne

В маленькой, тусклой и дымной избе раздавались глухие стенания страждущей женщины. Около больной, которая лежала на лавке, покрытой вместо перины старым, изорванным войлоком, суетилась низенькая, плотная, но проворная старуха в засаленном сарафане, с каким-то ухватом, покрытым платком, на голове — неизменный убор, не столько красивый, сколько неудобный, который называют кичкою.

— Скоро ли, Фекла? — спросила больная едва внятным голосом.

— Скоро, скоро, Авдотьюшка! — отвечала старуха.— Ведь вот кабы в бане, легче бы было; да ведь своей-то бани у меня нет. Где ей у меня быть, бане-то? Одинокая, матушка, одинокая! Совсем-то одинокая! Ох, ох, ох! Одинокая! Живу, вишь, в келье, матушка! Где ей у меня быть, бане-то? Да еще энтого поросенка Ваньку-то кормить надо! А у чужих просить баню ты сама не велела. Ну! Да уж я, кажись, избу-то так понажарила, что не хуже бани будет... Оно все не то, все не то, пущай...

Старуха, приговаривая, не переставала суетиться около больной молодой женщины, которой измученное лицо ясно показывало, что ей было не до разговоров.

— Фекла! — сказала больная, задыхаясь,— Фекла! Я никак не переживу этого!

— Бог милостив, Авдотьюшка, бог милостив, матушка! Вот кабы в бане...

— Фекла! у меня сил нет! Пошли за попом, Фекла!.. Грех с души сложить перед смертью!.. Пошли за попом, Фекла!

— Что ж, бог милостив! И за попом послать можно, матушка. Оно того — христианское дело, Авдотьюшка, христианское дело! Бог милостив! Все мы грешили, матушка! Все под богом ходим. Оно того...

— Пошли за попом, Фекла! Мочи нет! Пошли за попом!

— Пошлю, пошлю, Авдотьюшка! Небось — сейчас пошлю. Эй ты! Ванька! Что ты на печи завалился? Слезай проворней, байбак! Ну, а ты! Тебе эдак низко в головах, мать моя! Ляг-ко вот так, вот так! Вот оно лучше!.. Что ты не слезаешь, вшивый ты эдакий, прости господи? Говорят тебе, слезай проворней! А не то смотри, вот я тебя ужо!

Беловолосый мальчишка лет десяти слез с печи, прихлипывая и утирая нос рукавом рубашки.

— Беги скорей за отцом Евдокимом. Скажи, мол, чтоб проворней шел. Больную, мол, исповедать и причастить надо. Скорей бы, мол, шел. Ну! Куда ж ты сунулся, бесенок проклятый. А тулупишко-то где? Чай, зима студеная. Ах ты, мордвин беспамятный! Право, беспамятный!

Мальчишка надел тулуп и пошел за священником. На минуту холодом пахнуло в избу, и дым и пар понеслись в отворенную дверь. Ворвавшийся луч света озарил желтое, болезненное, но довольно приятное лицо страдалицы. Она жадно вдохнула свежий воздух, потом опять застонала, и вскоре на руках у Феклы очутился новорожденный ребенок.

— Мальчик! — сказала старуха, завернула младенца в какую-то онучу, потом в зипун и, положив в корыто, опять отправилась хлопотать около родильницы.

— Нет, уж я не встану, Фекла,— шептала Авдотья,— согрешила — бог и наказывает.

— И! Матушка! Зачем такое думать. Ведь ты молода, еще оправишься. Не ты первая, не ты последняя; грех со всяким случается, да ведь живут.

— Нет, Фекла, тяжело! все горит во мне, да так и ве-

дет... моченьки моей нет. О боже мой, боже мой! Мученье какое!

— Испей водицы, Авдотьюшка! Бог милостив, все пройдет.

— Да и на что мне жить, Фекла? Если и выздоровлю, куда я пойду с ребенком?

— Ах, мать ты моя! Чай, еще есть добрые люди на свете. Призрят...

Больная горько улыбнулась. Боль и душевная тоска выражались в ее потускневших глазах. Она хотела говорить, но силы ей изменяли. Тщетно старуха суетилась около нее, болтая без умолку; искусство деревенской повитушки было очень ограниченно. Вдобавок жаркий и дымный воздух избы, который Фекла находила не довольно жарким, душил больную.

Беловолосый мальчишка воротился.

— Ну, что ж отец Евдоким? — спросила Фекла.

— Говорит, что сейчас придет,— отвечал мальчишка.

— Что ж он делает, что нейдет?

— Что делает? Бог его знает, что делает. Осердчал что-то.

— А за что ж он осердчал-то? Попадью бранит, что ли?

— Ну! Попадью бранит, знать.

— Так уж и знала! Полштоф просит, что ли?

— Знать, полштоф просит.

— Э... э... эх! Отец Евдоким! И всем бы хорош! Уж вот душа-то какая! Смиренная! Да как начнет зашибаться да зашибаться, да сегодня, да завтра, да неделя, а ин и больше пройдет; так хоть святых вон вынеси. Ну! Что ж, Ванька? Ну! К дьячку Прохорычу беги. Скажи, мол, бабушка прислала скорей, мол, попа веди. Ну, пошел же, да проворней бегай, не то я ужо.

Беловолосый мальчишка побежал к дьячку.

— Фекла! — сказала больная,— я знаю, что умру скоро. Куда ты ребенка денешь, Фекла?

— И, мать моя! Полно ты кручиниться! Добрые люди примут.

— Покажи мне его.

Фекла принесла ей ребенка. Ребенок кричал. Больная стала кормить его грудью.

— Зачем я родила его? — говорила она.— Не оставь его, Фекла, после меня.

У старухи навернулись слезы.

— Не оставлю, мать моя! Вот тебе свят бог — не оставлю. В добрые люди отдам.

— В барский дом не отдавай,— с испугом сказала Авдотья.

— И! Авдотьюшка! Куда в барский дом, чай, и окромя отдам.

Больная зарыдала. Фекла отняла ребенка и, видя, что мать не может кормить его, отыскала старую тряпичку, свернула ее в соску, вытащила из печи горшок с топленым молоком, намочила тряпичку, всунула в рот ребенку и опять положила его в корыто.

Вскоре явился беловолосый мальчик и вслед за ним дьячок Прохорыч и отец Евдоким. Отец Евдоким совсем не был так пьян, как предполагала старуха, и исполнил свою священную обязанность с достодолжной кротостью. Он был человек лет сорока, маленький, худенький, и хотя его длинный нос и был изрисован разными красносивыми узорами, но лицо было добродушно и во взгляде было что-то довольно умное.

Окончив свою обязанность, отец Евдоким с нерешительным видом посмотрел на Феклу, на больную, на избу, как будто спрашивая: «Здесь, чай, ни копейки не водится?»

Погладил свою жиденькую бородку и робко спросил:

— А что, Фекла Кондратьевна, водочка есть?

— Куда у нас водочке быть, батюшка? Слава богу, что хлеб водится.

— Ну, ничего, ничего, Фекла Кондратьевна! Я ведь так только! Мне ничего не надо.

— Спасибо, батюшка!

Священник глубоко вздохнул и вышел. Но дьячок Прохорыч не трогался с места и, запустив руки в карманы, вполголоса начал вести разговор со старухой.

— Кто ж псалтырь-то будет читать, Кондратьевна?

— И! что ты, отец мой! Рехнулся, что ли? Чай, она еще не умерла!

— Да ведь уж не встанет, Кондратьевна. Видимо, господь к себе отзывает. А псалтырь-то для успокоения души потребен. А чтецу-то магарычи потребны, Кондратьевна.

— Где я тебе магарычи возьму, Прохорыч? Сама с трудом кормлюсь, а у Авдотьюшки ничего нет, кроме платья ситцевого да шубейки на заячьем меху. Грех попутал, прости господи! Как господа-то заметили, что у горничной

брюхо растет, и согнали, батюшка. Согнали... Э, эх! Оно ведь и поделом согнали. Господам терпеть нельзя этого, да ведь жаль мне ее. Девка была добрая! Уж она стягивалась, стягивалась, чтоб барыня не увидела, да нет! Шильца в мешке не утаишь! Ну! и прогнали, Прохорыч, и прогнали. Она-то, сказать, девка-то не своя, нанятая: девка вольная; согрешила, что ж и держать ее...

— Виноват медведь, что корову съел, Кондратьевна, виновата корова, что в лес ходила.

— О... ох! Вестимо, Прохорыч, вестимо!

— А псалтырь все же читать надо, Кондратьевна, для успокоения души потребно. А чтецу магарычи...

— Бога ты побойся, Прохорыч! Какие я тебе магарычи дам?

— Ну! Что ж, Кондратьевна! Я и не требую. И оборони меня бог требовать. Сама псалтырь читай, Кондратьевна. Богоугодное дело сотворишь.

— Не про меня писано, Прохорыч.

— А что ж делать, Кондратьевна! Зачем грамоте не училась? Надо было грамоте учиться, душеспасительные книги читала бы.

— Что ты надо мной, старой дурой, смеяться пришел, Прохорыч! Бог тебе судья. Наше дело темное...

— Ну, а за крестины-то кто заплатит, Кондратьевна?

— Я уж и сама думала, Прохорыч, сколочусь как-нибудь. Помрет — ее шубейку продам...

— Отдай ребенка Карпу Родивонову, в приемыши, Кондратьевна. Мужик богатый и богомольный, а родятся все девочки. Вот поди ты! Все девки родятся. Он мальчика возьмет, да рад будет. Вот что! И за крестины заплатит, и за погребенье заплатит, и за псалтырь заплатит, и тебе, старухе, на бедность подаст.

— Уж будто и мне, старухе, подаст! Куда мне! Куманек Прохорыч? А ведь статься может и подаст?..

— Да уж слушайся моего совета, Кондратьевна. На благо тебя наставлю. Ну, прощай, кума!

— Прощай, Прохорыч!

Больная лежала в каком-то забытьи. На дворе стало темнеть. Старуха впустила в келью низенькую, тощую коровенку и привязала за рог веревкой к какому-то гвоздю, так, что морда коровы приходилась прямо над сливным ушатом, над которым покачивался горшок с двумя ручками, служащий умывальником. Корова тотчас

задумалась над ушатом и стала что-то жевать про себя. Старуха зажгла лучину и принялась прясть, поплевывая на пальцы, чтобы легче сучилась нитка и вертелось веретено, и работала, пошептывая молитвы. Изредка вставала она и покачивала корыто с плачущим ребенком, обмакивала в молоко грязную тряпичку и опять совала ее в рот младенцу. Беловолосый мальчик давно опять лежал на печи.

Лучина сменяла лучину. Становилось поздно. Вдруг больная застонала и начала метаться и бредить. Старуха перепугалась и стала креститься. Помочь она не знала чем. Об лекаре в деревне и не слыхивали. Видала Кондратьевна, что мордовка-знахарка давала от всех болезней кало от черной коровы, распущенное в полугаре, да не всем помогала. Да и то, правду сказать, и полугара негде было взять старухе. Беловолосый мальчик соскочил с печи и с тупым испугом смотрел на больную. Лицо ее горело и судорожно двигалось. Она громко бредила, то звала какого-то Ивана и осыпала его упреками, то звала барыню и молила о прощеньи, и, вскрикнув: «Барин идет!» дрожала, как лист, и хотела подняться с лавки, но силы подняться не было, и она стонала. Старуха напрасно старалась ее успокоить и призывала на помощь всех святых угодников, которых имена приходили ей на память; бред продолжался до рассвета. Потом больная стала тише, глаза все становились мутнее, дыхание реже; наконец и глаза закрылись, а там и тело похолодело и жизнь прекратилась.

— Ах ты, моя молодушка горемычная,— проговорила старуха,— не долго пожила, да и не на радость родилась.

Она обмыла труп, уложила, как водится, рука на руку и покрыла холстиной. Потом, по обычаю, принялась вопить над покойницей на разные голоса тысячи импровизированных сожалений. На ее вой сошлися соседние старухи, любительницы повопить, и долго дикий хор был слышен далеко, далеко на селе.

* * *

В тот день, после обеда, князь Каймак-Чуфардзев, помещик села Сиволапина, полулежа, полусидя на диване в своем кабинете курил табак из длинного чубука с огромным янтарем, который, казалось, был изобретен

нарочно для распяливания рта курящего. Князь был в синем шелковом халате, одежда, которую он вообще предпочитал всякой другой, но в особенности считал удобною после обеда, как ничем не стесняющую желудка в великом деле пищеварения. Большие черные глаза князя являлись неизменно блестящими, но грубые морщины смуглого лица, проседь длинных черных усов и волос, остриженных под гребенку, показывали, что князь был человек не совсем первой молодости. Черты лица его были резки: длинный горбатый нос намекал на грузинское происхождение, в тонких губах было что-то лукавое, но вообще лицо выражало характер строгости и необузданной воли, а положение тела доказывало привычку к лени. Возле князя в больших креслах сидела рыжеватая дама лет под тридцать, весьма дородная и румяная, в чепце с лентами небесного цвета, черном атласном платье и пунцовой бархатной кацавейке. Нельзя было сказать, что она дурна собой, но и нельзя было сказать, что она хороша. Острые глаза не выражали ровного ничего, и вся ее персона, казалось, была погружена в сладостное, но животное чувство послеобеденного отяжеления. Возле нее на скамейке девочка лет четырех играла большою куклою с восковым лицом и стеклянными глазами. Поодаль коротенький, толстый господин в зеленом вицмундире сидел на кончике стула, как будто не смея усесться поспокойнее. Его широкое лицо, казалось, беспокойно чего-то ожидало, и узкие, заплывшие глаза из своих щелок подобострастно искали во взорах хозяина и хозяйки, когда нужно молчать, когда можно что сказать, когда надо улыбнуться.

— Ты говорил, Петр Николаич, что серого мерина продал,— сказал князь, обращаясь к коротенькому господину.

— Продал-с, ваше сиятельство,— отвечал коротенький господин, перебирая пухлыми пальцами обеих рук — движение, которое невольно являлось у него перед лицами, внушающими уважение.

— А кому ты его продал?

— Павлувцеву, ваше сиятельство.

— Павлувцеву! Ха! Ха! Ха! Да из каких доходов он покупает лошадей?

— Именье перезаложил-с, ваше сиятельство.

— А ты тотчас и воспользовался! А сколько стянул с него за мерина?

— Триста рублей взял-с, ваше сиятельство.

— Ну, брат, меня бы не надул. Лошадь сотни не стоит.

— Ваше сиятельство, как можно надуть-с! Вы первые знаток и в губернии-с. Да что ж делать-с? Жалованье маленькое; если не барышничать, чем же-с и жить придется?

— Исправнику, да нечем жить, так мы и поверим! А признайся: Павлувцев спьяну купил.

— Я в этом не виноват, ваше сиятельство. Известное дело! Его трезвым давно никто не видывал. Намедни приезжаю к нему, а он уж, знаете, понагрузился. Стоит середь комнаты в рубашке да на плечи простыню накинул и во все горло затягивает херувимскую. Я ему говорю: как это вам не стыдно, Андрей Александрович.

«То ли еще, братец, говорит, я и «силы небесные» знаю».

«Полноте, говорю, Андрей Александрович, лучше плясовую спойте».

«А! говорит, ты плясовую хочешь! Плясовую? Ну! Так пей! Эй, Гришка, водки! Да зови сюда Степку, Гаврюшку, Сеньку, Фомку, Агашку, Парашку, Лушку, всех, всех зови».

Водку подали, дворня сбежалась.

«Ну! говорит, без тебя, мой друг, постеля холодна! Гей, гей! Жги, говори!»

Дворня поет, Андрей Александрыч припевает, да прищелкивает, да всем водку подносит, да как сбросит с себя простыню, да в одной рубашке ну вприсядку откалывать. Просто глядеть и смешно и совестно, ваше сиятельство.

Князь засмеялся, княгиня улыбнулась.

— С чего он так избаловался? — сказал князь.— Отец его был человек степенный, именье оставил ему небольшое, но хорошее. Мог бы жить и поумней.

— Мудрено было не избаловаться, ваше сиятельство,— сказал исправник.— Мальчик остался молодой, старик был скуп, образования никакого не дал. Только у дьячка писать и читать выучился. А ведь какой был тихий ребенком-с, ваше сиятельство! Воды не замутит. Бывало, так и сидит за какой-нибудь книгой, четьей-минеей, что ли, там какая у дьячка найдется. А у самого покойника никаких книг не водилось, кроме приходо-расходной, и ту собственноручно такими каракулями писал, что и сам судья наш не разберет, даром что по французской книге кухарку учит варить соус из бараньей печенки. Мальчика же покойник держал строго; разве, бывало, когда старик

отъедет в поле или в городе по делу, так сынок увернется да в лес. Уж вот это любил Андрей Александрович, как был лет двенадцати, бродит себе, бывало, по лесу и домой насилу загонишь, и не знаю, какое удовольствие находил! А как помер старик, ну малому было лет восемнадцать, сейчас свору гончих завел да тройку лихую купил; посадит девок дворовых в телегу, сам правит и дует во все лопатки; да к водке понемногу все привыкал да привыкал... Ну! Уж теперь человек пропадший!

Князь погрузился в раздумье, изредка выпуская струи табачного дыма из рта и носа. Казалось, мысль его занята была судьбою спившегося соседа. Но на деле вышло совсем не то. Судьба соседа промелькнула мимо его ушей, нисколько не опечалив и не растревожив его.

— А что, Петр Николаич,—обратился он снова к исправнику,— ты говорил стряпчему о моем деле с Куничкиной?

— Говорил-с, ваше сиятельство!

— Ну! Что же?

— Стряпчий говорит, что можно-с. Чего же они для вас не сделают, ваше сиятельство?

— А документы?

— Конечно, у вас на землю документов не имеется, ваше сиятельство, да и у ней их нет.

— Да ведь она владеет?

— Так что же-с?

— Как что же?

— Это ничего-с. Сберем понятых, да за них, по их безграмотству, кто-нибудь руку приложит. С нее же взыщут за неправильное завладение.

— Ну! Уж это бог с ней! Мне только земля-то бы кстати, к самой пашне подходит.

— Будьте покойны, ваше сиятельство. Все сделаем-с. Куда ей с сорока душонками против вас тягаться? Уж это на что бы было похоже!

Дверь тихо отворилась, и мальчик в черкесском чекмене, с прорезой подмышкой, так что оттуда высовывалась не совсем белая рубашка, вошел на цыпочках.

— Что тебе надо? — спросил князь, наморщив брови.

— Приказчик пришел-с.

— Позвать!

Вошел длинный старичок в синем длиннополом сюртуке, низко всем поклонился и стал у двери, скрестив руки за спину.

— Ну! Что на заводе, Федосей? — спросил князь.

— Слава богу, все обстоит благополучно, ваше сиятельство! — отвечал приказчик.

— А Панфилку высек? — продолжал князь.

— Не извольте беспокоиться, Давид Самойлович! Сотню горячих задал.

— Гм! — сказал князь,— вообрази, Петр Николаич, что способу нет! Поставил своего винокура, и с неделю все хорошо шло. Вдруг рожа у него разбухла, и спирт потек, разве только из-под крана, прямо к нему в рот. Принужден был опять жида взять.

Петр Николаич покачал головой и закусил нижней губой верхнюю в знак великого огорчения, которое должно было произвести на него это известие.

— А что жид? — спросил князь.

— Жид, что и говорить, мастер своего дела,— отвечал приказчик.— Как можно сравнить с Панфилкой, ваше сиятельство! К тому ж — с поведением.

— А как выход?

— Да жид еще не начинал, Давид Самойлович, говорит, что трубы не годятся.

— А отчего ж они не годятся? — вскрикнул князь, вскочил и начал ходить по комнате.

— Придется переправить,—спокойно сказал приказчик.

— А давно ли их переправляли? Ведь с осени переправляли?

— Переправляли, ваше сиятельство. Казалось, на что лучше! Да не годились.

— Вы все мошенники, обкрадывать меня собрались. Постой, голубчик, я доберусь до тебя. Почему ж трубы не годились?

— Неспособны, ваше сиятельство,— отвечал приказчик с неизменным хладнокровием.

— Почему ж неспособны? Чего же ты смотрел?

— Да я, кажется, старался насколько сила есть, Давид Самойлович, и, казалось, хорошо было.

— Чего ж хорошо, когда ни к черту не годятся.

— Оно, точно, неспособны, ваше сиятельство.

— Я вижу, что ты просто вор и разбойник,— все громче и громче кричал князь.

Приказчик заморгал глазами и прослезился.

— Кажется, тридцать лет служу господам; батюшке Веры Николавны двадцать пять лет выслужил и дурака

никогда не слыхал; вот уже вашему сиятельству шестой год служу. Кажется, убытку не наделал.

— А отчего же трубы неспособны? Говори, говори сейчас, отчего трубы неспособны?

— Неспособны, ваше сиятельство,— с прежним хладнокровием отвечал приказчик.

Князь еще несколько раз в волнении прошелся по комнате, потом поставил чубук в угол и сел опять на диван.

— Никакой переделки без меня не начинать! Слышишь?

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Я сам завтра на завод поеду. Слышишь?

— Слушаю, ваше сиятельство. Оно и не худо бы-с!

— А давно ты с завода приехал?

— Часа два будет, ваше сиятельство.

— А что ж ты давно не пришел? Что ты? Спать повалился, что ли? Я до тебя, голубчик, доберусь, дай срок.

— Дельце было, ваше сиятельство!

— Какое дельце?

— Да вот на селе случай такой вышел. Уж не знаю, Давид Самойлович, как и доложить вашему сиятельству!

— Говори!

— Да, вот Дунька то-с, что у Веры Николавны в горничных была...

— Ну!

— Родила мальчика-с!

— И что ж ты ее из села не выгнал! Разве я не приказывал?

— Виноват, ваше сиятельство. Сам на заводе был, а сторож недосмотрел. У Феклы, у повитушки, в келье и родила.

Вера Николаевна, которая все время оставалась в несмущаемом безмолвии, вдруг выпрямилась во весь рост, румяное лицо ее покраснело пуще прежнего, и серые глаза наполнились неожиданной злобой.

— Так вы и из села-то ее выгнать не умели? Хорошо, Давид Самойлович, очень хорошо! Весьма приятно. Всякую непотребную девку беречь и оказывать ей покровительство. Ее давно надо было выгнать. Я сама дура, что так давно терпела, только третьего дня, уж мне слишком показалось неприлично, так велела ей раздеться до нага, чтобы удостовериться, и удостоверилась: девка была брю-

хата на сносе, и вы еще здесь ее два дня держите! Какая безнравственность!

И Вера Николаевна с отчаяньем опять упала на кресла.

— Ну, что ж ты, друг мой, раскричалась? Не нянькой же было мне ходить за Дунькой! Ведь я велел ее из села выгнать! Что ж ты не выгнал, старый плут?

— Да уж теперь ее, сударь, не выгонишь,— сказал приказчик,— приходится в сиволапинскую землю зарыть.

— Разве она умерла?

— Умерла, ваше сиятельство.

— Вот оно, вот оно! — вскричала княгиня, быстро ходя взад и вперед по комнате, так что исправник, боясь, чтобы она его не зацепила, встал и съежился между стеной и углом печи.

— Вы всегда так, Давид Самойлович, на пагубу людям пороку потворствуете! Да хоть она и не сказала кто, а уж я уверена, что это ваш проклятый камердинер Ванюшка. Уж как хотите, Давид Самойлович, уж вы его или примерно накажите, или в солдаты отдайте, или в Сибирь сошлите на поселение, или...

— Ну, уж какое тут или, Вера! Дальше сама ничего не приберешь. И что же ты сердишься? Девка забрюхатела невесть от кого, а я посылай в Сибирь лучшего моего человека. Да и девка умерла, да и что ты из пустяка расходилась? Я, Вера, знаешь, до этого не охотник.

— Там как тебе угодно, Давид Самойлович, а уж быть Ванюшке с бритым лбом.

— Перестань, Вера, надоела! — сказал князь.

Вера, запыхавшись, уселась на кресле, говоря про себя: «Быть Ванюшке на поселении, уж так не отстану, поставлю на своем».

— Перестань,— грозно вскричал князь, хлопнув кулаком по столу, неподалеку от него стоявшему.

— Чтоб я перестала? — возразила княгиня, не теряя нисколько одушевления,— чтоб я перестала вступаться за права добродетели? Этого вы от меня никогда не дождетесь, Давид Самойлович! И какой же пример вы подаете вашей дочери, когда так явно покровительствуете разврату?

В это время четырехлетняя девочка, смотревшая на мать с недоумением, так неосторожно уронила куклу на край стула, что у куклы вылетел стеклянный глаз, и девочка расплакалась.

— Поди ко мне, дочь моя! — продолжала Вера Николаевна, взяв девочку на колени,— поди сюда, я не позволю смущать твое воображение такими непристойностями.

Девочка разревелась.

— Перестаньте дурачиться, Вера Николавна, и уймите дитятю,— сказал князь хладнокровно.— Вольно ж вам было нанимать девку, будто своих мало.

— Да, вы хотите, чтоб у меня была девка, которая иголки в руки взять не умеет, прекрасно! — возразила Вера Николаевна, утирая платочком слезы дочери.

— Очень хорошо! А кто же будет ковры ткать? А кто будет шальки прясть? Где вы достанете полотна для ваших кальсонов, если я буду набирать своих уродов себе в горничные? И очень красиво: горничная в затрапезном платье и босоногая! Соседям на смех, что ли?

— Да ведь я думаю, всякую девку одеть можно, как хочешь,— с прежним равнодушием заметил князь.

— Как! Своих крепостных девок да еще наряжать? Это чересчур забавно!.. Ступай к няне, Варенька! Видишь, твой папа сегодня все говорит непристойности. Где няня? Позовите няню!

Из соседней комнаты вошла старуха, повязанная платком, упрятывая шерстяной чулок со спицами в карман, и, взяв Вареньку на руки, унесла ее, приговаривая:

— Об чем это мы, барышня, разгневались? А вон в зале кошка бегает, вот мы ее за хвост поймаем, сейчас поймаем. Вишь, кошка шалунья какая. Кошка плачет. Кошку прутиком надо! А не то пойдем у Аграфены пирожка попросим...

Приход и уход няни прервал красноречие Веры Николаевны, и князь обратился к приказчику.

— А куда ж мальчика девали? — спросил он.

— Карп Родивонов берет, ваше сиятельство,— отвечал приказчик.

— Как? — снова вспыхнув, вскричала Вера Николаевна.— Вы и всякому скверно рожденному даете у себя место? Превосходно!

— Погоди, Вера, речь твоя впереди. Не даст слова сказать. Я рассержусь не на шутку.

Последние слова князь произнес голосом настолько холодно грозным, что Вера Николаевна сочла благоразумным замолчать.

— Ты говоришь, что Карп Родивонов берет. Но ведь

усыновлять дозволено только казенным крестьянам и вольным хлебопашцам. Стало, если он и вскормит мальчишку, то мальчишка все-таки останется вольным, потому что рожден от вольной?

— Точно так-с, ваше сиятельство,— заметил исправник.

— Ну, а я этого не хочу! — сказал князь.

— Воля ваша, Давид Самойлович,— сказал приказчик,— можно его в чужую деревню подкинуть.

— А за что ж у меня мужик пропадет? Ведь мальчишка вырастет, мужик будет? Ну, за что ж его отдать, благо родился.

— Я думаю-с, этому можно пособить, ваше сиятельство,— заметил исправник, который уже вылез из-за угла и опять торчал на кончике стула.

— Как же пособить? Ну, говори, господин законник!

— Да просто попу сказать, чтобы записал его в метрической книге сыном Карпа Родивонова. Мальчик и останется вашим крепостным.

— Браво! — воскликнул князь и, встав, потрепал по плечу исправника.— Ты, право, молодец, Петр Николаич! Оставайся у меня ночевать и завтра сам растолкуй это священнику.

— И рад бы, ваше сиятельство, да не могу-с, завтра рано на следствии должен быть.

— На каком следствии? Что у вас там за следствия? После все сделаешь.

— Никак нельзя отложить-с, ваше сиятельство. В деревне Тупотыкине уголовное дело случилось. Управитель неловко хватил мужика в висок: тот и умер. Мы с лекарем назначены быть там завтра утром.

— Вот оно что! — сказал князь, обращаясь к приказчику,— ты это замотай себе на ус, старый плут. Слышишь? По лицу никогда не бить! Слышишь?

— Слушаюсь-с, ваше сиятельство. Ведь я и сам всегда остерегаюсь, лучше посечь, когда надо. Оно спокойнее.

— Разумеется,— сказал князь.

— Оно, конечно, ваше сиятельство,— продолжал приказчик,— кабы мужик чувствовал, как должно, ваши милости, так и того бы не нужно. А то нельзя-с. Ничего и делать не станут.

— Так поди ж теперь к попу и скажи ему, чтобы сделал, как говорил. Я ему весной новую избу выстрою.

— Слушаюсь-с, ваше сиятельство.

— Ступай!

С тех пор как речь зашла о приписке новорожденного, лицо Веры Николаевны прояснилось и приняло прежнее выражение невозмутимого спокойствия. Жажда власти, которая, как Наполеона и Марию-Луизу, тесно связывала двух супругов, воцарила между ними прежний мир и прежнюю симпатию.

Вера Николаевна подошла к мужу и сказала ему:

— Прости меня, мой друг, что я немного погорячилась.

И оба почти нежно поцеловали друг у друга руку.

ГЛАВА 2

Вера Николаевна. Князь Каймак-Чуфардзев

За шесть лет до рассказанных событий в одной из великороссийских губерний квартировал армейский гусарский полк. В губернский город на зиму съезжалось много помещиков и жило весело. Беспрестанно повторялись длинные обеды, вечера, где бостон и вист собирали вокруг зеленых столов людей степенных и дам в величавых чепцах и тюрбанах, и балы, где танцевала молодежь, а иногда и старички, за недостатком кавалеров, выплясывали мазурку. Словом, образ жизни в губернском городе напоминал не только Замоскворечье, но и любые аристократические салоны Москвы. Это, как и следует, привлекало в губернский город гусарских офицеров, между которыми являлся и знакомый наш ротмистр князь Давид Самойлович Каймак-Чуфардзев. Он был тогда на вид человек лет тридцати, красивый мужчина, стройный, высокого роста, седина еще не пробивалась в его завитые и тщательно напомаженные усы; он превосходно умел носить мундир, щегольски пожимал то тем, то другим плечом, когда нужно было выказать блестящие эполеты, ловко брящал шпорами и кстати умел опустить саблю, чтоб она погремела, или поддержать, чтобы она сопроводила его в безмолвии. Свой прежний и даже настоящий род жизни он искусно умел одеть мраком неизвестности не только перед посторонней публикой, но даже перед своими товарищами. Так, например, он жил как богатый человек, хотя

никто не знал, есть ли у него состояние. В карты он играл и выигрывал беспрестанно, но никогда не был заодно с шулерами, которые являлись между офицерствием, и послужив немного, или переходили в другой полк, или вовсе выходили в отставку, унося на щеках не совсем достославный след тяжеловесной ладони обыгранного товарища. Офицерами князь Каймак-Чуфардзев был любим, потому что был веселый малый, всегда готовый на всякую молодую шалость, на всякую живую пирушку и которого желудок переваривал безукоризненно всякие обеды и ужины и голова не кружилась от дюжины шампанского. С полковником он был в самых приятных отношениях, так, что не раз был назначаем ремонтером и, доставляя для полка лошадей, никогда не подвергавшихся бракованию, умел еще приводить на свой счет несколько, а может быть, и больше отличных коней, которых продавал офицерам за самые умеренные цены. С солдатами он всегда обращался хорошо и наказывал палками только разве когда вздумается. Служив некогда на Кавказе, он был известен как храбрый офицер; но он старательно избегал всяких столкновений, где дело могло дойти до дуэли, хотя всегда являлся готовым секундантом там, где ссора очевидно должна была кончиться выстрелом пробки с надписью «Veuve Cliquot».

Князь Каймак-Чуфардзев в сопровождении денщика примчался в губернский город в открытых санях, на тройке почтовых и остановился в гостинице «Город Единбург», единственной гостинице города, на вывеске которой также был написан масляными красками бильярд и два господина в коричневых фраках, в одно время, оттопыря локти, метившие в желтый шар. Проезжая по улицам, князь Каймак-Чуфардзев видел бесконечные заборы, из-за которых иногда торчали голые сучья акаций, составлявших свод крытой аллеи, но большею частью ничего не торчало; дома, окрашенные дикой или желтой краской, с красными деревянными крышами, и изредка большие каменные дома с железной крышей. Каменные дома более привлекали внимание князя, так что при виде каждого большого каменного дома он невольно чувствовал желание, чтобы этот дом был его собственностью. И не мудрено! Прослужив лет пятнадцать, он имел сильную потребность прочного и приятного успокоения.

На дворе гостиницы князь Каймак-Чуфардзев видел

много отложенных саней с высокими спинками, полуоткрытых возков и совсем закрытых баулов; встретил знакомых денщиков и незнакомых лакеев и отправился занять номер, к которому трактирный слуга указывал ему дорогу. При входе в гостиницу князь невольно зажал себе нос, что уже люди привычные обыкновенно не делают. Князю отвели комнату двумя окнами на улицу. Мебель в комнате была хотя неизящная, но неудобная. Ломберный стол на дрожащих ножках. Над ним в простенке зеркало, в которое, к великому неудовольствию, князь увидал себя косым, несколько плетеных стульев и кровать у стены, на которой были видны следы раздавленных клопов. Чего же больше нужно для человека? Князь сбросил шинель и велел подать себе рюмку водки. Водку тотчас подали. Князь выпил, крякнул, закусил куском хлеба, потер руки, стал быстро шагать по комнате, чтоб наконец совершенно отогреться от двухчасовой езды по необъятной снеговой степи, где морозный ветер свищет, как хочет, а дрожащий путник беспрестанно хватается то за нос, то за щеку, чтоб удостовериться, все ли еще живо. Обогревшись, князь отпер небольшой чемодан, внесенный его денщиком, вынул зеркальце, щетку, помаду, бритвы, духи и велел подать себе бриться.

Обрившись тщательно и припомадив, наконец, оттаянные усы, князь надел свой лучший мундирный сертук и, несколько раз поглядев в зеркальце, убедился, что он очень красив и одет прилично. Тогда другая забота овладела князем; он вынул из кармана портфель и, пересчитав несколько синеньких ассигнаций, должно быть не в первый раз, с грустью заметил, что у него очень немного денег.

Блеснуть без денег трудно даже и в губернском городе. А, может быть, блеснуть будет необходимо ради задушевных планов, которых князь никому не поверял. Но князь никогда не отчаивался.

Он знал, что счастье ему никогда не изменяло и что никто не умел так, как он, отыскать случай и им воспользоваться. Он подумал и кликнул трактирного слугу.

— Кто здесь из офицеров? — спросил он.

— Многие-с,— отвечал слуга.

— Граф Б. здесь?

— Здесь-с. Во втором номере изволят стоять.

Князь отправился к графу Б. не потому, чтоб он пре-

имущественно любил его, но потому, что граф был богатый человек, добрый малый и, наверно, хорошо принят во всех домах города.

— Ба! Каймак-Чуфардзев! — вскричал граф, бросаясь навстречу вошедшему и, обняв, облобызал его.

— Как кстати приехал, mon cher, сегодня, вообрази, такая тоска, нигде ни вечера, ни бала. Наши все едут на большой обед, который, должно быть, будет очень скучен, да у этого Ретивова и повар скверный, так что я отказался, и приходилось одному целый день лежать с трубкой в зубах, вздернув ноги кверху.

— Ну, вот видишь, я всегда приезжаю для тебя кстати. Однако я проголодался дорогой, вели дать поесть чего-нибудь.

Граф велел подать завтрак.

— Ну, расскажи, что у вас делают в городе.

— Ох, mon cher,— отвечал граф,— сколько хорошеньких! пляшем без умолку и пьем порядочно.

— Уж ты не влюбился ли?

— В десятерых разом, mon cher! Чем черт не шутит!

— Ты, пожалуй, женишься.

— О, о! Нет, mon cher, на это меня не подденут, чтоб я в двадцать восемь лет женился. Par mour, изволь, а жениться не намерен.

— Как же ты здесь со всеми познакомился?

— Очень просто! У меня были письма от матушки к губернатору. Он меня всюду и представил.

— Представь меня.

— Хорошо, mon cher! Лучше всего поедем завтра к обедне в собор, я там тебе покажу всех и всю подноготную расскажу. А потом отправимся к губернатору, который после обедни принимает. Я тебя ему представлю: он позовет тебя на вечер (у него по воскресеньям вечера), и ты познакомишься с целым городом.

— Дело,— сказал князь.

Между тем за завтраком явилась бутылка шампанского, потом другая. Граф начинал краснеть.

— Что ж мы будем сегодня делать? — спросил князь.

— Да что хочешь.

— Однако целый вечер так просидеть скучно.

— Ну, сыграем! — сказал граф.

— Гм! Не хочется! А впрочем, изволь! — сказал князь.

— Пошлем за картами.

— Это долго! Кажется, у меня остались еще колоды четыре, я схожу посмотреть в чемодане.

— И прекрасно, mon cher!

Через минуту князь принес карты; ломберный стол был раскинут, и приятели принялись метать банк. Князь проиграл все, что у него было в бумажнике; потом опять отыграл и выиграл еще столько же. Бутылка повторялась за бутылкой. К вечеру князь выиграл две тысячи рублей.

— Ты сегодня несчастлив,— сказал он графу,— лучше перестанем до другого раза.

— Как хочешь,— проговорил граф не совсем связным языком,— пожалуй до завтра, и, облокотясь на стол, заснул.

Князь долго будил его, чтоб уложить в постель, но, видя, что усилия его тщетны, ушел к себе в комнату. Существование его в губернском городе было обеспечено. На другое утро довольно поздно приятели отправились к обедне. В соборе уже была толпа. Позади, в сумраке сводов, теснился простой народ, виднелись синие и серые кафтаны, и мелькали красные, синие, пестрые и всякие платки.

Впереди, около иконостаса, красовались новомодные шляпки и собольи шубы дам, еноты и медведи или бобровые воротники знатных господ. Губернатор стоял впереди всех; но один высокий господин, который был чином выше, приехал поздно и стал впереди губернатора.

Все дышало христианским смирением.

— А каков бас у протодиакона, mon cher? — заметил граф Б. князю Каймак-Чуфардзеву,— наш вахмистр Мардарьев просто ему в подметки не годится.— А сколько я тебе проиграл вчера?

— Неужто не помнишь? Две тысячи.

— Да, да! Помню, mon cher. Уснул немножко крепко, и сегодня все еще в голове посвистывает.

— Ну, а скажи, граф, кто все эти господа и госпожи? Ты, кажется, со всеми раскланиваешься, как будто знаешь их со дня рожденья.

— Изволь, mon cher! Вот этот низенький толстобрюхий господин, который открывает шубу, чтобы показать звезду,— это губернатор; премилый человек, mon cher. Большую игру ведет. В городе все его любят. Только вот этот господин, что впереди его стоит, непримиримый враг его, хотя они в обществе чрезвычайно учтивы и друже-

любны между собою. Видишь, губернатор едва заметно улыбнулся, что тот стал впереди. А вот этот длинный в енотовой шубе, который засмеялся, когда губернатор улыбнулся, это чиновник особых поручений Кривульников. Славный человек, mon cher, и страстный охотник за зайцем. А вот эта брюнетка в желтой шляпке, которая беспрестанно поворачивает глазами направо и налево и перемигивается с губернатором, это полицмейстерша. Впрочем, муж смотрит на это снисходительно. Вот он стоит. Он из отставных уланов. Уж какой порядок в городе держит, чистоту какую! Только краденые вещи отыскивать, говорят, не может. А вот посмотри, mon cher, эта барышня в розовой шляпке, такое белое, нежное личико! Это m-elle Поддувалова! Какая хорошенькая! Я за ней волочусь. А вот возле нее в голубой шляпке дама лет тридцати, красивая, с таким важным видом; она очень занимается литературой, даже, кажется, написала роман: «Тайные источники сердца». Я и за ней волочусь.

— Ну, а это рыженькая, возле лысого старика?

— А! это — m-elle Тряпичкина, самая богатая невеста в городе. Кокетка страшная, но скучна невыразимо! Все больше на взглядах выезжает. Я было за ней поволочился, да скучно, тем больше, что я невест не ищу, особенно рыжих.

— Почему ж ты не любишь рыжих? Рыжий цвет волос означает страстную женщину.

— Да, попробуй-ка, mon cher, с этой страстной — двух слов веселых не скажешь!

— Оно не то, чтоб красавица, но лицо у ней приятное.

— Не понимаю, что в ней находишь, mon cher!

После обедни приятели отправились к губернатору. Они уже нашли в приемной зале толпу мужчин в мундирах, в вицмундирных и простых фраках, ожидавших появления его превосходительства. На этот утренний визит съезжалась почти вся мужская половина города, кто по делу, кто потому, что находился на службе и заискивал покровительства начальника, а иные являлись без всякой нужды, просто из удовольствия явиться. У всякого барона своя фантазия! Между прочими находился и лысенький старичок, который за обедней стоял возле рыжей барышни. Князь Каймак-Чуфардзев, обежав глазами толпу, очень равнодушно спросил графа Б.:

— А кто этот лысенький старичок?

— Вот этот — в белом галстуке, в синем фраке, застегнулся на четыре пуговицы?

— Да!

— Да это Тряпичкин.

— Кто он такой?

— Говорят, что служил где-то в казенной палате председателем, потом вышел в отставку и накупил три тысячи душ в здешней губернии.

Князь Каймак-Чуфардзев, путешествуя с своим приятелем по приемной зале, как-то невзначай все направлял путь к лысенькому старичку и, очутившись возле, стал избегать дальнейшего странствия по комнате.

— Как здесь дует из окна,— внезапно сказал он старичку,— в ваши лета нетрудно простудиться.

— Покорнейше вас благодарю,— отвечал старичок, низко кланяясь,— вы, верно, недавно изволили приехать?

— Только вчера приехал.

— Очень рад познакомиться. Позвольте узнать имя, отчество и фамилию?

— Ротмистр князь Давид Самойлович Каймак-Чуфардзев.

— Очень приятно! Повеселиться к нам изволили приехать?

— Да-с! В деревнях молодому человеку невесело.

— Точно-с.

Лысенький старичок вынул было серебряную табакерку с чернетью и, открыв ее и отчистив табак с шарньера, только сбирался запустить пальцы, как дверь из внутренних комнат растворилась, и лысенький старичок поспешно опять закрыл и спрятал табакерку в задний карман фрака.

Губернатор явился.

Все лица встревожились. Кто приятно улыбнулся, кто вытянул руки по швам, кто старался пробиться вперед, кто старался спрятаться, чтоб не первому быть замеченным. Губернатор вошел с сияющим, улыбающимся, так сказать праздничным видом, и увидя, что в зале было много народа, погладил свой кругленький животик, и на устах его появилась еще более довольная улыбка. Он подходил ко всем с приличным для каждого приветом. К первому он подошел к председателю казенной палаты и спросил его, привели ли ему рысака, которого тот ожидал с большим нетерпением. Потом подошел к председателю

гражданской палаты и спросил его, получил ли он соленых перепелов из степной деревни. У председателя уголовной палаты он спросил, здоровы ли его дети и, получив утвердительный ответ, изъявил радость.

Одному господину он даже приветливо пожал руку, но ничего не сказал.

Откупщика он отвел к окну и несколько минут разговаривал с ним вполголоса.

Наконец Каймак-Чуфардзев был представлен ему графом, и губернатор обошелся с ним очень мило, спросив его даже, не родня ли ему. Потом, сказав во всеуслышание: «Надеюсь, господа, что вечером все у меня»,— губернатор раскланялся, причем головы и спины всех присутствующих нагнулись, как будто движимые каким-то механизмом, и его превосходительство возвратился во внутренние комнаты. Дверь за ним затворилась, и толпа, разговаривая, хлынула в переднюю.

Едва все успели разъехаться, как маленькие щегольские санки, запряженные статною лошадью, которою правил щегольски одетый кучер в куньевой шапке, быстро подвезли начальника губернии к дому полицмейстера в ту самую минуту, когда полицмейстер поспешно уезжал в противоположную сторону.

Вечер у губернатора был блистателен. Оркестр генерала Краснопупова гремел с хоров залы. В последующих комнатах была раскинута цепь зеленых столов с картами. Молодежь толпилась в зале, пожилые люди, каждый с картой в руке, шли составлять партии.

— А вы с нами в ланскене, Роман Петрович? — сказал губернатор, подавая карту откупщику.

— С удовольствием, ваше превосходительство,— отвечал Роман Петрович.

— Я уже, право, не знаю, как с вами играть,— продолжал губернатор, взяв его под руку и направляя путь к зеленым столам.— Совсем проигрался на вчерашнем обеде. Хоть бы тысячи три взаймы дали, Роман Петрович.

— Почему же не дать? Можно, ваше превосходительство. Деньги со мной в кармане.

— Я вам на днях непременно отдам,— выразительно сказал губернатор.

— Помилуйте, я не сомневаюсь,— равнодушно сказал откупщик.

Между тем как пожилые люди и дамы, увенчанные

чепцами и тюрбанами, усаживаются за карточные столы, в зале уже в вихре вальса кружатся веселые пары, развеваются — будто с намерением сдувать пыль с полу — кисейные, атласные, вышивные и невышивные юбки вальсирующих дам и барышень. Мелькают белокурые и черноволосые головки в лентах и цветах, в уборах с перьями и без перьев, звучат шпоры гусаров, машутся фалды фраков, открывая формы танцующих кавалеров не с самой привлекательной стороны.

В зале веет атмосферою косметического магазина. Просто упоение. Так что один курносый чиновник, который, по незначительности своей должности, не смел танцевать и стоял в группе зрителей, повертывал голову на все стороны и нюхал.

Оркестр генерала Краснопупова гремел с отчаянным рвением; сам генерал не играл в карты и, сидя в зале между двух престарелых матушек, с умилением следивших за движениями вальсирующих дочек, щурил даже глаза от наслаждения, погруженный в сферу музыки и чувствуя, что играют музыканты, да какие музыканты! Не просто музыканты, а его собственные крепостные музыканты!

Первый контрданс князь Каймак-Чуфардзев танцевал с m-elle Тряпичкиной. M-elle Тряпичкина была девица за 25 лет, полная и краснощекая, в ее рыжеватые локоны была вплетена гирлянда из васильков и незабудок. Но несмотря на всю нежность голубого цвета ее убора и газового платья, вся ее фигура представляла что-то тяжелое и вместе решительное. Она напоминала нимф голландской школы. Князь Каймак-Чуфардзев уже раз вальсировал с ней и больше ни с кем и первую ее позвал на контрданс. M-elle Тряпичкина была заметно довольна и поглядывала на танцующих барышень с некоторою гордостью.

— Вы еще не ангажированы на мазурку, Вера Николаевна? — спросил князь m-elle Тряпичкину (он уже знал ее имя) во время первой фигуры контрданса.

— Нет-с,— отвечала она жеманно.

— А я как боялся, чтобы вы уж не были ангажированы,— продолжал князь.— Итак, я могу надеяться танцевать мазурку с вами.

— Извольте,— отвечала m-elle Тряпичкина, взглянув на него довольно выразительно.

Они несколько минут молчали; потом князь отправился весьма ловко притоптывать вторую фигуру.

Когда их черед прошел, князь придумывал несколько времени предмет разговора.

— Какой блестящий бал! — сказал он наконец.

— Да-с, очень блестящий бал,— отвечала m-elle Тряпичкина.

Опять последовало молчание.

— Вы всегда живете в городе, Вера Николаевна? — спросил князь.

— Нет-с. Мы перед святой уезжаем в деревню.

— Отчего же перед святой?

— Оно так лучше,— сказала Вера Николаевна, взглянув на своего кавалера еще умильнее.

— А далеко ваша деревня?

— Верст сто. Это та деревня, где мы живем. А та деревня, где мы не живем, та еще дальше.

— А у вас две деревни?

— То есть у папеньки две-с.

— Которую же вы больше любите?

— Вам начинать!

По окончании фигуры князь продолжал:

— Которую же деревню вы больше любите, Вера Николаевна?

— Село Сиволапино-с. Лучше я ничего не люблю.

— Если вы любите, оно, вероятно, прелестно. Верно, сад чудесный, река.

— Нет-с, реки нет, а есть-с пруд с сазанами.

— Вероятно, дом чудесный?

— Двухэтажный дом-с, с балконом.

— И вы там одне с батюшкой живете?

— Одна-с.

— И не скучаете?

— Отчего же скучать? Соседи есть, хозяйство.

— А вы большие хозяйки?

— Нет-с, не то чтоб хозяйка, а батюшка распоряжается вообще; я только в доме, и то он приказывает.

— А вам скучно хозяйничать? Конечно, в ваши лета...

— Я люблю читать. Я «Юрия Милославского» читала.

— А! — заметил князь.

Контрданс кончился.

— Ну! Что твоя дама? — спросил граф Б., улыбаясь.

— Она очень мила,— отвечал князь сухо.

Граф пожал плечами.

Второй контрданс князь танцевал с полицмейстершей. Тут ему не приходилось выдумывать разговора. Полицмейстерша больше говорила, чем он, делала колкие замечания насчет дамских туалетов, рассказывала даже коекакие семейные тайны некоторых дам, осталась очень довольною любезностью князя, который усердно принял участие в ее колких замечаниях и искусно выказал любопытство узнать городские сплетни. Полицмейстерша пригласила князя навещать ее и познакомила его с мужем. Во время контрданса губернатор, на минуту оставивший игру, заметил, что князь Каймак-Чуфардзев танцует с полицмейстершей, и после, подойдя к князю, жал ему руку и разговаривал с ним очень милостиво.

— А вы танцуете мазурку? — спросил мимоходом граф Б. гарнизонного капитана Прищемила-Голубенко.

— Я никогда не танцую мазурки,— отвечал капитан.

— Почему же?

— Я дал слово никогда не танцевать мазурки.

— Кому это?

— Одной барышне в уезде.

— А! Похвально! А кто в первой паре, князь? — сказал граф, обращаясь к Каймак-Чуфардзеву.

— Я,— отвечал Каймак-Чуфардзев.

— А ты с кем танцуешь?

— С Тряпичкиной.

Граф взглянул на него с удивлением и сказал:

— Начинай!

Лицо златоволосой девы засияло еще большим удовольствием, когда она очутилась в первой паре; расчет князя был верен; ей это было лестно. В мазурке князь отличался ловкостью, изобретательностью фигур, и хотя разговор с m-elle Тряпичкиной клеился плохо, но князь искусно стал заменять его пламенными взглядами, трепетом руки при прикосновении к ее руке и до глубины души был уверен в действительности своего маневра.

Возвращаясь домой, Вера Николаевна была в неописанной радости. Она даже при раздеванье ни разу не выбранила и не ущипнула Акульки, напротив того, вверила ей тайну сердца, то есть с восторгом рассказала, что один молодой князь влюбился в нее с первого взгляда и целый вечер танцевал с нею. Эту тайну Акулька пере-

дала Палашке, когда они обе утром рано убирали комнаты, занятие, при котором туалет этих двух девиц был в особенности замечателен, а именно, волосы их были нечесаны, хотя еще сохраняли с вчерашнего дня запах коровьего масла; платья их были расстегнуты, так что тяжеловесные груди просились наружу; лоснящиеся лица носили следы ночного потения, и босые ноги, казалось, с нетерпением ждали дня субботнего, дня, в который вся Россия парится в бане.

— Так сразу в нее кто-нибудь и влюбится,— сказала Палашка, сморкаясь в таз с помоями.— Вишь, нашла себе дурака.

— А что, девка! Ведь она, чай, замуж выйдет, поласковей будет,— заметила Акулька.

— Нашла кого поласковей быть,— возразила Палашка,— нет уж, мы с ней к тому воспитаны. Поди-кась вчера как расходилась на повара, полфунта лишнего масла вышло, и бежит к Николаю Ардальонычу: «Уж этого масла, папенька, спустить нельзя».

А он его кулачком в одну щеку, да в другую, я, говорит, тебя, собачьего сына, в солдаты отдам.

— А тебе, небось, его жаль стало, повара-то?

— Ну, что ж, что жаль, а тебе какое дело?

— Ну! то-то же! Мне, разумеется, что? Я так сказала. С чего же ты раскудахталась.

— А с чего у нас барышня такая злющая? — спросила Акулька, помолчав немного.

— Вестимо с чего! Чай, и папенька-то не то что тих; даром, что этаким смиренным прикидывается. Бранить станет, голосу не возвысит. Подойдет тихохонько и так-те скажет, будто приласкать хочет: «Вот я тебя, голубушка»,— да и рванет за ухо.

— А я так думаю, Палаша, что это все Алина Федоровна, не тем будь помянута, царство ей небесное.

— Да, уж неча сказать! Хороша была! Все оно полегче с тех пор, как умерла, прости господи!

— Помнишь мамзель-то, что жила у нас, что барышню по французскому-то учила, уж на что, бывало, смолчит, голубушка, да не вытерпела, отошла.

— Вот то и оно то. Не знаю, многому ли выучила, а что считать барышня мастерица. Небось, где не обвешивают, а ей все мерещится, что обвешивают.

— А что, замуж выйдет, уж я лучше с стариком бы

осталась; он все-таки чего и не доглядит, да по нем хоть круглый год и пыли не сметай, и ни слова не скажет.

— Нет! Знаешь ты что, девка? Намеднись Васька поленился до речки-то дойти да и зачерпнул ему воды умываться из ушата. Что ж, умылся, ничего не сказал; только говорит, чтой-то, Васька, вода-то будто эдак пованивает. А тот говорит: «Должно быть, сударь, бочка не чиста».

Девки расхохотались.

В это время послышался звон колокольчика из отдаленной комнаты, и заспанный Васька, застегнув вторую петлю сюртука на первую пуговицу, выбежал из передней и только мимоходом успел потрепать Акульку по самому жирному месту, в ответ на что она плюнула и сказала ему:

— Убирайся ты к черту, окаянный!

Николай Ардальоныч Тряпичкин, как бы поздно ни ложился, к совершенному отчаянию своей прислуги, вставал рано по привычке.

КАВКАЗСКИЕ ВОДЫ

(Отрывок из моей исповеди)

И свет не пощадил, и рок не спас.
Лермонтов

...Наконец, губернатор, заняв у меня пять тысяч рублей ассигнациями (без отдачи, разумеется), выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ... лечиться. Я сам хорошенько не знаю, был ли я действительно болен, или нет. Мне кажется, болезнь моя была только смутная тоска — конечно, не оттого, что я был сослан,— ссылка для меня была сносна по положению и равнодушна по решимости терпеть. Я даже не думаю, чтоб у меня тогда была настоящая тоска по деятельности; это скорее была тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее; а между тем женат я был недавно и упорно думал, что я счастлив. Болезнь моего отца, постепенный упадок его мозга, его любовь ко мне, добросердечие и вместе больные фантазии и странный деспотизм, от которого становилось душно и против которого самое его положение мешало спорить, моя любовь к нему и совершенное разномыслие с ним — все это меня давило, и мне хотелось вздохнуть свободно; мне хотелось уехать куда-нибудь, хоть ненадолго,— лишь бы уехать. К тоске обыденной жизни примешивалась тоска стремления к друзьям. Поездка на Кавказ представляла мне свидание с одним из них мимоездом и потом возможность провести целое лето с другим, из самых мне близких; мне так хотелось обнять его со всей горячностью юношеской дружбы и почувствовать на деле то, в чем я и не сомневался,— что ссылка нас ни на волос не изменила

и что мы встречаемся с прежней неизменной готовностью жертвовать собою на общее дело. В то время и мои теоретические занятия не вели меня к деятельному спокойствию ясного сознания, сильно пахли метафизическим мистицизмом — без религии, отыскиванием таинственных сил и таинственной связи вещей, и чем-то почти пророчествующим, но отнюдь не христианским. За натурфилософией Шеллинга и Окена следовала теория животного магнетизма Кизера (Kieser, Theorie des Magnetismus und Tellurismus) и вера в гомеопатию; все это объяснял я себе теми метафизическими приемами, которыми так легко объяснить все на свете, раз попавши на канитель; так легко, что даже можно построить совершенно новую математику, раз принявши, что дважды два — пять; стоит только отнюдь не сообразоваться с действительностью, не допрашивать фактов, а вести логичную нить, которой формализм всегда построится в систему, откуда бы она ни начиналась — от истины или от мечты, от действительности или от ошибки. Сверх того, наклонность к таинственностям у меня еще оставалась и после недавной тюрьмы, после того, что мне казалось мученичеством, хотя, правду сказать, все вынесенное нами было так мало, что, конечно, не стоило такого высокомерного названия. Девять месяцев ареста и пять лет жизни в губернии, где скорее было весело, чем скучно,— да если б из-за общественного дела приходилось рисковать только такими пустяками, на это не нужно бы особенной храбрости. Но, как бы то ни было, я считал себя взошедшим на поприще мученичества и ждал выхода, но выхода в новую деятельность и новое мученичество. Сен-симонизм, помогая мне в стремлении к мученичеству за новые верования, помогал мне и в метафизическом мистицизме не меньше, чем натурфилософия. Сен-симонизм, несмотря на réhabilitation de la chair и отрицание христианства, никогда не мог освободиться от дуализма; равные права тайной души и явного тела — все же дуализм, и père Enfantin, побеждавший своих судей силою взгляда,— все же библейски-христианский образ, сведенный на французское красноречие. В моей голове сен-симонизму легче, чем чему другому, было ужиться с натурфилософией; но остановиться на этом было нельзя: надо было или выйти из дуализма, или прийти к настоящему христианскому, лучше сказать, к метафизически-христианскому мистицизму; к последнему я был как раз готов. Все вместе вы-

зывало настроение смутной тоски, которую я принимал за болезнь, грусти мечтательной, мечтательных ожиданий, мечтательных раскаяний, что, может быть, не лишено своего поэтического оттенка, но слишком расслаблено и неспособно надолго владеть человеком, потому что несостоятельно ни перед мыслью, ни перед жизнию.

Как бы то ни было, в этом настроении я пустился в путь. Мы поехали на Саратов, хотя это было и не по дороге. М. Л. — для свидания с родственниками,— а я — на свидание с товарищем. Лахтин был сослан на житье в Саратов по одному делу с нами. Странно мне сказать — по одному делу, потому что дела не было никакого вообще, а с его стороны в особенности. Ссылка Лахтина относится к одной из тех несказанных уродливостей, наполняющих николаевское царствование. У меня нашли его письмо, писанное ко мне в деревню. В этом письме было говорено что-то о русской истории; смутно помню, что поднят был вопрос о происхождении дворянства в России; Лахтин производил его, кажется, от удельных князей или в этом роде что-то такое, вероятно теперь не выдерживающее ни малейшей критики. Больше ничего не было. Лахтин не был арестован; только раз был призван к допросу для объяснения этого письма, которое следственной комиссии показалось загадочным, вероятно потому, что презус — покойный князь Сергий Михайлович Голицын по врожденному слабоумию ничего в нем не понимал; а главный член, поныне благоденствующий князь Александр Федорыч Голицын, по честолюбию лакея и шпиона понимал не то, что было в письме, а то, чего ему хотелось, чтоб получить высочайшее потрепание по плечу. Словом, в одно прекрасное утро Лахтина позвали вместе с нами к выслушанию резолюции и объявили ему ссылку в Саратов. Лахтин был женат, жена его была беременна; он просил отсрочки; добрейший князь Сергий Михайлович с улыбкой отвечал ему: «Я не виноват, что ваша жена беременна!..» И Лахтина немедленно отправили в Саратов. Прошло три года, вот и я приехал в Саратов. Из-за разных ненужных предосторожностей я не тотчас пошел к Лахтину, а послал М. Л. и остался в номере гостиницы ждать его. Сильно сердце билось. Наконец, идут. Это он. Но он похудел. В лице странное беспокойство. Как мы обрадовались друг другу — об этом и говорить нечего; но отчего же в нем что-то такое странно надломленное? Он не изменился в

направлении, в этом я и наперед был уверен; но неужели ссылка заставила его упасть духом? Он был не богат, но для скромного житья в Саратове имел достаточно. Стало, не бедность, а только ссылка пригнула его. Или другое горе пронеслось по его унылой жизни? Или болезнь сломила? Я ничего не мог узнать. И, пожалуй, во всем этом виноват я! Зачем я не сжег этого несчастного письма? Но надо признаться, что не только двадцатилетнему юноше, а и самому опытному жандармскому полковнику не могло прийти в голову, чтоб за это письмо можно было кого-нибудь сослать! Я встретил в Лахтине такое уныние, что даже и его ученое трудолюбие исчезло, и любовь к науке была скорее похожа на хорошее воспоминание, чем на что-нибудь живое. Могло ли мое присутствие поднять его силы?.. Не знаю; но я сократил мое пребывание в Саратове также из ненужных предосторожностей, ненужных, потому что даже и при Николае тайная полиция в сущности была вовсе не страшна; она подчас била с плеча кого попало, человека совершенно политически невинного, и от этого нельзя было уберечься, как от бревна, падающего на голову; но систематически она никого не умела преследовать; ее агенты брали жалованье и любили попользоваться, при случае пугнув какую-нибудь невинную, но богатую жертву, а к надзору за кем и чем бы то ни было были совершенно равнодушны и неспособны. Из всех полицейских знаменитостей до систематического шпионства впоследствии выполз разве один из членов тайного общества 1825 года — Липранди; ну! да для этого надо быть изменником честных убеждений, а наши жандармы не имели и не имеют никаких. Но во время óно мы еще верили в опасность и боялись навлечь друг на друга новые гонения без всякой цели. И я пробыл с Лахтиным, помнится, только один день! Я уехал с тяжелым чувством... Через год я стоял на его могиле.

Дорога развеяла скорбное впечатление. Что это была за чудесная дорога! Май в полном блеске. Мы ехали почти проселками, иначе нельзя назвать уездных больших дорог. Почтовых лошадей нигде не было, и мы тащились до Пятигорска восемнадцать дней, точно на своих. Но я не жалел о беспрестанных остановках. Мне было слишком хорошо. Чем дальше мы подвигались к югу, все зеленее становилась степь; наконец, мы добрались до Дона и ехали целую неделю берегом. Дон был еще в полном

разливе; с одной стороны зеленая, пахучая степь, с травой выше роста, с другой — вода, идущая, как море, в бесконечность; все кругом уходит в синюю даль. Да! хорошо было на приволье. Я даже забыл тайное, самому себе не высказанное сомнение в собственном счастье и весь был погружен в пантеистическое наслаждение широкой природой. Самое казацкое племя произвело на меня благотворное впечатление. В нем было что-то более свободное,— не было тех запуганных лиц, которые я привык встречать под разбойнически отеческим управлением Панчулидзева и пензенских чиновников и помещиков. Тут чувствовался кряж народа посамостоятельнее. Да не только Дон, а и все Заволжье такое. За год перед этим (то есть перед 1838) за Волгой мужики убили моего двоюродного брата Александра Колокольцова за жестокое обращение, воткнув ему ногу в стремя и пустив лошадь скакать по степи; кто убил его — и след простыл, никогда не нашли. Степной человек любит волю, ему границы чужды и противны. В степи человек неуловим; его нельзя придушить, как человека, прижатого к забору. Он отхлынет в пространство, а если уж когда сам да нахлынет, то вся степь дрогнет от Астрахани до верховья, и по северным лесам гул пойдет, качнется и московский колокол. В Дубовке я распрощался с русской татаро-немецкой цивилизацией забавным образом. Мы приехали рано. Я спросил чаю и ждал на крыльце станционного дома. Вдруг, часу в седьмом утра, является какой-то квартальный, в мундире с иголочки новом, очевидно принарядившийся ради высокоторжественного случая. У меня мгновенно мелькнула мысль о преследовании за свиданье с Лахтиным... ну! и его преследуют и как это на нем отзовется... черт знает... «Здесь остановился сенатор Огарев?» — спросил меня квартальный голосом, мягким от подобострастия. Я тотчас успокоился. «Сенатора здесь нет,— отвечал я ему,— а только я — его родственник; но я не только не сенатор, а даже еще и не коллежский регистратор». Конфуз легкой судорогой пробежал по лицу блюстителя порядка: как же было дать такого маху и явиться в шесть часов утра в ожидании особы, а очутиться перед человеком, который даже не коллежский регистратор! а между тем перед не коллежским регистратором, пожалуй, и еще совестнее выказаться подлецом. Я расхохотался и предложил блюстителю порядка чаю. Но моя беседа удвоила его конфуз. С одной стороны,

сенатор был мне дядя, ревизовал незадолго Саратовскую губернию и отдал под суд Панчулидзева отца, лет тридцать душившего Саратовскую губернию в качестве губернатора; с другой стороны, я был женат на племяннице пензенского Панчулидзева... кого тут хвалить? кого бранить?.. Блюститель порядка поспешно выпил и опрокинул чашку и, раскланявшись, ушел, подмахивая рукой в знак удовольствия, что отделался. Я проводил его глазами; мне было гадко, хотя и вовсе не ново; кажется, можно было привыкнуть к мысли, что в русском управительстве, за исключением изредка безумца, мечтающего иметь благодетельное влияние по службе,— служит только подлец; а все не привыкается... Может, от этой встречи на меня так отрадно подействовал переход от немецкого управительства к казачеству, где, сколько правительство ни старалось исказить отношение, а все же настоящее чиновничество не привилось, и селянин перейдет к коренному народному началу выборной администрации без враждебного истребления чужеядного чиновничества. А может, и самое степное приволье расположило меня на дружелюбие к его племени. Что за ночи и что за утро в степи! Что за песню пела казачка, переплывая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца! Мне до сих пор эта поездка кажется каким-то сном, блаженным до грусти.

Но вот мы переехали и через Дон, разлившийся в Аксае верст на пятнадцать. Мы переехали его в грозу и бурю; мы плыли с лишком сутки; говорили даже, что опасно; а кончилось благополучно. И опять пошла степь зеленая, и все роскошней и роскошней. Вот и татарские арбы заскрипели, вот и верблюды показались. Наконец, светлым днем засинели вдали мои старые знакомцы —

...Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук.

В ясное утро был виден и двуглавый Эльбрус, с далекой цепью гор, подобных белым облакам, а к полдню белые облака толпились вдали, точно снеговые горы. Вот уже я еду нагорным берегом Подкумка, серебрящегося и шумящего глубоко, там — внизу, а за ним опять степь зеленая. Вот на повороте у подошвы Машука забелелись домики Пятигорска. Еще немного — и я увижу друга!

И если б мне пришлось прожить еще года,
До сгорблой старости, венчанной сединою,

С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого изгнанья,
К чему душа рвалась в годину испытанья:
И степь широкая и горные хребты —
Величья вольного громадные размеры,
И дружбы молодой надежды и мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры;
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, не сокрушимых духом,
Их серую шинель — одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья.
И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок,—
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье.

Я застал моего друга серьезно больным, но нисколько не ослабевшим духом. Он остался таким же, каким я знал его в раннюю пору перехода из отрочества в юность. Та же чистота сердца, та же трогательная дружба, та же неизменность, как и тогда... как и всегда, все тот же, каким он не может не быть, как бы судьба ни разбросала нас по земному шару; и где бы он ни был, он нашу тогдашнюю встречу вспомнит с тем же живым, теплым чувством, с каким я вспоминаю ее — через двадцать три года.

Мы наняли квартиру на бульваре. Н. привел нам доктора. Мейер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера, естественно, примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата. Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так

что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сертук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился. Вскоре Мейер свел нас с декабристами; он и Одоевский бывали у нас почти ежедневно. Они были глубоко привязаны друг к другу. Их все соединяло — от живой шутки до глубокого религиозного убеждения, или, лучше, религиозного раздумья.

Большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности. Шли ли они с теми же убеждениями в Сибирские рудокопни или ссылка заставила их искать религиозного утешения? Это разве позже объяснится теми из них, после которых найдутся записки. Да надо вспомнить и то, что общество 14 декабря строилось под двойным влиянием: революции и XVIII столетия, с одной стороны, и, с другой стороны,— революционно-мистического романтизма, который не у одного Чаадаева дошел до искания убежища в католическом единстве и вовлек немало людей в какое-то преображенное православие. Дело в том, что для политической борьбы, для гражданского переворота, не только тогда, но и теперь, но еще надолго, теоретический вопрос религиозных или философских убеждений останется вне вопроса и мирно допустит сойтись вместе, в деле гражданского преобразования, ультрамонтана и атеиста и стать заодно в движении, с которым оба согласны; да и смешно было бы в основание гражданского союза не поставить свободы совести. Я не думаю, чтоб те из декабристов, которые пошли в Сибирь не мистиками, там сделались мистиками ради религиозного утешения; слишком твердо вынесли они немецкую кару за любовь к России, чтоб нужно было заподозрить их в слабости духа. Я думаю, что мистиками воротились из Сибири те, которые пошли туда мистиками или которые, не устоявшись в теоретических убеждениях, были готовы сердечно, поэтически отдаться религиозному чувству. Не могу также не

заметить мимоходом, что общество 14 декабря еще не имеет истории; но чем больше вдумываешься в него, тем больше провидится, насколько оно представляло коренное зерно всего русского движения; сложившись из всех элементов русской жизни, оно вместило в себе и выразило in spe все идеи, которые развивались впоследствии,— от панславизма юного общества Соединенных славян и родственного ему православия до юридически рационального протеста Лунина и других, до католического протеста отчаяния в русской будущности, à la Чаадаев, и до социального взгляда, областного деления и конфедеративных стремлений Пестеля. Придет время, история скажет, насколько эти люди составляли родоначальный исток широкого развития нашей будущности.

Но возвращаюсь к Одоевскому. Это был тот самый князь Александр Иванович Одоевский, корнет конногвардейского полка, которому было девятнадцать лет, когда он пошел на площадь 14 декабря, и которого Блудов в донесении следственной комиссии попытался осмеять так же удачно, как Воронцов излагал свое мнение о Пушкине. Блудов не догадался, что Одоевский мог говорить: «Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!» (если это только было так говорено), потому что, несмотря на ранний возраст, он принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель, зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибнут. Все, что могу заметить,— они были глубоко правы, и с каждым годом русского развития эта правота станет выставляться яснее, и тем смешнее и ничтожнее будут казаться всякие наемные писаря следственной комиссии.

Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот

> блеск лазурных глаз,
> и детский звонкий смех, и речь живую...—

не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Мо-

жет быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться. Из немногих в недавнее время напечатанных его стихов, в стихотворении к отцу, например, я узнаю эту теплую искренность, но это не та удивительная отделка и гармония стиха, которая осталась у меня в памяти. Принадлежит ли это стихотворение к очень юным, или оно не точно записано?.. Он обычно отклонял всякое записывание своих стихов; я не знаю, насколько списки могут быть верны. Хотел ли он пройти в свете «без шума, но с твердостью», пренебрегая всякой славой?.. Что бы ни было, но

Дела его, и мненья,
И думы — все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков...

И у меня в памяти осталась музыка его голоса — и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая, хотя бы тайком. В недогадливой беспечности я даже не записал ни его, ни других рассказов про Сибирь. И еще я сделал преступление: в моих беспутных странствиях я где-то оставил его портрет, сделанный карандашом еще в Сибири и литографированный; он представлен в какой-то чуйке с меховым воротником и очень похож. Если он у кого-нибудь есть — умоляю прислать, потому что другой портрет, который у нас, так дурен, что мы не решились приложить его к «Полярной звезде».

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к ним и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле, это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было искренно и величаво. Я смотрел на него с религиозитетом. Он был мой критик. Из всех моих тогдашних писаний, давно заброшенных, я всегда помнил исключительно два стиха, потому что они ему понравились, и украл их сам у себя впоследствии. Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении, и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок — бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского, стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я, и к нему, как к единой окончательной цели, примыкало наше религиозное настроение,

с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик, или православный... не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен прийти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или, скорее, поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни, с самой первой юности, и самый склад мозга; это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

...Мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...—

то есть мечты какого-нибудь личного счастия, он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоотвержению, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но, может быть, и при других обстоятельствах он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, это свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки [1], и, конечно, принадлежащая к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только

---

[1] Музыку писал Вадковский, один из самых ревностных деятелей 14 декабря и товарищ Одоевского по ссылке; она носит характер романса того времени, с тех пор хотя и осмеянного с ученой точки знатока, но которого задумчивая прелесть, вышедшая из слияния русской песни с европейской музыкой, для непредубежденного останется изящной. В мотиве Вадковского есть талант, но в целом выработка ученическая, и в нашем списке столько ошибок, что мы не решились напечатать музыку. <*Прим. Огарева.*>

заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину. Мне кажется, что впоследствии у славянофилов развилось каждение православию только в антитезическом смысле. Если, с одной стороны, западнокатолический протест против печальной русской действительности двигал нас, отрицая, с этим отрицанием росла и потребность положительного выхода из унылой действительности; а этот положительный выход мог быть основан только на действительно существующих данных, то есть на народных началах. Обе стороны, отрицание русской действительности и положительное ее развитие, выросли из общества 14 декабря. Одна доросла до католицизма, другая до православия, не замечая, что наша народность, полная раскола, может развиваться только на основании совершенной свободы совести. Умер и патриарх католического протеста, умерли и самые усердные деятели из славянофилов. Воздадим каждому свое: остановимся с уважением перед людьми, у которых от русского страдания сердце наболело до отрицания, и взглянем с уважением на людей, которые были пророками русского развития. Я знаю, что доктринаризм возопиет против этого откровенного признания; но я знаю и то, что доктринаризм — коренной враг России, который еще долго будет стараться вогнать государственное развитие и юношеские умы в свои узенькие рамки; но едва ли удастся. Впрочем, враг силен, и борьба должна быть не малая. Доктринаризм, выставляя западную науку как догмат, не заметил, что наука существует только одна — и совершенно не догматическая, то есть история, история природы и отдел ее — история человечества. Спор, довольно скудный смыслом, о всеобщности и о народности в науке находит свое разрешение в истории. Без сомнения, математические законы всякого движения в мире всеобщи; но это не мешает, а, напротив того, доказывает, что каждое явление слагается из своих данных: ток реки по направлению ската, рождение устрицы и кита, английская конституция и европейская цивилизация — явления, сложившиеся из известных данных и равно не представляющие никакой нравственной абсолютной истины или абсолютного догмата. Иные элементы обусловливают иные формы гражданственности, и помимо их эта гражданственность не может развиться. В России уже один факт народного землевладения противоречит западной цивилизации и тре-

бует своего развития; логика и действительность равно указывают, что известную цивилизацию и ее понятия, то есть известную историческую эпоху, можно принять за факт, а не за догмат, за явление общественной жизни, а не за науку. Существование иных, новых оснований, новых форм собственности в России и у большей части славянского племени, а следственно, и нового понятия о собственности, а следственно, и потребность нового понимания всей гражданственности,— лежало в мысли декабристов и высказано всенародно славянофилами. Совершенно несогласный ни с какой религией, а следственно, и с их преображенным православием, я — или лучше — мы тем не менее искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития.

Опять я увлекся современностью; возвращаюсь к воспоминаниям.

Христианское направление Мейера было гораздо сложнее, я хотел сказать — гораздо личнее христианского самоотвержения Одоевского. Мейер был уныл; ему нужно было утешение. Его сердечное благородство и его потребность любви не уживались с действительностью. Чтоб выносить хаос, ему нужно было единство божественного разума и божественной воли; чтоб не умереть с отчаяния, ему нужно было бессмертие души. Постоянная Grübelei, раскапывание собственного сердца — без сомнения совершенно чистого — влекли его к христианскому покаянию, а потребность систематической истины, от которой он как человек науки не мог отклониться, заставляла рыться в де Местре, Сен-Мартене и пр. Под его влиянием я читал Сен-Мартена: «Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappellés au principe universel de la science, par un philosophe inconnu» (Edinbourg, 1782). Каким образом я мог увлекаться этой книгой — теперь это мне едва понятно. Каким образом Мейер мог мирить с нею взгляд Распайля, которого органическая химия тогда только что вышла в свет, и взгляд Мажанди («Leçons sur les phénomènes physiques de la vie») — это для меня еще непонятнее. Любя вспоминать, я недавно отыскал книгу St.-Martin. Раскрываю наудачу, стр. 35 — «Etat primitif de l'homme»: «Jl n'y a point d'origine qui surpasse la sienne; car il est plus ancien qu'aucun être de la nature; il existait avant la naissance du moindre des germes et cependant il n'est venu au monde qu'après eux. Mais ce qui l'élevait bien au dessus

de tous ces êtres c'est qu'ils étaient soumis à naître d'un père et d'une mère, au lieu que l'homme n'avait point de mère»... и т. д. А между тем мы увлекались этой книгой; но я также не очень давно пробовал заглянуть в Шеллингову Weltseele; это уже принадлежит не к религии, а к науке. Ну! признаюсь — религиозный St.-Martin все же еще более имеет следов здравого смысла, чем немецкий философ. А в то время!.. В то время, я помню, раз в жаркий полдень я взял St.-Martin и ушел на гору в грот, через дорогу от Михайловского источника, сел и читал, и эта чепуха мне казалась ясною как дважды два; вдруг что-то легко прошумело в кустах, я взглянул: длинная, красивая змея вползла в грот и, остановясь передо мною, подняла голову и проворно шевелила своим тоненьким трехзубчатым язычком. Можно было и испугаться; но я глядел с умилением на изящество создания божия, и когда змея опять быстро прошипела и ушла, я только верил в провидение, которое предназначало мне иные страдания и лучшую гибель. Неуловима иллогичность человеческого мозга! Слишком много впечатлений, разнородных влияний, слишком много неровных сотрясений, чтобы правильное развитие мысли могло быть постоянно. И тут, как и во всем органическом мире, физиология и патология совпадают, и патологические явления развиваются по физиологическим законам; природа не знает наших ученых подразделений, изобретенных с нашей точки зрения собственно для нашего удобства, чтоб не слишком запутаться, и мозговая жизнь, смотря по силе толчка, называемого впечатлением, стремится в разные уклонения, называемые безумием, с простотою воды, текущей по наклонной поверхности.

Мейер еще не довольно устал для отречения от личного счастия; мученичество не сделало из него того ровно самоотверженного человека, равнодушного к благам мира сего, как Одоевский. Мейер любил женщину и страдал бесконечно. Эта женщина была мне сродни. Молодая, стройная, с пылкими черными глазами и черной косою до пяток, она по какому-то капризу набросила свою любовь на Мейера, на Мейера, который считал себя уродом и не созданным для женской любви. Все перевернулось в жизни этого человека. Но счастье было минутно. Ее татарская натура не могла любить ни долго, ни серьезно. Она только искала наслаждения, и сперва обманываемый, потом пренебреженный Мейер страдал неимоверно. Его мягкое и чистое

сердце могло только сломаться в руках этой женщины, и оно сломалось. Может быть, его живой и сильный ум со временем еще выпутался бы из напряженного мистицизма и заявил бы свою силу; но тут ему только оставалось крепко схватиться за него, чтоб удержаться в жизни... ненадолго. Он потух быстро, в самой цветущей поре...

Я с своей стороны лично переживал трудные минуты. Как ни дружна казалась М. Л. с людьми, которых я любил, то есть с Одоевским, Мейером и моим неизменным Н., сколько ни принимала она участия в моих либеральных стремлениях, но ее влекло в другую сторону. Ее влекло к пустой светскости и к пустым удовольствиям; я сам ни прежде, ни после не был врагом их и мог предаваться месяцы не только пустым, но диким удовольствиям; но они не составляли для меня серьезной стороны жизни; для нее, казалось, они были предназначены разыгрывать серьезную сторону, а все действительно серьезное — только поверхностную сторону жизни. Мое углубление в христианское покаяние ей не нравилось не из убеждения, а потому, что это скучно; сосредоточенность, которую это направление на меня навеяло, она принимала за апатию и скучала; и естественно, чем больше скучала, тем больше искала развлечений. Я смутно чувствовал, что между нами ложится черта, которая раздвоится в бездну; но в этом я сам себе боялся признаться. Я тогда слишком любил ее. Мне было больно, и я старался скрывать от себя, что мне больно. К ревности я не имел повода; да если б и имел, я не стал бы ревновать; я всегда ненавидел ревность, она слишком похожа на зависть. Черта между нами двоилась из более человеческих причин, чем из-за того, что «вот ты не смей никого любить и тебя не смей никто любить; как со мной ни скучно, а будь моею — не то зарежу»... черта между нами двоилась из-за взгляда на жизнь, из-за того, куда каждый из нас направит свою внутреннюю силу, что для кого будет дорого и свято. Раз вечером мы сидели втроем у окна нашей квартиры: Н., она и я. Мы молчали; может быть, Н. и знал, что мне тяжело, но никогда не намекал мне об этом; его любящая рука не хотела меня царапать по больному месту. Мы молчали. Как-то было душно. В это время единственная шарманка в Пятигорске играла где-то малороссийскую мелодию до бесконечности грустную. Я и теперь ее помню. Сколько смутной скорби вызывали эти звуки — этого не передашь. Долго играла шарманка, серд-

це надрывалось, а жаль стало, когда она перестала играть. Печально мы расстались с Н. в этот вечер, пожав друг другу руку и молча понимая, что между нами нет тайны.

В августе мы поехали в Железноводск. Н. и Одоевский переселились туда же. Мейер приезжал как только мог часто. Железноводск — мой любимый угол на Кавказских водах. Он лежит в лесной долине между Бештовой, Железной и Змеиной горой. Дикая прелесть и свежесть этого места, с его зеленой тенью, дают отдых после Пятигорска, палимого солнцем. Жизнь шла мирно в кругу, так для меня близком. Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я — мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

Долго следил я эфирную поступь...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи.

В одно утро я получил эстафету, что мой отец при смерти болен. Я тотчас собрался в дорогу; М. Л. осталась на Кавказе. Грустно простился я с моим Н. и навек простился с Мейером и Одоевским...

Я сменил лошадей в Пятигорске. Шарманка играла малороссийскую мелодию. Тройка мчалась изо всех сил. Подкумок шумел у стремнины. Дальше, дальше! Вот и горы стали исчезать за мною — и степь становилась пустынней и пустынней...

И все это исчезло. Умерли и эти женщины, так же легкомысленно вмешавшиеся в нашу судьбу, как и мы легкомысленно приняли их в свою жизнь. Мейер умер где-то там же на юге, среди дружного с ним семейства генерала Раевского; он недолго пережил утрату Одоевского, не устоял перед скорбью своего сердца. Исчез и он, тихий мученик за русскую свободу, поэт, миру неведомый; бесследно замер его голос, и только «море Черное шумит, не умолкая»...

МОЯ ИСПОВЕДЬ

ГЛАВА 1
До знакомства с тобою

Со страхом и трепетом, Герцен, приступаю я к собственной биографии. К чему она?..— долго спрашивал я сам себя. Разве для того, чтобы избавить Анненкова от труда сбирать документы и в смутных случаях делать догадки, пожалуй, и невпопад? Но нет! Я ее пишу не с тем, чтобы собрать о самом себе материалы для потомства; даже не с тем, чтобы поместить в нее материалы для биографии лиц, дружных и не дружных, замечательных и не замечательных, с которыми я сходился в жизни; даже не с тем, чтобы представить картину нам современного мира. Я пишу, потому что я хочу исповеди; это мое совершенно личное дело. Только не ошибайся — это будет не христианская исповедь, которая есть покаяние. Нам мудрено исповедоваться только для покаяния; для этого надо бы чувство покаяния, ответа перед каким-то судией ставить выше всего. Но наше покаяние — это понимание. Понимание — наша прелесть и наша кара. Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не иным, в чем состояло его физиолого-патологическое развитие, из каких данных, внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться. Понимаешь ли ты, что для этого нужна огромная искренность,

совсем не меньше, чем для покаяния. Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине, нигде нельзя испугаться перед словом: *стыдно!* Мысль и страсть, здоровье и болезнь — все должно быть как на ладони, все должно указать на логику — *не мою,* а на *ту логику* природы, необходимости, которую древние называли fatum и которая для наблюдающего, для понимающего есть процесс жизни. Моя исповедь должна быть отрывком из физиологической патологии человеческой личности.

Я родился от родителей, вероятно, крепкого сложения. Если моя мать и умерла рано, это, кажется, от какой-то случайной болезни. На портрете у нее лицо свежее, но кроткое до выражения грусти. Говорят, она была бесконечно добра. Мой отец был, без сомнения, крепкого сложения; удар его хватил в избытке сил, и он, пробыв в параличе тринадцать лет, не поседел. Может, этой наследственной крепости организма я обязан, что вынес свою собственную жизнь до пятого десятка, не одряхлев. Петербургу, или Северу, я обязан тем, что родился золотушный. Думали, что я умру вскоре, тем более что я был недоносок. Говорят, моя мамушка — Прасковья Алексевна[1], которую называли мамушкой оттого, что это чином выше нянюшки,— спасла меня, вопреки мнению ученого сословия; я думаю, меня спасла наследственная крепость организма, одолевшая болезнь.

Что именно во мне материнского — не могу сказать. Мать умерла — мне было полтора года; я о ней ничего не знаю. Те, которые мне про нее говорили, могли только сказать о доброжелательстве в светских отношениях, о хорошем обращении с людьми и т. п., но ни о складе ее ума, ни о страстности или нежности сердца, ни о слабости или твердости характера ничего не могли сказать, потому что все были люди пошлые, исключая ее единственного друга — Лизаветы Евгениевны Кашкиной, которая мне говорила только, как много она любила мою мать; затем, считая меня еще слишком ребенком, ничего больше не рассказывала. Кашкина умерла, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать; я упоминаю о ней, потому что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря.

---

[1] Я родился 24 ноября ст. ст. 1813 года. <*Прим. Огарева.*>

На отца я ужасно похож лицом, и даже все родинки на теле у меня на тех же местах, как у него. Это замечание, может, слишком ничтожно, а могла бы наука задуматься посерьезнее перед наследственностью не только породы, но индивидуальной организации. Наука подметила наследственность и много помогла в усовершенствовании конских заводов, но в понимании <человека?> не сделала ни шагу.

Я потому настаиваю на моем сходстве с отцом, что я в жизни развил его слабые стороны до уродливости. Я потому настаиваю на серьезном изучении физиологической наследственности, что природа — пуще Иеговы — карает не только в седьмом поколении, но гораздо дальше. Как скоро народ дожил до поколения с высшей степенью силы, организмами начинают передаваться в наследство только слабые стороны предков, и эти слабые стороны развиваются до народного распадения. Я не говорю об одной мускульной системе, но о нервной, о мозговой.

Отец мой был неглуп, очень добр, ленив, любитель прекрасного пола, но и тут соблюдая умеренность, которая как-то у него смешивалась с уважением светских приличий. Несмотря на мягкость, он был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении. Он нам говорил «ты», мы ему говорили «вы». Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно, не из хитрости, не из видов, а как-то религиозно, точно священнодействовали ради какой-то безусловной истины. Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой. Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность. Отец мой любил меня искренне, и я его тоже; но он не простил бы мне слова искреннего, и я молчал и скрывался. У отца моего не было потребности высказаться, у меня выросла действительная скрытность.

Детство мое лет до семи я едва помню, как сквозь сон. Мамушка, нянюшка, дядька — все это одно за другим исчезло, не оставив во мне даже следа любви. Только

Акшенский дом и сад с трехлетнего возраста я никогда не забывал. Помню, что меня тогда водили на ленточке: я, благодаря золотухе, не мог ходить до четырех лет.

Ко всему детству у меня примешано воспоминание болезни и слабости. Когда мне было лет семь, мы жили в Москве на Малой Никитской, в доме Белкина, толстейшего из всех толстых полицеймейстеров, которого я любил за то, что у него был мундир и два казака за ним ездили. Но этому пристрастию к военному делу у меня суждено было погибнуть. Иные страсти развивались у семилетнего ребенка. Хилость и нервность организма заставляли меня искать, как бы приютиться под чье-нибудь крыло и чтоб кто-нибудь меня любил и я бы кого любил как-то особенно. Любил я мою бабушку, мать моего отца, которая жила с нами в доме, но я ее боялся; она была высокая, кривая, большая и важная старуха и строгая, не думая быть строгой. Любил я и другую бабушку, Баскакову, мать моей матери; ее я не боялся; она была важна, но не со мной, я был ее любимец; ее ласка была мне глубоко драгоценна. Но это все было не то, чего хотелось. У сестры бабушки Баскаковой — Олениной вместе с ее дочерью воспитывалась барышня — Пашенька. Девочкам было лет за пятнадцать. Пашенька была красавица. Я в нее влюбился. Влюбился платонически, как немецкий студент теологии. Это все знали, все смеялись, я краснел и продолжал — так сказать, с общего позволения — быть влюбленным. Но и это не все. Было другое чувство, это уже без позволения. У нас в доме жила гувернантка, немка — Федосья Христьяновна Ortlieb, высокая, красивая женщина. Она меня очень любила и ласкала, она меня целовала, целовала взасос и рассказывала мне про свою любовь к какому-то графу (которого она сама нарисовала на картинке в виде аркадского пастушка, несмотря на то, что граф был казак). У меня явилась похоть, что я тщательно скрывал и от самой Федосьи Христьяновны и от всего дома, совершенно не понимая, что это такое. Итак семи лет я разом любил двух женщин, платонически и демонически, с той страстностью, которая заставляла меня тосковать, и плакать, и хотеть чего-то непонятного. Это благополучное начало слишком сильно подействовало на организм, чтобы остаться без развития. Этот дуализм любви шел у меня через всю жизнь, проводя разом крайность очень милого, а может, и пошлого романтизма с крайностью дико пош-

лого цинизма; я думаю, что я оба направления довел до художественности.

В это время мы на лето опять уезжали в Акшено. Мы ехали на своих; восемнадцать лошадей и человек тридцать прислуги. Бабушка, отец, сестра, компаньонка бабушки, Федосья Христьяновна, я и серый попугай составляли аристократию. Мы ехали дней двадцать. Я помню Муромский лес, где все женщины боялись разбойников, а мой дядька Булатов рассказывал мне сказку про Илью Муромца; помню какую-то холодную и дымную избу, где мы ночевали и где бабушка сердилась; помню бабушкину знакомую купчиху, которой показалось, что наш попугай сказал ей: купчиха дура,— и она так обиделась, что ее насилу успокоили. Больше ничего не помню. Акшено я узнал с восторгом; садик в саду status in stato, который назывался моим и где я копался в земле, и картину — продавца уток, работы крепостного живописца; только комнаты мне показались меньше, чем прежде. Это такое физиологическое наблюдение над отношением человеческого роста, объема к окружающему: когда я приехал в Акшено юношей, мне комнаты показались еще меньше. В Акшене Федосья Христьяновна продолжала меня целовать и учила на фортепьяно. Акшено мне еще более врезалось в память. Осенью мы возвратились таким же поездом в Москву; но с этих пор Акшено было для меня местом романтической привязанности, не меньше моей религиозной любви к умершей матери. Почему у меня и теперь сохранилось то и другое? Не знаю. Матери я никогда не знал, а Акшено все ж не так красиво и не настолько я живал в нем, чтобы так любить его. Стало, мозг не выпотел, не испарил, не выработал из себя вон детского впечатления. После этого и подумай о теории обновления тела посредством уничтожения старого мяса и выделывания нового — питанием — через известные сроки.

Все детство я провел между женщинами, почти заключенный в комнатах, едва выходя на свежий воздух. Меня лечили этим домашним заключением и, разумеется, расслабили мускулы и развили нервность. Я помню, что я даже любил, когда меня женщины брали на руки, это возбуждало во мне сладострастное чувство. А бабушка была окружена женщинами всех возрастов, начиная от злобствующей компаньонки Надежды Семеновны, очень не-

красивой пожилой девы, несчастно влюбленной в моего отца, до маленькой Аришки, служившей на побегушках,— их было по крайней мере дюжина, и детское больное воображение невольно находилось в напряженном состоянии. Ни единого сверстника не было около; редко появлялись два-три знакомых мальчика, но я их больше дичился, чем любил. Петруша Яковлев, которого часто возили ко мне, не привлекал меня; выросши, мы с ним никогда не встречались, не искали друг друга; Александр Кек, которого ты знал, который утонул, также не оставил мне воспоминаний. Еще привозили какого-то мальчика, с которым мы, играя, поссорились за то, кому быть барином и кому лакеем; каждому хотелось быть лакеем. Этого — я и имени не помню. По воскресеньям приезжал к нам из пансиона мой двоюродный брат Александр Колокольцов [1], малый лет пятнадцати. Его приезда я боялся, он вечно ломал мои игрушки, которыми я очень дорожил. Из мужского пола единственный человек, мне близкий, был мой дядька Иван Михайлович Булатов (брат знаменитого Степана Михалыча). Булатов, сообразуясь с наставлениями моего отца, старался занимать меня чем-нибудь в комнате. Всю зиму я почти не выходил из нее и кашлял; чтоб перейти залу или гостиную, мне надевали теплый сертук и галстук. В моей же комнате большей частью находились и мамушка Прасковья Алексевна в чепчике, вязавшая чулок и ворчавшая без надобности, и нянюшка Марфа Ивановна, повязанная платком, иногда выпившая. Говорят, что меня совсем маленького мыли губкой со спиртом и что я нанюхивался ею допьяна; с тех пор от меня пахнет водкой — это влияние нянюшки. Семи лет и позже я не пропускал случая за большими обедами, которые давал мой отец, отведывать всех подаваемых вин, особенно когда ничье внимание не было на меня обращено.

Но во время о́но, естественно, я больше всех любил Булатова. Он меня выучил читать и писать, он сказывал мне сказки, он помогал мне, играя в игрушки, фантазировать из них целые истории. Я пристрастился к чтению, к романтическим сказкам и к собственным фантазиям, вероятно, вследствие сидячей жизни. Летом, в очень хорошую погоду, Булатов водил меня играть на пустырь, ко-

---

[1] Убит в конце 30-тых годов своими мужиками за жестокое обращение. <*Прим. Огарева.*>

торый мне казался каким-то чудеснейшим лугом, или в сад к попу, или к коновалу; все это не более двухсот шагов от дому. Да, виноват, лучший приятель в детстве, летом, был Голестенов, живший против нашего дома; у Голестеновых был сад, довольно большой, и Булатов водил меня туда играть с маленьким, но очень толстым Голестеновым. Куда девался толстый приятель моего детства — не знаю; но помню, что, несмотря на частые свидания, мы друг к другу особой привязанности не имели, может и оттого, что он был года на четыре старше. Все сверстники детства прошли, как тени, без малейшего влияния на меня. Зимой я даже так свыкся с моей безвыходной комнатой, что мне одному, то есть с Булатовым, было лучше. Кроме сказок, он настраивал мою фантазию религиозно, и я иногда молился до слез; он говорил мне о грехе быть вольтерианцем — этого я не понимал, но это возбуждало во мне любопытство. Было что-то страдальческое в моем детстве — возбужденность неясного вопроса, напряженность фантазии во все стороны от религиозности и платонической любви до эротизма не по возрасту, и все это при постоянной хворости и слабости тела. Из таких болезненных данных невозможно было выйти сильному и деятельному человеку. Что разовьется на первом плане: сила мысли, романтизм сердца или плотское сластолюбие? Ничего на первом плане, вся жизнь пройдет в порывах по всем направлениям.

Но вот и Федосью Христьяновну отставили, потому будто, что она была не довольно учена, чтоб воспитывать мою сестру, и белкинский дом оставили; отец купил дом Бантыш-Каменского у Никитских ворот. Страшно жаль мне было моей красивой немки; немного жаль и белкинского дома, и пустыря, заменявшего мне лучшие луга в мире, и в детстве моем произошел переворот. В новом доме я как-то стал еще уединеннее; Булатов очутился на втором плане, реже был со мною. Мамушки уже не было в живых, нянюшка только навещала меня изредка, но больше покачиваясь. Главную роль в моей жизни заняла новая гувернантка моей сестры, m-elle Noël, но совершенно иначе. Это была женщина, или, лучше, очень зрелая девица, очень некрасивая, со всем школьным образованием французских гувернанток. Я ее уважал и начал учиться; как бы школьно ни было ее образование, но во мне возбудилась любознательность. Кроме того, мне взяли учи-

теля русского языка и арифметики Михайлу Андреевича Сенковского. С этим господином я ничего не делал; не помню, хорошо ли я учился по-русски, но помню, что арифметики я совершенно не понимал, даже тогда, когда он принялся со мной за алгебру. Мое внимание сосредоточилось на преподавании истории m-elle Noël. Она, как водится, учила меня греческой и римской истории по каким-то плохим учебникам и по картинкам. Как все это ни было плохо, я из этого страстно понял героическую тенденцию, и когда m-elle Noël велела мне написать какое-нибудь сочинение, я написал письмо к мечтаемому другу, которого у меня не было, и уговаривал его жертвовать собою отечеству, подобно Фемистоклу и Аристиду. M-elle Noël меня расхвалила, отец мой тоже, хотя с каким-то удивлением, как будто спрашивая — откуда это тебе в голову лезет? Мне было стыдно, но, когда я остался один, я чувствовал что-то вроде вдохновения. Мне было восемь лет, и я до сих пор не могу забыть этой минуты странного счастия, первого соединения героической тенденции с авторским самолюбием.

В это время была в Москве итальянская опера, куда меня часто возили. Впечатление ее столь было сильно, что я до сих пор помню, как вчера, лица актеров, декорации, пьесы; самые мотивы помню с тех пор, а не по позднейшим занятиям музыкой. В доме у нас гостила моя двоюродная сестра Голубцова (впоследствии принцесса Гогенлоге), которая пела действительно превосходно; я начал слушать музыку со вниманием, но ученье под руководством m-elle Noël мне не давалось; я скучал за фортепьяно. Только ухо привыкло к звукам; это было начало той несчастной страсти к музыке, которая мне осталась навек.

Остальное в этот год прошло по обычаю. Идеальную любовь к Пашеньке я перенес на Наденьку Колокольцову (впоследствии Жемчужникову), мою двоюродную сестру, которую отдали в пансион и возили к нам по воскресеньям. Эту страсть я уже стал скрывать, боясь насмешек. Плотские побуждения оставались без предмета, но сильно занимали фантазию, причем я всегда воображал которую-нибудь из домашних женщин, переодевающую меня в другое платье, далее мои понятия не простирались.

Этот год любви к истории и к Наденьке прошел очень быстро, и с концом его наступил новый переворот в моем детстве. Мне был десятый год, и внутренно я больше при-

надлежал отрочеству, чем детству. M-elle Noël прогнали не знаю за что. Сдается мне, что моему отцу показалось, будто она за ним волочится, или он разыграл с ней роль agent-provocateur и, увидя, что крепость не неприступна, счел это за преступление со стороны воспитательницы детей и удалил ее. Впрочем, преступление было не с ее стороны; что мудреного увлечься мечтой — сделаться, быть может, супругою человека с пятью тысячами душ! Как бы то ни было — отъезд m-elle Noël произвел в моей жизни новую обстановку и действительный перелом. Поехала моя бедная m-elle Noël воспитывать красавицу княжну Абамелек (впоследствии Баратынскую) и, не довоспитав ее, сама вышла замуж за m-r Ducas, так что мой новый учитель французского языка m-r Allart написал мне в школьной тетради для какого-то грамматического примера: m-elle Noël avait de grandes prétentions pourtant elle s'est contentée d'un ducat, чуть ли не отсюда идет моя страсть к каламбурам!

Остановлюсь на минуту перед этим в самом деле новым периодом моей жизни. Какие элементы я вносил в него? Раздраженность фантазии, зачатки мышления, слабость и вялость тела, ненормальную возбужденность нерв, привычку к внутреннему одиночеству и скрытность. Физическая неповоротливость могла быть следствием болезни и комнатной гигиены; физическая лень двигаться была частью следствием того же, а частью наследственная от отца, которого все движение состояло в постоянном медленном хождении по зале. Слабость тела в периоде отрочества прошла под влиянием иной гигиены, но лень и вялость остались органическими недостатками, потому что были наследственны. Вялый мускульный фонд мог не мешать сильной внутренней работе, но отнимал способность к той деятельности, которая влияет на окружающее; я мог привязываться к существам более сильным, но не захватывать власти. Замкнутая работа в самом себе как раз согласовалась с скрытностью, выросшей от удушливой домашней атмосферы. Еще шаг — и скрытность должна была перейти в ложь и трусость. Все обусловливало характер слабый; наследственная мягкость отцовского и кротость материнского характера должны были развиться в уродливые размеры.

Первый период моего отрочества начался с появлением в доме Анны Егоровны Horsetter и вскоре потом

Зоненберга, которого ты уже так хорошо знаешь и описал, что здесь его характеристика — дело лишнее. Анна Егоровна продолжала со мной историю m-elle Ortlieb, но в этот возраст дело становилось более опасным. Хотя наши отношения никогда не пошли далее какого-то дразнения чувственности, но с девяти лет и до семнадцати я ее любил всем стремлением и помыслом, всем эротизмом в фантазии и действительности, к какому способен возраст еще неразвратный. Ты ее, я думаю, помнишь. Чрезвычайно худая, но недурная и весьма неглупая и очень добрая англичанка. Когда она явилась у нас в доме, ей еще не было тридцати лет. У ней были обожатели и хорошие люди, которые ее уважали за благородство мыслей и характера; почему она тогда не вышла замуж? Не знаю. Почему взрослая, может слишком зрелая дева сосредоточила внимание на ребенке — не знаю. Это физиологическая задача. Неужели и у ней был разврат фантазии. Трудно мне этому поверить, она была слишком благородный человек, и слишком идеалист. Я думаю, все шло очень естественно: она обратилась ко мне с материнской лаской, с материнской любовью к ребенку, который возбуждал ее участие кротостью и нежностью нрава и каким-то раздумьем, в котором пробивалась мысль. Она не знала, что в этом кротком ребенке ее женственная ласка возбудит подземный огонь эротической страсти; а раз эта страсть возбудилась во мне — она реагировала на нее, и чем я больше рос, тем больше ее материнская любовь переходила в иную любовь, а моя детская привязанность в козлоногую похоть сатира.

Но помимо эротизма Анна Егоровна имела на меня иное, глубокое и изящное человеческое влияние. Жизнь ее прошла в круге знакомства Кашкиных. Лизавета Евгеньевна была ее лучшим другом. Я думаю, через эту дружбу Ан<на> Ег<оровна> была исполнена уважения к моей матери, как к какому-то ангельскому существу, сотканному из любви и кротости. Чуть ли не из ее полуслов о моей матери я почерпнул тот религиозитет к ее памяти, от которого я никогда не мог отделаться, да и не хочется: он хорош.

Лизавета Евгеньевна, высокая, плотная женщина, то есть девица сорока лет, хотел я сказать,— имела на английскую кротость Анны Егоровны всеобладающее влияние, а Лиз<авета> Ев<геньевна> все свои мнения и речи

почерпала в кругу декабристов, к которым тогда принадлежал ее племянник, Сергей Николаевич Кашкин. Следственно, все движение декабристов отзывалось в образе мыслей Анны Ег<оровны> и через нее отзывалось во мне, невольно, смутно, но отзывалось. Ей я обязан если не пониманием, то первым чувством человеческого и гражданского благородства. Ей я обязан первым впечатлением поэзии; мне было лет десять, когда она учила меня читать по Байрону. Ее нравственное влияние на меня было так же сильно, как и то. Да! я с любовью вспоминаю о ней и с глубоким сожалением, что во время юности самое знакомство с нею я забросил с какой-то холодной беспечностью. Эта беспечность, вероятно, ее глубоко оскорбила; а во мне она произошла совсем ненамеренно, просто было некогда от разгульной жизни.

В научном отношении Анн<а> Ег<оровна>, конечно, не могла принести мне пользы. Рожденная в России, она едва могла мне порядочно передать английский язык, от этого я его и забыл легко. Воспитанная в благородном пансионе у эмигрантки Гибель, она преподавала мне историю по каким-то уродливым тетрадкам. Но, кроме изучения английского языка по глупым сказкам, с одной стороны, и по Байрону — с другой,— она, следуя духу времени, занималась русской литературой. Она переписала для меня, когда мне уже было лет двенадцать, всего «Войнаровского» своей рукой. Затерял я этот экземпляр где-то в деревне. Признаюсь, я теперь дал бы за него дороже, чем за самую редчайшую библиографическую редкость. Сама Ан<на> Ег<оровна> при всей инстинктивной поэтичности дальше своего школьного образования в науке не шла. Одному она училась, кроме того, что заучила в пансионе,— это латинскому языку. Это занятие она скрывала от посторонней насмешки; но все же оно было каким-то патологическим уклонением мозга. Я не помню, чтобы она читала латинские книги, но прилежно твердила склонения, спряжения и т. д. Мне кажется, что ей нравились звуки латинского языка — не более. Или это было то же отношение к учености, как у Петрушки к грамоте? О патология!.. Как здоров ни будь мозг, а все же свихнет в ничем не объяснимую сторону. И эта женщина, инстинктивно поэтичная, без цели училась по-латыни!

Почти через год после появления Ан<ны> Ег<оров-

ны> явился Карл Иванович. Лицо его, конечно, не расположило меня в его пользу. Все, что могло быть,— я привык к его лицу. Но как он мне ни был полезен, как он ни старался мне угождать, я его внутренно ненавидел. За что? Да за то, что он меня заставлял писать по-немецки, когда это было не его дело, за то, что он меня заставлял писать букву эм — m, а не как меня учила m-elle Ortlieb и немецкие учителя, ходившие и во время царствования Карла Ивановича, потому что Карл Иванович в сущности немецкой грамоты не знал. За то я его не любил, что он не знал грамоты; за то, что у него был рыжий парик; за то, что он был ряб, как терка; за то, что он мне повязывал галстук и свистал в лицо, тогда как у него из роту воняло. За то не любил, что он меня сбирался побить... За то я его не любил, что он мне мешал читать хорошие вещи, когда мне хотелось, говоря, что это час приготовлять урок такой-то,— и сколько я ему ни толкуй, что он у меня готов или что я успею его приготовить, он все на своем, до тех пор, пока я ему говорил, что пойду к отцу объясниться; тогда, как истинный подлец, он меня оставлял в покое <...>.

Кроме его менторства, у меня были учителя, которых я всех ненавидел,— какой-то глупый старик Wetterschrandt, математик Бер и m-r Allart. M-r Allart я ненавидел больше других. Он считал меня глупым, написал мне в альбом: «Longtemps, longtemps il s'avance, mais il arrivera», а я его считал дураком. Сестрой моей он был доволен, и она считала его за превосходного учителя; а я, как ни был мал, удивлялся, как отец не видит, что он осел, как Ан<на> Ег<оровна> не видит, что он осел, и только когда мне уже было лет двенадцать, я, несмотря на всю робость, доказал отцу, что m-r Allart не учитель, а дурак. Как скоро это было доказано, я поспешил подставить огромному и толстому Аллару изломанный стул так, что он тотчас же упал на задницу, подбородком на стол, и с четверть часа, сидя на полу, рассуждал, каким образом он мог упасть. Он пожаловался отцу; отец смеялся и отказал ему. А с моей стороны это была подлость. Если б я подставил ему стул прежде, чем доказал отцу, что он дурак,— это было бы хорошо; а это было подло, это была храбрость трусости, то есть наглость. Но я этим не ограничился: изломанный стул я подставил математику Беру, молодому человеку, который забрался

со мной в алгебру и геометрию, совсем не замечая, что я не понимаю даже арифметики. Я не знаю науки легче начальной математики, и надо быть пошлым дураком, чтоб не уметь объяснить ее даже ребенку или чтоб не видеть, понимает ученик или нет; а он не видел.

Когда стул с сломанной ножкой стал падать, Бер схватился рукой под сиденье и удивлялся, что и он и стул упали, несмотря на то, что он поддерживал сиденье рукой. И ему отказали. Я торжествовал. Но тут не чувствительно вошел в мою душу (употребляю это слово за неимением другого) новый элемент: злоба. Зоненберг, Бер, Allart etc. вызвали и развили во мне злобу. Не смейся, Герцен, не говори, что я вру; нет! я и теперь иногда чувствую огромную злобу. Если это чувство, о котором я искренно и сознательно говорю, не бросалось в глаза другим, даже тебе, то это потому, что оно являлось не как единый властный деятель, а как противодействие пошлой мягкости моего характера вообще. Не будь способности к этой злобе, вызванной обыкновенно после великого долготерпения, мои тряпичные свойства совсем бы меня уничтожили. Злоба сколько-нибудь уравновешивала их, от этого она вам была не видна, а я ее слишком хорошо и горько знаю. Прежде появления Зоненберга, Аллара и consorte у меня этого чувства не было. Каким образом возбуждается в организме чувство злобы? О Кабанис! Немного мы узнали после твоей книги! Говорят, желчь; но это такое же прибежище незнания, как четыре стихии древних для объяснения мироздания. Я видел людей с разлитием желчи (ictère), совершенно беззлобных. Но, говорят, когда печень страдает... Да, я зол, когда у меня надглазный нерв болит без всякого видимого соотношения с печенью. Всякая жгучая боль возбуждает злобу; это протест человека против предполагаемой целесообразной разумности природы или провидения. Объясните мне, как, каким образом, где отзывается неприятное впечатление — так, что кровь бросается в голову от бешенства, если мускулы упруги; а если мускулы дряблы, как у меня, то втихомолку оседает накипь ненавистей. Возьмите разные темпераменты, но объясните мне впечатление и ответ на него, звук и отзвук, процесс мне этот объясните — ученые невежды, которые не поставили его перед собой даже как задачу, как искомый *x!* На отставку Веттершрандта, Аллара и Бера всего больше имел влияния учитель русской

словесности — Запольский, которого не помню кто рекомендовал взамен Сенковскому. Этого ты уже знаешь. Высокая фигура с широкодлинным и глупым подбородком и маленькими карими глазами, выражавшими недопонятие чего-то. Почему я его любил сначала — необъяснимо. Он был положительно, филистрезно ограниченный человек. Он мне задавал темы для сочинений на слова вроде следующих: «Застава, пыль, Петровское, услужливый Карл Иванович, чай» и пр. А я его любил. Раз он как-то не мог приехать к нам обедать в день моего рожденья,— я расплакался, и он приехал. А через год после того я его возненавидел за тупоумие.

Мне было лет двенадцать. На место Бера Запольский рекомендовал Волкова. Этого ты также знаешь; оба, и Запольский и Волков, перешли от меня к тебе через Зоненберга. Волков преподавал умно начальную математику, несмотря на свою ограниченность. Но я года два при нем учился отвратительно, ненавидя математику в память Сенковского и Бера. Через два года по складу мысли я дошел до страсти к математике, и через четыре года Иван Федорыч благородно отказался от меня, потому что я пошел дальше его. Эта толстая, неуклюжая и даже не талантливая личность была очень благородна. Воздадим ему честь от души, Герцен! — Попав на плодотворную почву, уже не без зачатков, он не столько выучил нас математике, сколько развил благородную, либеральную мысль. Помянем старика дружелюбно и с уважением. Теперь его, вероятно, уже нет на свете; но любовью к человеческой свободе мы ему много обязаны. Да! Помянем его как благородного человека.

В то же время, помнится, также Запольский рекомендовал в немецкие учителя — Аллара. Но об этом дураке, которого ты не знал и который бессознательно имел на меня самое огромное и прекрасное влияние, я стану говорить после.

Перейду к другому предмету. Несмотря на эротическую страсть к Ан<не> Ег<оровне> и, помимо того, продолжавшиеся романтические влюбленности в разных кузин — Наденек, Катенек и пр.,— мне чего-то недоставало. Зоненберг помог этому недостатку, конечно, сам не зная, что он во мне развивает. Гигиену жизни Зоненберг совершенно изменил; галстука и ватошного сертука мне не надевал. Зоненберг водил меня гулять по целым часам;

особенно когда отец купил Никольское, и я там целый день был на воздухе,— мой организм осилил золотушное начало, и, несмотря на то, что я в Никольском в роще ложился головой на колени Анны Егоровны и от эротической раздраженности мочился в панталоны, несмотря на это, я окреп. Первое лето, когда мы жили не в Никольском, в Москве, Зоненберг водил меня в Кремлевский сад. Тут я познакомился с Веревкиными, детьми коменданта, вследствие знакомства наших менторов, то есть моего Зоненберга и их — Шульца, еще более глупого и совершенно грубого немца. Чего мне недоставало — я нашел, нашел дружбу. Страстно я привязался сперва к старшему — Николаю (впоследствии известному в литературе под именем Рахманного). Он был лет четырнадцати, то есть почти четыре года старше меня. Он уже писал стихи, какие-то подражания думам Рылеева. И я стал писать стихи. Что такое было, не помню. Помню, что, когда Запольский, с согласия моего отца, заставлял меня, не знаю почему, писать стихи, я ничего не мог написать, кроме бессмыслицы без ритма, и плакал над ними. А потихоньку писал какие-то элегии, которые тщательно скрывал ото всех; все они были посвящены Николаю Веревкину (в моей мысли, то есть я и ему об них не говорил). Но Николай Веревкин обращался со мной, как юноша с ребенком — свысока, это меня, наконец, обидело, и я всю страсть дружбы перенес на его брата Федора. Федор был почти такое же кроткое существо, как и я. И он меня полюбил. До сих пор помню, как мы шли по Воробьевым горам через какой-то мостик и поддерживали друг друга, объясняясь в взаимной нежности. Я потому помню, что это была одна из самых горячих и светлых минут в моем детстве. Дружба эта была основана ни на чем, кроме потребности дружбы. И знаешь ли, что я скажу при этом?.. Помимо научных, политических и умственных симпатий, дружба — так же, как и любовь к женщине,— явление нервно-физиологическое, состоящее под условием движения ведомых и неведомых в науке элементов. В то же время ездил к нам по воскресеньям из пансиона (Болдырева) Федор Левин, сын соседа и приятеля моего отца; он был года три старше меня, конечно, не глупей Веревкиных, а я к нему не привязался, дружбы между нами не было. А и Федор Левин имел на мою жизнь влияние: он каждое воскресенье привозил из пансиона тетради тогдашних запрещенных

стихов Пушкина, Рылеева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя, и не только я — Зоненберг переписывал! Конечно, все это потихоньку от отца. Но таким образом мое нравственное воспитание действительно началось; любовь к стихам под влиянием Николая Веревкина, любовь к запрещенным стихам, то есть к гражданской свободе под влиянием Левина, и еще более под влиянием Анны Егоровны и Волкова — и страстное чувство дружбы в детском союзе с Федором Веревкиным. Все задатки были положены, оставалось только сближение с тобою.

И где они все, друзья этого первого отрочества! Николай Веревкин умер рано; где Федор Веревкин — не знаю. Меньшие братья — Михайло и Александр — убиты на дуэли. Федор Левин — едва юноша — убит в турецкую кампанию, запальчиво врубившись в неприятеля. Omnes exeunt.

Прежде чем я стану говорить об Аллере, я упомяну об одном обстоятельстве, которое отрицательно подействовало на мою жизнь, оставив до сих пор неразвитыми и неудовлетворенными возникнувшие тогда стремления. После m-elle Noël музыке меня учил, кажется, наш крепостной капельмейстер — Василий Иванович Немвродов, впрочем, человек далеко не бездарный. Но я скучал за уроком. Вдруг взяли мне в учителя какого-то Эрнста, вскоре я перестал скучать, я стал учиться с любовью, которая переходила в страсть, я стал быстро успевать... Тут отец сказал мне, что так как я не люблю музыки и что полезнее больше учиться арифметике, то надо перестать учиться на фортепьяно. Я стоял, как ошеломленный; от привычной робости перед отцом и от глупого стыда, что ведь сам же я говорил, что не люблю музыки, а вдруг скажу другое — я не протестовал; уроки прекратились, а страсть к музыке выросла, а средств к занятию не осталось. Это одно из самых томительных чувств в моей жизни, это равняется страданию импотенции.

Аллер был дурак, это не подвержено сомнению; сверх того, он был ростовщик, скряга, но, несмотря на нажитое состояние, он, чтобы ничего не терять из виду, оставался учителем немецкого языка. Язык он знал, как все его знали до грамматики Беккера, то есть по Шаду (Schade um die Sprachlehre), тем больше, что он был русский уроженец, русский немец в полном смысле слова; зато он и по-

русски знал так, что переводил с немецкого на русский стихами, равно владея и тем и другим языком. К делу учителя он привык. Он читал со мной Шиллера, по навыку, конечно, не по сочувствию, указывая на красоты поэзии с умилением, которое было ему не к лицу. Но я этого не замечал; я видел Шиллера, а не Аллера. Струна философско-гражданского поэтического настроения зазвучала. Звук ее совпадал с звуком современной запрещенной русской литературы. Я был затронут за живое. Уроки Аллера становились для меня существенной пищей. Из Тидгевой Урании я почерпал наклонность к теоретическим гаданиям; скучна она, эта Урания, я пробовал ее перечитывать — невозможно, как Юнговы ночи; а тогда она казалась мне чем-то великим, и я, погружаясь в смутное созерцание, задумывался над стихами.

Dennoch tief verhüllt und leise
Schreitet eine finstre Macht dacher,
Für das Ohngefähr zu weise,
Für die Weisheit zu sehr ohngefähr.

Сколько я ни доискивался их философского смысла, сколько ни восхищался с Аллером этими стихами, которых звук мне был приятен, но смысла я не доискался, а подготовилось одно — потребность философского знания. Но вскоре эта потребность нашла гораздо больше пищи в философских письмах Шиллера. Шиллер для меня был всем — моей философией, моей гражданственностью, моей поэзией. Не немцам следовало бы праздновать ему столетие, а нам. До Гёте я тогда не касался; почему Аллер избегал Гёте, думал ли, что я мал для понимания его или сам в нем ничего не понимал? Я думаю, и то и другое. Высокий, худой, черноволосый, с лицом здоровым, но сухощавым и жестким, Аллер был бы славной фигурой для Гарпагона в сорок лет. Запольский рассказывал про него, что, когда они были студентами, Аллер из приличия говорил товарищам: «Приходите когда-нибудь ко мне чайку напиться». А когда они приходили, он встречал их, не зазывая к себе, у ворот — с вопросом: «Когда же ко мне-то?»

Каким образом он мне объяснил Шиллера? Каким образом он сделался главной пружиной моего вольнодумства, он, чиновник в душе, в приемах, во всем — даже в темнозеленом цвете фрака, застегнутого на две нижние пуговицы? Не знаю,— а ведь могут быть существа, у кото-

рых мысль с поэзией и жизнь идут как параллельные линии, никогда не встречаясь, но сосуществуя в одно время. Может, и Аллер принадлежал к таким людям. Он меня развил, но я его внутренно не любил.

Таким образом, я подхожу к второму периоду моего отрочества. Я приношу в него совсем подготовленную канву слабостей и стремлений: немного окрепшее тело, но все же вялое, робость перед отцом, затаенную злобу, скрытность в хороших и дурных поступках, уже вызывавшую меня на ложь; слишком уродливо развитую чувственность, немного усиленную склонность к романтической любви, сильную потребность нежной и горячей дружбы, смутные стремления к знанию, поэзии и гражданской свободе. Несмотря на темные стороны, я был подготовлен к встрече с тобою. Как ни розны наши организации, но путь наш был один; у тебя на этом пути было больше прямолинейной деятельности и мужества. Я скорее был похож на женщину, и вдобавок на развратную женщину; шел беспечно зигзагами около прямой линии, но все же в сторону не сворачивал. Все же, раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе; пусть же моя исповедь будет для твоего «Былого и дум» дополнением до двух прямых.

ГЛАВА 2

От знакомства с тобою

Может быть, в моем рассказе об отрочестве перепутаются случаи из окольных годов; они перепутаны в моей памяти, и я не ручаюсь за хронологическую верность. Знаю только, что в целости этой эпохи я не ошибусь; значение происшествий и колорит этого времени не изменится от перестановок, смежных до незначительности.

Перечитывая «Былое и думы», я не помню, в первый ли раз мы встретились в день смерти моей бабушки или немного прежде. Даже этот день, проведенный с тобою, помнится мне очень смутно, вероятно потому, что я был сильно озадачен смертью бабушки, и остальные впечатления выпотели. Многое соединилось, чтоб сделать для меня эту смерть поразительной. Поэтому я должен вернуться месяца за три назад. Бабушка умерла горячкой в феврале 1826 года, а я теперь вернусь к ноябрю 1825.

В ноябре умер император Александр. Первый эту весть привез к нам штальмейстер Юшков, муж моей двоюродной сестры (желчный, злобный, сумасшедший человек и артист, скульптор животных из воску — с талантом, какого я подобного не знаю). У моего отца навернулись слезы, он был встревожен. Я понимаю, что Юшков был встревожен; его судьба зависела от Александра; Александр сделал его штальмейстером — Юшков обещал ему довести конские заводы до того, что каждая лошадь будет родиться статями по данной картинке! Но мой отец, живший барином в отставке, принимавший больше участия в важной обстановке светских приличий, чем в государственных и служебных вопросах,— с чего он плакал? Любил ли он Александра? Любил ли он вообще царя из религии к власти? Не знаю. Только его тревога на меня подействовала, я тоже огорчился и плакал.

Запольский велел мне написать стихи на смерть Александра и даже потом хвалил их и показывал моему отцу; но я сам сильно был ими недоволен и искал в себе тему, на которую мог бы написать хорошие стихи. Отец велел сшить мне черный фрак, потому что сын действительного статского советника и кавалера не мог не носить траур по государю. Я был очень рад черному фраку, он возбуждал во мне чувство щегольства, которое редко меня посещало, а все же посещало, и маленький червячок глупого тщеславия разве только теперь стал мне совершенно чуждым.

Бабушка тоже была встревожена; Зоненберг был сильно озабочен. Приезжавшие гости имели вид пасмурный. Многие из нашей дворни плакали. Мне было страшно: у меня толпились в голове — Александр, 12 год, деяния российских полководцев, которые я недавно читал, «Певец в стане русских воинов», недавнее наводнение в Петербурге, смерть Александра — все это сливалось в смутном чувстве какого-то хода судеб, в страхе перед какой-то исторической огромностью.

Я слушал разговоры больших с напряженным любопытством, что-то представлялось мне темной загадкой, которую надо разрешить и пойти по своей избранной дороге. Время первого разрешения загадки и своя дорога пришли вслед за вестью о смерти Александра, с вестью о 14 декабря.

На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их;

Волков не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла к заговорщикам и постепенно вырабатывалась в их пользу. Отец мой, после первого ужаса, видимо избегал говорить об этом предмете, так что от него мало приходилось слышать даже об арестах того времени; зато как же усердно ловилось каждое слово, кем другим сказанное. Кроме имени Рылеева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись вследствие близости Елизаветы Евгеньевны с нашим домом и Анной Егоровной. Да еще Аллер мне сказывал, что Владимир Одоевский, товарищ Кюхельбекера по изданию «Мнемозины», бывший его ученик, держит наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут.

Спустя месяц около, навестила бабушку старуха Челищева, которая произносила *чек* вместо человек. Я случайно был в гостиной.Старуха долго толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные приверженцы отечества. Как это вошло в голову старухе — не знаю: у нее из родни едва ли кто был взят. Но ее слова произвели сильное впечатление на бабушку.

Вскоре после этого посещения у бабушки сделалась горячка, и она в бреду только и повторяла слова: «Приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы». Меня приводили к больной раз или два в день. Она глядела на меня своим одним глазом и всякий раз говорила: «Да! Они настоящие приверженцы, приверженцы». Я понимал, о ком и о чем она говорила. Этих слов, ее лица и голоса я до сих пор не забыл, а тогда они меня преследовали. Мне все не верилось, что бабушка умрет, я не видал мертвых и не знал, как умирают. Но раз отец вдруг остановил меня середь залы, обнял и сказал: «Твоя бабушка умерла» — и горько заплакал. Я остолбенел; я помню теперь, как будто это было вчера, как мне вдруг стало холодно, потом я начал плакать, плакать, и в ушах у меня отдавалось: «приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы...»

Бабушку положили на стол в большой зале. Из моей комнаты не было иного выхода как через залу, и мне хотелось часто проходить, чтобы взглянуть на бабушку. Ее желто-бледное лицо не пугало меня, мне хотелось на него смотреть и плакать. Вероятно, поэтому отец заблагорассудил отправить меня куда-нибудь на целый день, и Зонен-

берг привел меня к тебе. Но, повторяю, это обстоятельство утратилось у меня из памяти. У нашего подъезда стояла толпа купцов с парчами, они громко бранились, мне показалось ужасно дика и гадка эта первая встреча с конкуренцией или, пожалуй, с родом человеческим. Но когда был вынос и я в последний раз подошел к бабушке и поцеловал ее в холодный лоб, мне стало невыносимо горько, что-то похожее на отчаяние.

Пригодился же мой черный фрак, сшитый в честь императора Александра! Но его обшили белыми плерезами, и этот наряд на себе и на других наводил на меня пущее уныние. Помню, как я шел за гробом в Донской монастырь, как можжевельник был разбросан по всей рыхлоснежной дороге от Никитских ворот до приходской церкви Вознесенья, а от нее до монастыря; как отпевали у Вознесенья и я смотрел на мою мертвую бабушку; как ей надели на голову какую-то глупую кайму с печатными образами и в руки всунули печатный лист (паспорт на тот свет) и полили ее маслом из чашки, как гроб заколотили гвоздями, и я уже не видел моей бабушки! Помню, как Доможиров в зелено-голубом казакине с саблей безумно суетился, как какой-то безумный любитель похорон, Левашев, дремал на клиросе, как я удивился, что люди, которые несли факелы, были будочники, как гроб стоял в первом отделе монастырской церкви, как монахи пели, как гроб опустили в землю и стали бросать песок в могилу, как я потом поехал домой с сестрой и не помню кем еще — и мне было пусто и тяжело...

Должно быть, впечатление первой смерти, как всего первого, сильнее — после привыкаешь. Таким образом, смерти моей другой бабушки, которая умерла через год, я почти не помню, а любил я ее гораздо больше. То есть я не помню похорон, не помню, как стояло мертвое тело, и только по слуху знаю, что хоронили ее тоже в Донском монастыре, и знаю, что я был на похоронах. Но зато я помню одно обстоятельство во время ее болезни. Она велела меня позвать и оставить с ней одною. Она взяла меня за руку и долго, тихо смотрела мне в глаза: «Я умру,— сказала она,— не плачь, это уж так надо. Я тебя больше всех любила и тебе совершенно верю (мне было четырнадцать лет!). Скажи отцу мою последнюю волю, я хочу, чтобы он дал отпускную Степану Булатову. Ты скажи ему это, я от тебя этого требую». Я обещался.

Она нагнула меня к себе и тихо поцеловала, но не плакала. Я старался не плакать, я благоговел перед спокойствием умирающей.

После этого я не помню, как и скоро ли она умерла. Помню только, что вскоре я исполнил ее поручение и сказал отцу ее волю. Почему он ее не исполнил, я не понимаю. Какая корысть ему была в этом человеке, который был плут и меня после предал,— не понимаю. Я напоминал отцу еще раз после, во время моей ссылки; он не успел. Уже я отпустил Булатова на волю тотчас после смерти отца. Но об этом позже.

Не помню, прежде ли смерти первой бабушки, или вскоре после, провозили через Москву тело Александра I; но помню, что я смотрел на процессию с галереи или подмостков, устроенных на дворе Обольяниновского дома для почетных зрителей, между которыми считался и мой отец с семейством. Долго мы ждали траурного поезда, и, наконец, торжественная процессия дефилировала и показалась мне совсем не торжественной, так ее исказили люди, участвовавшие в ней. Все в ней было расположено, как следует, по чинам, кто из господ дворян шел впереди, кто сзади и кто за кем — я помню печатную роспись. Катафалк — парчовой параллелограмм на позолоченных столбах с белыми страусовыми перьями наверху не имел ничего поражающего печальным, траурным великолепием.

Господа дворяне (народ был только зрителем вдоль улицы, я не помню народной толпы за гробом), господа дворяне, шедшие спереди и сзади и несшие какие-то регалии, были все больше или меньше выпивши, с холоду, как после говорили. Поэтому говор доходил до гама, и я помню, что как я ни был молод, а уже во мне оскорбилось чувство простого человеческого приличия. Помню в процессии безобразную глупую фигуру нашего общего знакомца, ростовщика Василья Абрамовича Насакина, который тоже был выпивши. Все проходящие здоровались с знакомыми на Обольяниновской галерее, громко, с какой-то кабацкой наглостью. Словом, я из зрелища не вынес ни малейшего уважения ни к царскому погребению, ни к публике, его сопровождавшей. Идея царского величия, идея важности важных людей и вещей в окружающем мире сильно поколебалась в отроческом уме. Стало — тут не было настоящей скорби,

не было важной утраты; тут было что-то равнодушное, около чего люди собрались с неуважением, что-то вроде забавы. С чего же недавно все плакали и тревожились? Мне было дико, я оставался в раздумье и недоумении [1].

Но перейдем от мертвых к молодой возникающей жизни.

Встреча моя с тобой, Герцен, была в самый разгар моей дружбы с Веревкиными. От этого я с тобой сближался гораздо туже и дольше, чем бы естественно следовало. Меня тянуло к тебе; самые разговоры наши больше отвечали на все во мне зарождавшиеся запросы, чем разговоры с Веревкиными; но сближение с тобою казалось мне какой-то изменою той дружбе, и я колебался. Я совершенно был в положении человека, который разлюбил одну женщину, и жаль ему ее бросать, а он уже полюбил другую, и мучительно, со страхом и угрызениями совести отдается новой страсти. Много я выстрадал внутреннего укора, прежде чем решился назвать тебя другом.

---

[1] Кстати, мимоходом, об Обольянинове. Петр Крисанфович Обольянинов, высокий сутуловатый старик, смотревший на всех грубо, с требованием достодолжного почтения, двадцать или тридцать лет губернский предводитель московского дворянства, временщик, разбойн<ик> и палач павловского царствования, вечно в коричневом фраке со звездами... я его боялся и чувствовал к нему робкое уважение, которое невольно перенимал у моего отца. С чего мой отец уважал его?

Мой отец был добрый человек, а это был злодей, воображавший себя государственным дельцом. С чего самый независимый из стариков — старый Тучков ездил к нему? Что могло быть между ними общего? Оттого что человек был четыре года одним из гнусных любимцев сумасшедшего императора — московское дворянство считало долгом тридцать лет толпиться в его гостиной и передней? Не только подобострастие перед человеком, который был бы теперь в силе, а подобострастие перед человеком, потому что он когда-то был в силе — каким же холопством разрасталось благородное российское дворянство! И сколько гнилой крови передалось из поколения в поколение от московского боярства до вершины дворянского блеска при Екатерине и от этой вершины под гору до наших времен. Да! надо было прийти двенадцатому году, повыпустить гниль и поколебать в обычай сложившееся дворянское холопство. Видно, и двенадцатого года было мало; от этого нашему высшему сословию так трудно сближаться с народом, который может быть запуганным рабом, но у которого в жилах добровольно холопской крови нет. Холопам нужна нисходящая лестница холопства; от этого, еще больше чем из выгод, большинство дворянства не может добровольно отказаться от рабовладения; и только меньшинство болезненно, мучительно стремится перейти в народ, меньшинство и теперь такое же малое, как оно было во время 14 декабря. О история! <*Прим. Огарева.*>

Решение мое пришло очень смешно. Запольский, который был уже и твоим учителем, дал и тебе и мне читать Карамзина. Нам очень понравилось: «Цветок на гроб моего Агатона». Ты мне сказал — не то, чтоб очень развязно: «Вам бы надо завести своего Агатона». Я не понял и думал, что ты советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было. Ты захохотал. «Нет, вы меня не поняли,— сказал ты,— я говорю о друге».

Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупости и не отвечал. Долго после я думал о «моем Агатоне», думал, что тебе хочется, чтоб я так назвал тебя; меня мучила робость и неодолимое влечение дать тебе это имя, которое, пожалуй, и забавно, но тогда вовсе не казалось смешным. Моя нерешительность сделала то, что дружба страстная, деятельная, ищущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу, установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу *ты*. С Веревкиными я стал видаться все реже и реже и, наконец совсем расстался; они мне надоели, вместе с играми в разбойники и солдаты на Кремлевской стене, где мне, впрочем, бывало так хорошо ранним летним утром в виду пол-Москвы чувствовать себя каким-то военным человеком. Во время óно Николай Веревкин писал думу о Фигнере, двенадцатый год крепко отзывался во мне, и я с какой-то гордостью ходил по воскресеньям с детьми и стариком Веревкиным на обычный комендантский развод на Кремлевской площади. О история!

Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлениями предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще своей формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой — натянутые теории по крупным данным — и обе науки, которые должны составлять одно целое, хромают вразбивку.

С нашего сближения моя страсть к чтению начинает удваиваться. Я увидел, что ты читал гораздо больше и мне надо догонять тебя. Мое учение шло школьно, обычным путем. Грамматики всех языков, история по пошлым учебникам; география, которую сперва мне преподавала Анна Егоровна по Кряжеву, сама не зная ни географии, ни ее

значения, а потом Запольский по своей книжечке. Я учился сначала только потому, что она мне преподавала, знал уроки в срочный час и потом забывал их; география Запольского не прибавила интересу. А ты как-то воспитывался свободно, у тебя водились книги, о которых мне и не грезилось. Ты читал уже «Contrat social». Я у тебя его взял и читал потихоньку от отца. Новая пища уму представилась. Диапазон жизни повысился, и все соединялось к тому, чтоб настраивать его выше и выше. Шиллер, русская литература декабристов, их гибель, рассказы Анны Егоровны о Якубовиче, коронация уже ненавистного императора — и всю эту эпоху мы с тобой переживали вместе, постоянно подталкивая друг друга в развитии и стремлении к одной и той же великой, для нас еще неясной цели.

У тебя было две комнатки, окнами в противоположные стороны. В одной мы сидели по вечерам. Прямо в окно светила звезда, которую мы назвали нашею; я на нее глядел с детской мистической любовью. В другой комнатке был столик, на котором ты писал, приготовлял уроки. Бушо я уже не застал у тебя; Ивана Евдокимовича и рыжевласого попа помню. Но Запольский послужил нам союзным звеном. Нам приходилось приготовлять почти те же уроки и читать одни и те же книги. Помню я, как ты писал стихи, по приказанию Запольского, и взял мифологическую тему. Помню даже один стих:

И Феста Дия проклиная,—

над которым мы оба смеялись. В то же время я написал стихи на прощанье с другом. Стихи были гладки, Запольский торжествовал, а я усиленно принялся писать элегии, которые никому, даже тебе, не показывал, и наклонность к скрытности с тем вместе развивалась.

Но я не за тем начал говорить о твоей маленькой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и толковали по-своему о декабристах. Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы, и тебе пришла мысль, что нам надо присягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались. Перо, которым мы подписались, хранилось у кого-то из нас, как святыня. Долго хранилось это перо; мне помнится, что через не-

сколько лет, уже юношами, мы его бросили не без сожаления о прошедшем детстве.

Коронация ненавистного человека меня сильно охватила военщиной. Разные родственники в мундирах толпились у бабушки Баскаковой и долею у нас в доме. Меня возили на парады. Артиллерийский мундир меня привлекал, но верх надо всем взяли уланы. Я грезил себя в уланском мундире, похожим на ротмистра Петухова, которого я видел издали.

А когда коронация кончилась и полки стали расходиться и я присутствовал при всех отправках в поход, блеск мундиров, туча красивых лошадей, военная музыка — все это меня совсем с ума свело. Я пел наизусть все марши и жаждал быть офицером. Около того же времени меня стали учить верховой езде, и я только думал о лошадях и эполетах. Военное настроение пронеслось быстро, но не бесследно; гораздо позже, середь полного совершеннолетия, во все трудные минуты жизни меня охватывала тоска по военной жизни и грезился в ней выход из личной скорби и даже средство политического движения.

Если очень всмотреться в этот факт, то нельзя не распознать, что в нем являлось не новое впечатление и увлечение, а интеграция прошлого, сохраненное и видоизмененное впечатление военных картин из времени коронации.

Зима прошла для меня в усиленной внутренней работе и развеяла страсть к военщине. Кроме твоего влияния или под твоим влиянием, самодеятельность, потребность высказывать свое умственное развитие явилась у меня от очень пустого случая. Французский учитель Кюри, заступивший место Аллера, долго возился около меня, не понимая, как вынудить у меня интерес к его урокам. Читал он со мной Расина. Расин для меня не существовал возле Шиллера. Задавал он мне переводы, я их делал правильно, но лениво; задавал он мне темы для сочинений, я их исполнял крайне глупо. А между тем ему во мне что-то нравилось, и он хлопотал обо мне с любовью, которую я инстинктивно чувствовал. Раз он мне сказал: «Сочиняйте, что хотите, я не стану вам задавать темы, пишите, что вздумаете». Какая-то электрическая искра пробежала по мне. Я к каждому уроку писал, сколько успевал. Первой темой я выбрал чувство дружбы. Кюри был в восторге от двух страничек, мной написанных. Это меня подстрек-

нуло. Чего уже я не писал ему потом! Всякая мысль, которая приходила в голову, записывалась в тетрадку французских сочинений. От «Contrat social» я перешел к Монтескье, с увлечением читал «Décadence» и «Esprit des lois», которые, вероятно, не понимал или понимал вкривь и вкось, и писал для Кюри статейки об английской конституции.

Запольский и тебе и мне страшно надоел. Не помню, кто у тебя заменил его. Мне Волков доставил Василия Игнатьевича Белякова, натуралиста, учителя в гимназии.

Натуралист, человек очень умный, первый выучил меня русской грамоте и так же, как Кюри, дал мне волю запруживать его моими сочинениями, но — противоречие, которое часто доводится встречать,— натуралист сбил меня с толку и внес в мои материалистические тенденции (я читал Локка) супернатурализм [1]. Я с Беляковым часы спорил против врожденных идей; он мне принес три тома «Des idées innées», не помню чьего творения,— и я сильно поколебался. Помню вечно это время, как я ночью вставал потихоньку — Зоненберга перевели из моей спальни в темные антресоли, и я спал на свободе — вставал и писал какие-то философские статьи, которые порождали бесконечные споры с Беляковым, но между тем ставили нас в отношения чрезвычайно дружеские, и я к нему был искренне привязан. После я узнал, что он был человек довольно хитрый и корыстный, это меня сильно огорчило.

Но с этого времени не оставалось над мной ни одного влияния, которое бы перечило моим политическим тенденциям, и они становились на первый план. Беляков если не по характеру, то по уму сочувствовал им. Волков по искреннему убеждению. Аллер хотя и преподавал мне логику по Кизеветтеру, но по Шиллеру принужден был сочувствовать политическим тенденциям. Анна Егоровна наивно детски разделяла со мной весь либеральный жар

---

[1] Раз меня привезли на светлое Христово воскресенье к заутрене в домовую церковь Обольянинова, это был обычай. Там возле меня стоял Васильчиков, улан, воспитанник Кюри, слегка замешанный по 14 декабря. Заутреня кончилась, Васильчиков, вздохнувши от устали, с пренебрежением и ненавистью в голосе сказал мне: Finita la comedia <комедия окончена (итал.)>. Я так это близко принял к сердцу, и меня так охватила атеистическая тенденция, что я вот это помню до сих пор. <*Прим. Огарева.*>

и любовь к людям 14 декабря. Ты — но об этом уже и говорить нечего. Отец мой не замечал, потому что я от него скрывался; Зоненберг не понимал, потому что был глуп. Таким образом, мои поэтико-политико-философские тенденции разрастались на воле. В это же время я начал страстно заниматься математикой, и Волков стал больше и больше обращаться со мной почти как с юношей, которого он от души любил, чем как с ребенком.

Хорошо было это время первого развития, Герцен! Может, я слишком долго останавливаюсь на нем, но ведь тебе это не скучно, а мне несказанно весело! Когда я вдумываюсь в него — мне будто становится так же легко дышать, как тогда, дышать во всю молодую свежую грудь — чистым весенним воздухом. А тут подошел и день прогулки на Воробьевых горах, день сознания сильной дружбы, день сознания своей дороги... Сколько надежд, сколько сил — черт знает. Это так хорошо было, что плакать хочется.

Что-то уже я не припомню — в 1827 или <18>28 году моя сестра вышла замуж. Мои отношения к сестре были очень странны. Она лет шесть старше меня. Она мне говорила «ты», я ей говорил «вы». Я к ней имел уважение привычки, она смотрела на меня свысока, как на ребенка. Тем не менее она мне поверяла свои бальные тайны. Я знал, кто за ней волочится, кто ей нравится. Это был единственный пункт, на котором мы сближались и который установлял между нами дружбу, не имевшую никаких иных корней, потому что мои интересы были ей совершенно чужды. Должность поверенного молодой девушки, которой непременно хотелось влюбиться, которая искала своего суженого и ни на ком не могла остановиться, сильно действовала на мою природную влюбчивость. Я искал идеальной любви <...> Светское искание влюбиться моей сестры принимало во мне колорит шиллеровских героев. Но предмета у меня в эту эпоху не было. Склонность к Наденьке Колокольцовой прошла, потому что и она, как моя сестра, трактовала меня свысока.

Наконец, сестра поверила мне тайну, что у нее жених. Отец долго не решался выдать ее за Плаутина, набирал о нем справки. Мой двоюродный брат Григорий Дмитриевич Колокольцов, бывший лейб-гусар и однополчанин Плаутина, одобрил его, и отец согласился.

Увы! Григорий Колокольцов был тогда уже не гуса-

ром, а жандармом. В жандармы он пошел из боязни, потому что был заподозрен участником в обществе 14 декабря и надеялся поступлением в тайную полицию стереть преследование, а между тем при случае спасать преследуемую молодежь. Я верил этой полусказке, потому что любил его. Приехав к нам в отпуск, он обращался со мной дружески и казался мне человеком затаенно либеральным. Я чуть не создал себе из него героя. Но возвращаюсь к Плаутину.

Плаутин не произвел на меня выгодного впечатления. Мне в нем что-то казалось неискренним. Впрочем, я видел, что сестра моя счастлива — и более не беспокоился. Вся кутерьма в доме, пока он был женихом, отдаляла меня от всех, кроме Анны Егоровны, и сближала нас, в кутерьме посторонних, в еще более страстную дружбу и страстный эротизм. Я с ужасом предчувствовал, что скоро ее не будет в доме, сестре уже не нужна гувернантка, уедет моя ласковая англичанка, и я останусь в доме глубоко одинок, чужой в своей семье. Наконец, и свадьба была справлена в домовой церкви Обольянинова. Ненавистный Петр Хрисанфович был посаженым отцом. Плаутин был одет во всем гусарском наряде, но я уже смотрел на этот наряд с негодованием; мои интересы изменились, я видел в офицерстве поддержку деспотизма — и решил не вступать в военную службу, как ни привлекателен уланский мундир.

Женившись, Плаутин поселился у нас в доме. Он, напротив того, старался увлечь меня в военную службу. Я молчал и таился от него. Ему хотелось, чтоб отец послал меня с ним в Царское село и я под его руководством поступил бы в гусары. Дело дошло до того, что раз отец позвал меня в кабинет к Плаутину и спросил, хочу ли я ехать с сестрой в Царское село и готовиться к военной службе. Я сказал, что ни за что на свете не пойду в военную службу, а только в гражданскую. Мне втайне мерещилась дипломатическая карьера и заговор против Николая, по методе маркиза Бедемара, которого историю я в то время читал с поглощающей страстью. Плаутин взбесился, побледнел и сказал, — что что же меня слушать — я сам не знаю, чего хочу. Но мой отец обрадовался до слез; он боялся отпустить меня на убой. Это повернуло меня на большую нежность к отцу. Из этой нежности вышло забавное обстоятельство. Мы с тобой говорили о необходимости составить литературный круг, нечто вроде

своей академии. Как же было скрыть такое решение, как приступить к начинанию такого дела без согласия и помощи отца, который так ласково показал мне, что входит в мои интересы. Я ему объявил о проекте нашей академии. Отец рассердился, сказал, что это ведет к политическим обществам, погрозил разлучить меня с тобою. Я сконфузился и притаился. Этим надолго была пресечена всякая откровенность с моей стороны и близость с отцом. Я понял, что мне дома только остается совершенствовать мою склонность к молчанию и скрытности. Я чувствовал себя чужим. Мне было стыдно моего увлечения, было досадно и больно. Это была одна из моих самых тяжелых минут в тогдашней жизни.

Плаутин уехал на время в Кременчуг, ради ремонтерства. Анна Егоровна перешла гувернанткой к Пашковым. Я остался один, между отцом и Зоненбергом. У меня дома ничего не было близкого; моя жизнь была в свиданиях с тобою.

Но сестра через несколько месяцев воротилась, их приезд не радовал меня. Мы все были друг другу чужие.

Сестра взяла к себе жить нашу родственницу (из небогатых) — Машеньку Наумову. Я сначала не обращал на нее внимания, она была года четыре старше меня. Одно только я любил — это ее голос. Она пела удивительно. Я заслушивался, но не сближался с ней.

В то время случилось действительно несчастье. С отцом моим был удар; у него отнялись рука и нога. Он долгое время лежал почти без языка. Я был перепуган, огорчен, но — странное дело — я смутно помню это время. Неужели впечатление скользнуло по мне не сильно и не врезалось мне в память? Неужели любовь к отцу была у меня больше делом внешнего долга, натянутость привычки — и только? Если между нами не было умственного сочувствия, сочувствия направления, то все же была какая-то нежность отношений. Или этого недостаточно? Да, видно, так. Видно, привычная робость, скорее подлая, чем хорошая, и привычная привязанность не в силах создать семейного единства, и то отношение, на котором вертится все гражданское устройство, отношение отца к детям — только постоянное насилование друг друга во имя этого гражданского устройства, во имя семьи и собственности, и составляет одну из тех призрачных связей, на которых держится историческое безумие, взаимно мешая и портя

жизнь двум поколениям — отцам и детям и повторяя свою ложь в продолжение веков непрерываемой цепью. Впоследствии к чувству подлой робости и привычной нежности у меня примешалось чувство сострадания к больному отцу.

А все же старик отжил век без истинной преданности сына и, может, чувствовал это мучительно; а я провел молодость без истинного, на жизнь благословляющего влияния отца. Есть ли исключения в этом порядке вещей? Может быть — не знаю! Республиканцу <17>89 года, вероятно, было так же тяжело видеть в сыне буржуа тридцатых годов, как моему отцу, шедшему путем чинопочитания, тяжело было видеть в сыне революционера.

С которой бы стороны ни стояло благородство человеческое — рознь все равно существует. В самом физиологическом росте одного поколения и умирании другого мы не можем не видеть противуположного движения; как бы сложны ни были его данные или составные силы, все же окончательная, отвлеченная формула такого механизма сведется на то, что две противоположно движущиеся силы или, столкнувшись, ушибутся, или скользнув мимо, или коснувшись, разлетятся в разные концы друг от друга. В самом деле — где же тут возможность единства?

В это время я помню один мерзкий поступок с моей стороны; он до того возмутителен, что врезался мне в память сильнее всей остальной обстановки. Мой отец еще лежал больной, не вставая с постели. За несколько времени до его удара меня стали посылать учиться танцевать к танцмейстеру Флагге. У него училось несколько молодых людей и барышень. Одна мне, мимоходом, очень нравилась. Отказаться от урока, несмотря на болезнь отца, мне не хотелось. В назначенный час я сказал Зоненбергу: «Отчего нам не ехать на урок?» (Зоненберг обычно ездил со мной.) Зоненберг не отклонил меня от этой бессердечной неприличности, почему — не знаю. Вдобавок я заметил, что Плаутину хотелось меня не пустить — авторитетом. Следственно, решено,— мы поехали. Когда мы воротились, Плаутин мне заметил, что это неприлично и что я без спросу его не должен бы ездить. Я не отвечал, но с самодовольствием посмотрел на него, чтоб он понял, что он мне не хозяин. На другой день мне было страшно стыдно перед самим собою и за мою бессердечность и за мелочность перед Плаутиным, который в данном случае

был прав. Я долго терзался угрызением совести и, помнится, вовсе перестал ездить к Флагге. Я потому не мог пропустить этого случая, что подобная преданность страстям и капризам играет роль через всю мою жизнь. Отец мой понемногу оправился настолько, что с помощью двух людей ходил, или, лучше, двигался по комнате.

Мы на лето поехали жить в Кунцево.

Дай опять забыть темные и мелкие стороны жизни! Дай опять вздохнуть чистым, весенним воздухом! Кунцево осталось у меня в памяти, как блаженный сон. И как же оно хорошо было в то время с своим большим обветшалым домом и садом, скорее похожим на огромный лес, чем на сад. От дома широким просеком круто спускался берег Москвы-реки, с обеих сторон просека шел лес, густой, зеленый, свежий, заросший кустами между вековых деревьев всех разнообразных пород чернолесья. За рекой зеленела и синелась бесконечная луговая равнина. Там заходило солнце ясно и мирно. По лесу у реки шла дорожка, с одной стороны до проклятого места, с другой — выходила верхом берега до Гусарева.

Тонули шелесты, и каждый звук иль шум
В широком ропоте лесного колыханья...

Сколько студеных ключей было в темной зелени! Как хорошо было на все это смотреть пятнадцатилетнему отроку, который блаженствовал в первом действительном чувстве любви.

Да! Я влюбился в Машеньку Наумову со всей чистотой сердца и со всем колоритом летней ночи, как оно только может быть в пятнадцать лет. Жизнь в небольшом флигеле в Кунцевском саду поневоле заставляла видеться часто. Из моей маленькой учебной комнаты мне было слышно, как она пела; я часто переставал работать и слушал. Бедной Машеньке нужна была чья-нибудь симпатия. Сестра моя была занята своим мужем и своей беременностью, она не могла быть ей подругой. Больной отец мой хлопотал о своем медленном выздоровлении, переносил болезнь мужественно и спокойно, но мог относиться только благосклонно равнодушно к молоденькой родственнице. Плаутин обращался с Машенькой неприятно насмешливо, как parvenu, доженившийся до большого состояния, с бедной девушкой. Машенька невольно искала во мне развле-

чения, опоры, сочувствия — почти сострадания в своей одинокой молодой жизни, униженной до жалкой роли какой-то нахлебницы. Она стала мне рассказывать о своем детстве, о воспитании в Смольном монастыре, о своей любви к кому-то, кто ее холодно и плоско разлюбил. Ее доверчивость сближала нас. Помню, как раз приехал к нам ее отец, маленький, толстый, пьяненький и глуповатый старичок. Над ним обыкновенно все трунили. Даже мой отец забавлялся над ним. Плаутин обращался с ним с насмешкой, наглой до нахальства. Я видел, как Машенька страдала. Я старался отвлечь бедного старика от людской насмешки, которой он не понимал, и занимал его, как умел, разговаривая и водя по саду подальше от других. Машенька поняла это, на другой день она просто пришла благодарить меня со слезами на глазах. С тех пор наше сближение пошло crescendo. Машенька вставала в шестом часу утра, чтоб ходить гулять со мной. Утренняя прогулка была заведена уже давно Зоненбергом и продолжалась неизменно. Конечно, Зоненберг сопутствовал нам на прогулках, конечно, я его за это только пуще ненавидел; но долею мы его не замечали. Я вел ее под руку. Руки наши встречались под ее шалью; близко мы прижимались друг к другу, голос дрожал. Не знаю, Зоненберг не замечал или не хотел замечать, но тогда он мне ни слова не говорил об этом. А когда по середам он уезжал в отпуск в Москву, мы с Машенькой гуляли одни. Это был блаженный день в неделе. Живо помню я наши утра в кунцевских рощах, свежие, росистые, благоухающие; помню, как хорошо Машенька пела во время прогулки. До сих пор помню наизусть все мелодии ее песен. До сих пор, при воспоминании, мне становится так же тепло, нежно и юно на сердце, как бывало тогда. Я ей отыскивал ее любимые цветы в лесу. У нас были любимые скамейки, где мы отдыхали. Был темный сырой грот, полный зеленью, в нем постоянно сочился ключ, капал и звучал по капле, падая в воду. Была соломой крытая беседка на крутом берегу; помню раз, как там хорошо Машенька пела какой-то мотив из времен герцогини La Vallière.

Между тем слово «любовь» не было произнесено между нами. Все наше сближение было девственно робко и застенчиво. Я тосковал по слове признания, мне его недоставало. Я написал на клочке бумаги: «Любите ли вы меня?» — и подал ей потихоньку, мимоходом, в окно с

террасы. Она мне таким же способом написала короткое: «Да!» — и мне стало бесконечно хорошо на белом свете. Душа переполнилась, мне надо было высказать тебе мою любовь и мое блаженство. Я написал к тебе по секрету письмо. Ты отвечал мне с нарочным. Твой Петр Федорыч приходил часу в пятом утра. Сначала его интересовала наша переписка, то есть интересовало подслужиться нам. Ему идти было по крайней мере два часа со Старой Конюшенной в Кунцево и два часа обратно. Моя комната выходила окном на террасу. Петр Федорыч в пятом часу постукивал тихонько в окно. Я вскакивал, получал твое письмо, отвечал, плакал от счастья; потом вполголоса смеялся с Петром Федорычем о том, что никто не знает и не догадывается о нашей переписке, и он уходил с тем, чтоб быть дома налицо, когда Иван Алексеевич встанет. Что я писал, что ты писал? Не помню. Письма не сохранились. Помню только, что мы употребляли алгебраические буквы и формулы вместо имен, чтобы никто не догадался, если бы письма попались. Как все это младенчески забавно и хорошо!

В саду, у реки, на скамейке под высокою липою — сидел я с нею. Солнце заходило за поляной так ясно, река была такая светлая, лес такой пахучий... Я держал ее за руку, голова моя лежала на ее плече, мы оба плакали от полноты счастья...

На этом месте я перерву эту главу. Я опущу все постороннее, оно было незначительно. Я перерву ее здесь, чтобы у тебя осталось светло на сердце, когда ты ее прочтешь, и чтоб я сам, перечитывая ее, мог опять тихо погрузиться в это сновидение с его теплым летом, его лесными звуками, мягким вечерним переливом света и тени и мягким дыханием молодой любви.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ПИСЬМА ДЕРЕВЕНСКОГО ЖИТЕЛЯ

(Посвящено Искандеру)

ПИСЬМО 1-е

Мая...— Я рад, что уехал из города. Мне надоедали и тревожное движение на улицах и внутренняя тревога мысли. Не думай, чтобы я сентиментально искал уединения, как то делалось в блаженной памяти риторические времена Усладов, бедных Лиз и Тидгевой «Урании». Мне самому было бы смешно видеть себя уединенно расположенного на берегу журчащего ручья, плетущего венок из незабудок, воспоминая блаженны дни, тоскуя о тщете мирской и стремясь туда, туда — и в голубое пространство небес, где при естественном устройстве легких дышать нельзя, и в дальний туман, в котором было бы просто сыро и который только потому и хорош, что далек и по отдаленности производит эффект в пейзаже. Нет! друг мой, эти времена давно утратились. Фразистая грусть о чем-то, натянутая слезливость, искание высоких чувств (как будто их можно искать, когда их нет?) — вся эта болезненная неясность головы осталась в памяти как пошлая сказка, которая нравилась в детстве и воспоминания о которой неразрывно связано с мыслью: вот это как же глуп бывает ребенок!

Итак, когда я говорю, что рад был уехать из города, не воображай меня юношей, которому чудо должно указать дорогу в край чудес. Вдобавок чудо, которое меня уносило по дороге, был обыкновенный весьма тарантас, и край чудес, к которому я стремился,— весьма обыкновенное поместье; оно издревле не отличалось ни особенно

хорошим местоположеньем, ни особенно хорошим климатом. Но в нем можно было жить спокойно — и вот чего я хотел. «Но разве тебя что беспокоило?» — спросишь ты с полным правом на такой вопрос.— Да! беспокоило. Это слово пошло и не выражает того, что я хочу сказать. Я находился не в состоянии беспокойства, но в состоянии действительной тревоги и скорби. Я не думал вырваться из него отъездом, но, оставаясь наедине сам с собой, я хотел привести в сознание и порядок все движения моей собственной мысли, все впечатленья фактов, большею частью неутешительных, тем более, что они непреложны и неодолимы; я хотел уяснить себе многие задачи, которые навязывали мне чувство безвыходности. И вот я простился с тобой. Полосатый шлагбаум лег между мной и городом, и мой тарантас пошел выплясывать по грязной дороге, усердно награждая меня самыми разнообразными толчками. Наконец, после нескольких дней и ночей он решительно остановился в последний раз, и я был дома, и тело мое могло отдохнуть от сухопутной болезни, в которую вгоняет езда по нашим дорогам и которая нисколько не изящнее морской болезни; если нет тошноты, то она щедро вознаграждается измятьем боков, беспрестанным подталкиваньем так, что дух дрожит, и отвратительным запахом пыли, грязи, навоза и прочее и прочее.

И вот я уже несколько дней живу в деревне. Жизнь моя — как и вообще жизнь людей в тех летах, когда вещи начинают являться в свойственных им размерах,— не отличается ни особенным блаженством, ни особенным несчастием. Но отчего же не только в настоящую минуту, но уже давно черезо всю жизнь проводится давящее чувство скорби и безвыходности? Уж не продолжение ли это той неопределенной изнеженной грусти и жажды какого-то исключительного блаженства «в сфере душ», чем мы все, вероятно, упивались во время оно весьма бесплодно? Тело мое здорово; несчастными страстями я не измучен. Голова моя не утомлена и может понимать и работать ясно. Чувства наслаждения окружающим я не утратил: напротив того, я как-то с каждым днем более понимаю все изящное не только в природе и в искусстве, но во всякой деятельности человеческой; я понимаю изящное даже в мире промышленном, так давно признанном за неизящное идеалистами и мыслителями, для которых материальная бесполезность составляет принадлежность

изящного. Я с каждым днем более понимаю возможность наслаждаться жизнию. Но только возможность. Действительно я страдаю. Чем же? Где же эта рана, к которой я приступаю как Фома неверный, которую мне надо ощупать перстом, чтоб удостовериться, что она не призрак? Может быть, она призрак? Может быть, я нервически расстроен и мне кажется, что я страдаю? Однако не один же я страдаю. Той же безвыходностью отзываются и твои письма, друг мой. Я гляжу на мою библиотеку: раскрываю книгу за книгой, и каждая страница преисполнена великой скорби. Возьму ли людей XVIII века, на каждом лежит печать страдания. Желчная сказка Вольтера представляет мне скорбь в форме насмешки и негодования. Если я вспоминаю где виденный мною портрет Вольтера, я не могу иначе оживить его, этого человека, в моем воображении, как с морщинистым лицом, с саркастической улыбкой, и мне ясны следы страсти и страдания. Вот и вечный мученик Руссо; вот и энциклопедисты, которых я не могу себе представить иначе, среди их твердо и ровно выдержанной борьбы с предрассудками и неправосудием, как мучениками во имя здравого смысла. Положим, что им не удалось сложить головы на плаху, но легко ли им было жить между ханжеством, с одной стороны, и развратом — с другой, жить в атмосфере, которая представляла смесь этих двух элементов, им, ясным служителям рассудка?

Зачем Гёте перевел «Племянника Рамо»? Гёте — самая полная и спокойная натура, которая когда-либо жила на свете? Гёте, который устранялся от общественных движений, от участия к несчастиям социальных положений, от всего, что носило след противоречий в человеческом обществе? Перевел ли он «Племянника Рамо» как художник, увлеченный истинно художественным произведением Дидерота, или отсутствие страдания в Гёте есть вымысел критиков Менцеля и consorte. Я думаю, друг мой, что это вымысел рецензентов. Вспомни, что самый Шиллер, которого per contrario выставляют человеком, принимавшим жаркое участие в делах человеческих, самый Шиллер — как и Гёте — не находил «повода к радостным песнопениям» в весьма важных исторических происшествиях. Это только оттого, что, несмотря на всю гениальную энергичность, они оба были немцы того времени, когда писатель считал за великую честь, почти за событие,

играть в бостон с каким-нибудь графом Гох Пфифифальца Гауз Рицкрейцбург Зондербрюген. Но загляни в Фауста, и ты найдешь все общечеловеческое страдание сильной личности. Сродства по выбору (Wahlverwandtschaften) доказывают, что вопрос семейный представлялся Гёте с его действительно скорбной стороны. Что ни говори об олимпическом спокойствии Гёте, оно не представляет холодности к миру человеческому; это есть ширь понимания и только, следственно, далеко не эгоистическое чувство. Но давай дальше рассматривать мою библиотеку.

Что это за мрачную поэму страдания представляет Байрон? Нет! этой гениальной скорби нельзя пройти мимо с усмешкою. Если нам кажется жалок и смешон так называемый байронизм, который когда-то был в моде в обществе, то нам нельзя ставить на одну доску солганные страдания модных рифмоплетов и салонных витязей с могучей скорбью, которою проникнут сам Байрон. Близорукие критики видели в нем сухость, основанную на высокомерии. А между тем как этот человек далек от сухостей! В его измученном сердце неисчерпаемое богатство нежности. В одних стансах к его сестре более любви, чем в иных томах романтической школы, к которой напрасно многие его относят. Романтизм поклонялся старым формам феодализма и западной церкви, любил избранную женщину до гробовой доски, плакал и молился. Байрон нисколько не романтичен, он только субъективен, то есть выше всего для него поставлена его личность; но с тем вместе эта личность у него возведена до всеобщности, то есть личность, его собственная личность потому для него так важна, что для него важна вообще личность человеческая и ее права на жизнь и счастие, права, которые он везде находит стесненными и оскорбленными. От этого его гордость, это чувство, которое не позволяет дотрагиваться до своей личности и везде хочет провести свою волю, не терпя противоречия, его гордость переходит в любовь к роду, к человеку, и эта любовь является в форме ненависти к тому, что люди делают, и кажется мизантропией. Англичанин и тори — он язвит желчною насмешкой Англию и торизм; формализм душит его в семейных отношениях, и чувство независимости заставляет его разорвать брачные узы, а между тем в этом человеке все элементы для счастия с женщиной, а между тем все воспоминания его о дочери дышат трогательной

любовью; он выставляет в мрачной фантазии, как гибнет род человеческий, и последнее вспыхнувшее пламя на пожарище всеобщего разрушения освещает двух заклятых врагов — и едет умирать за дело Греции. Чем же он страдает, этот человек? С чем и во имя чего он борется? Неужели все это только ради самого себя? Нет! Его счастие разрушено, молодость, свежесть чувства в нем погибли; но дело в том, что он везде видит счастие человека разрушенным, в каждом человеке молодость и свежесть чувства погибшими. Такой факт выдумать трудно, да если б он и был только выдуман Байроном, то, верно бы, никто так нарасхват не читал Байрона и голос его не отозвался бы ни в ком. А между тем впечатление, им произведенное, было неимоверно. С чем он боролся? Не с своими же личными врагами. Он боролся с предрассудками и неразумием во имя разума, как все реформаторы, но только в другой форме. Поэтическое слово точно так же казнит и клеймит позором неразумие, как и книга философа, как и решение законодателя; иначе ни книга, ни изменения в общественных постановлениях не нашли бы отголоска в людях. Если поэт и не созидает новых условий жизни, тем не менее слово его сильно колеблет неправду.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Два года тому назад Иванов приезжал в Лондон. Картина его была окончена, художник жаждал новой деятельности и ни к чему не приступал; он был задумчив и печален. Религиозное настроение, под влиянием которого он начал своего Иоанна, исчезло прежде окончания картины. Тщетно он искал вдохновения в христианском мире; он смотрел на картины великих мастеров, чувствовал в них присутствие религиозной жизни, но в себе ее не находил, идти по той же дороге было невозможно,— он больше не верил. Ему предлагали работу в России, работу на византийский манер; но тут уже ему предстояло не только без веры трудиться над религиозными предметами, но даже забыть и те изящные формы, выработанные художниками в эпоху Возрождения, забыть не только мадонны Рафаэля и Тициана и святых Доминикина, но даже фигуры староитальянской и старонемецкой школы, Джьотто и Гольбейна, где, несмотря на плоскость рисунка, поражает живое, человеческое выражение лиц; ему приходилось бы писать пучеглазых богородиц коричневого цвета, изменить искусству без внутренней веры в религиозную святыню. Художник не мог лгать сам с собою и, несмотря на стесненные обстоятельства, отказался от работы в храме Спасителя на Пречистенке. Хотя бедно, но проживет как-нибудь, проживет независимо и напишет новую картину, не по чуждой заданной теме, а по внутреннему влечению, по своему вдохновению.

Но где же найти это вдохновение? Религиозный мир закрылся, христианские идеалы побледнели. Какие же идеалы у нового мира, у современного мира? Где его вера?

Где его герои? Перед каким величавым образом современное человечество может остановиться и взглянуть с упованием? На каком величавом образе остановится мысль художника с любовью и верою? «Дайте мне живую мысль, дайте мне живую веру, дайте мне живую тему для картины,— говорил художник,— или скажите: что?.. искусство погибло в наше время?.. погибло безвозвратно от недостатка жизни в современном человечестве, или от того, что жизнь не нуждается в искусстве и все интересы деятельности движутся вне художественного мира». На этот запрос отвечать было не легко; а запрос был страшно искренен, в нем слышался крик сердечной боли, действительного, глубокого отчаяния. И, как все безвыходные страдальцы, художник стал искать себе маленькую лазейку, в которую толкался с упорством больного. Эта лазейка была *усовершенствованная* историческая живопись. «Не могу я выставить на картину современных людей,— думал он,— в их фраках и круглых шляпах, или мундирах с погончиками,

Хвост сзади, спереди какой-то выем странный,

или дам с их растопыренными юбками, где изящные формы человеческого тела спрятаны в какие-то уродливые вьюки. Безобразен этот мир; он сам потерял чувство красоты; чего же в нем искать художнику? Остается только историческая живопись, остается пополнить пропуск, оставленный прежними художниками, которые пренебрегали исторической верностью типов и обстановки в картинах; надо приняться за историческую живопись, где все было бы исторически верно; типы лиц были бы взяты из того народа и той эпохи, куда относится сюжет, одежда была бы одеждою того времени, пейзаж — пейзажем той страны; тут будет воссоздание минувшей действительности». На основании этой внешней верности художник думал создать что-то новое, что-то великое... Да! это была лазейка глубокого отчаяния, но не выход.

И вот он умер, художник-страдалец. Не видал я его картины; гляжу на ее фотографию, по которой трудно вообразить себе самую картину; одно чувствую, что такого Иоанна мог создать только человек, который сильно верил, и только человек, который так сильно верил, мог впасть в такое глубокое отчаяние от искренней утраты своей веры, своих идеалов. При этой впечатлительности

художника, для этого нервного организма — немногого было достаточно, чтоб бросить его на жертву первой случайной болезни; довольно было мимоходного грубого прикосновения тупоумного барства, выращенного канцелярией и казармой. И умер он, и все эти Гурьевы с компанией и не почувствовали своего преступления; что́ для них общественное негодование! Позором исторической плети их не проймешь; разве настоящая плеть проймет эти немецко-татарские кожи, но и чувство внешней боли не вдолбит в маленький, но грубый мозг сознания виновности перед высшим человеческим существом и перед русской славою.

А где его похоронили? Уж не рядом ли с Пушкиным? Так бы вместе всех жертв этого гнусного общественного мандаринства.

Но я сказал, что запрос Иванова был искренен. В самом деле, он был так искренен, что не один художник, и после него, задаст себе тот же вопрос и печально призадумается. Этот запрос гораздо глубже выходит из жизни, чем может показаться многим ученым эстетикам, укачавшимся, как в лодочке, в теории «искусства ради искусства». Этот запрос показывает, что художник не может отделиться от общественной жизни и что искусство нераздельно с ее содержанием. Древнее искусство пало с богами Олимпа; христианское искусство пало, несмотря на провозглашение «иммакулатной концепции»; самое провозглашение «иммакулатной концепции» могло случиться только потому, что христианство пало; прежде она была не нужна, верилось и без нее. Художник, исторически связанный с образами, завещанными великими мастерами, привыкший к этим образам, перестает чувствовать то настроение, которое произвело их; он даже начинает смотреть на эти оригиналы только с точки зрения искусного выполнения с точки зрения техники, а их внутренняя жизнь для него уже недоступна; сам он производит только бездушные копии. Даже техника великих мастеров ускользает из-под его усталой кисти, потому что и для техники необходимо живое вдохновение. Художник не сразу понимает, что дело в том, что он уже не религиозен, потому что его общественная среда не религиозна; ему еще кажется, что он верит; он ходит в церковь, он промывает себе глаза святой водою; но он натягивает на себя благоговение, глаза его не веселей смотрят после

святой воды. И в толпе, которая кругом его, он видит что-то затверженное, какое-то бессмысленное повторение когда-то живого слова или просто лицемерие. Его поражает смешное, или уродливое, или нравственно гадкое. Он еще усиленно цепляется сам за затверженные образы, ему с ними жаль расстаться, но как скоро он принимается за дело, он чувствует немоготу. «Искусство ради искусства», помимо общественного содержания, не в состоянии вдохновить его; это посторонняя, натянутая идейка, а не внутренняя сила, которая просится наружу. Куда деваться? «Я устал,— восклицает художник,— дайте мне отдых, но такой,

Чтоб в груди дрожали жизни силы...»

И этот отдых он находит в вечно юной природе. Пейзаж становится на первом плане; историческая живопись мало-помалу бледнеет, выбиваясь из сил; религиозная эпоха не вдохновляет, да и никакая историческая эпоха не вдохновляет; художник устал от истории, как само общество устало от истории. «Но мне недостаточно природы,— говорит другой художник,— мне надо живых людей; святые умерли, дайте мне грешных, но живых людей». И вот историческая живопись переходит в genre. Художник переносит на полотно наглядную действительность и старается придать своему произведению поразительную верность, мелочную оконченность.

Еще явилась было светлая эпоха светлой народной жизни освобожденного народа, и фламандская школа произвела genre, который был чистым выражением добродушной, свободной народности. Она не искала genre, она не убегала в него от внутренних страданий в какой-то обманчивый приют; нет, она жила общественной жизнью, ей надо было высказать смеющееся счастье свободного общества; художник дышал этим счастьем, ему надо было просто рассказать его, а не придумывать себе на утешение или для занятия собственной праздности. Но не то в нашем мире.

Общественная жизнь разлагается более и более; она впадает в утомление, она неспособна ни к живому верованию, ни к живой радости, ни к великой трагедии; она бессильна, она просто — усталь. Искусство переходит в картинку или карикатуру. Искусство пало, потому что общественная жизнь выдохлась. Истинный художник стано-

вится страдальцем, потому что истинный художник искренний человек, и общественный недуг становится его недугом, он кричит от общественной боли, так как некогда верил общественным верованиям. Он не может сжиться ни с измельчавшим искусством, ни с измельчавшим человечеством. Он ждет сильного выхода в человечестве и бредит про какое-то огромное создание в искусстве. Ни то, ни другое не приходит.

Музыканту не меньше тяжело, чем живописцу. И он устал от своих исторических образцов, в душе утратил и обедню и ораторию, устал от страшной драмы Бетховенской симфонии и впал в genre — то грустно-сладенькой грациозности, то мелочной оконченности фьоритуры, или такой же мелочный оконченности разных шумов в оркестре, которыми думает заменить энергию мысли и полноту гармонических сочетаний, или в отчаянии ищет выхода и бредит музыкой будущности, туманной, как сама будущность, возникающая не на девственной, а на истощенной почве.

Литературе всего легче. Ее средства разнообразнее. Язык не принужден свести целый эпос или целую драму на один неподвижный момент картины; он их разовьет и представит во времени со всеми побуждениями капризно-рокового движения жизни. Звуки языка мелодично коснутся до слуха, но не с неопределенностью музыки, а с ясностью мысли. Техника для художника-литератора легче, потому что она природна человеку; симпатий он найдет больше, потому что язык понимается всеми и выражает все полное слияние мысли и жизни. Сверх того — «слово дано человеку, чтоб скрывать свои мысли», сказал один безнравственный дипломат; а художник-литератор в слове скроет свою внутреннюю пустоту и надует сам себя. Наука не пойдет с утешением ни к живописцу, ни к музыканту; она не скроет им пустоту содержания под фирмою «искусства ради искусства». Пустота слишком бросится в глаза, слишком поразит слух своею ложью, бессилие останется слишком очевидным. А художник-литератор, получая от науки утешение теории, которую наука распространит и в публике и, следственно, настроит на один лад и публику и литератора, художник-литератор и сам не заметит, как он перешел от живописи к фотографии, от одушевленной картины к верному, но мертвому снимку, как он свою пустоту замазал словами, как он

свое бессилие скрыл в форме. Публика, обманутая наукой, будет рукоплескать самообольщенному художнику, и он удовлетворится в безвыходной жизни, удовлетворится своим маленьким смехом — вместо смеха проклятия, удовлетворится своей томненькой грустью — вместо трагической печали, удовлетворится тихонькой дремотой в сумерки — вместо живого рассвета и пробуждения. Фельетонная муза придется по плечу публике, и теория спасет пустоту обоих.

Сама теория «искусства ради искусства» могла явиться только в эпоху общественного падения. Искусство, как одно из занятий человека и отличное от других занятий, не могло не обратить на себя внимания мыслителей, как дело особое, но неодолимо возникающее из человеческой жизни. Что же такое искусство? Искусство — подражание природе,— отвечали они во время оно. Впоследствии более глубокомысленная наука с улыбкой презрения взглянула на это наивное определение. Она сказала: искусство есть воспроизведение действительности. Надо сойти с ума, чтоб не узнать того же простодушного определения в новой докторской мантии. Действительно, искусство есть подражание природе, потому что кроме природы ничего нет; действительно, искусство есть воспроизведение действительности, потому что кроме действительности ничего нет. Чем ближе художник подсмотрел природу, чем больше он сделал так, как бы сделала сама природа, тем лучше его произведение, тем больше он воспроизвел действительность. Но это относится к выполнению, это уменье, это почти техника. Почему в художнике явилась потребность произвести что-нибудь? Вот в чем вопрос. Какие это жизненные соки, которые просились выразиться в его произведении, которые толкали его к созданию? Что формы должны быть верны природе — сомнения нет; иных форм художник знать не может; но эта жизнь, которая вынуждала художника к произведению, откуда она взялась? Она взялась из среды общественности; художник только потому и стремился к созданию, что вся общественная жизнь дышала в нем, не давала ему покоя, ему надо было производить, потому что ему надо было сказать то, что он живо понял, прочувствовал, внес в себя, чем переполнился из общественной жизни, будь то верование, будь то негодование, будь то восторг или скорбь живая; но помимо

общественности и помимо своего взгляда на нее — он ничего не сделает. А если вы из общественности ничего не вынесли, ни глубокого верования, ни жажды перестройки, ни великого эпоса, ни великой скорби, ни страстного упования, ни рыдающего смеха,— какой же вы художник? Пожалуй, доводите искусство до самой утонченной оконченности, и копируйте природу, и воспроизводите действительность с мельчайшей подробностью; да жизни-то вы не вдохнете в свое произведение, и ваша работа «искусства ради», не вызываемая общей жизнью, которая била бы в вас живым ключом, ваша работа будет абстрактная работа или холодненькая мелочь. Во времена падения Рима ораторы являлись «говорить для того, чтоб говорить». О чем говорить — это все равно; будь то pro или contra — все равно. Главное дело: искусство говорить. То же явление современная эстетика перенесла как теорию в искусство. Главное сделалось искусство; а имеет ли это искусство что-нибудь сказать — это все равно. Красноречие ради красноречия, искусство ради искусства — вот одинакие надписи двух эпох общественного падения. Еще являются титаны при этом падении; слышится горький упрек Тацита; слышится проклятие Байрона. Но критика делает еще шаг вперед к бессилию; она начинает глумиться над проклятием Байрона, встречая слишком много нетерпения и недостаточно художественности. Русская критика еще не смеет глумиться над рыдающим смехом Гоголя; но она близка к тому; картинка и карикатура становятся ей больше по нутру, чем смех, выводящий из успокоившегося бессилия. Разве только нашей критике некогда будет продолжать это дремотное ратование за теорию «искусства ради искусства»: возникающая общественная деятельность разобьет этот маленький кумир прежде, чем он успеет умереть от собственной дряхлости. Да и пора ему умереть. Долой литературную лимфу!

Когда бомбардировали Данциг, Теодор Амедей Гофман, знаменитый автор «Кота Мура» ныне редко и трудно читаемого, сидел в погребке и, не принимая никакого участия в защите города, в движении людей, шедших под картечь и ядры, писал, помнится, фантастические рассказы der Serapions Brüder. Гофман пренебрегал общественным движением в пользу так называемого искусства. Но для этого надо было иметь в жилах не кровь человеческую, а немецкую слизь. В нашей литературе, в наше

время, время русского возрождения, такая же партия лимфы, золотушное дитя схоластических эстетик, хочет отрешенность искусства от общественных вопросов выдать за нечто, достойное уважения. Да где же они нашли действительное искусство, отрешенное от общественных вопросов? Не в эпоху ли Возрождения, когда религиозная идея была внутреннею общественною задачею? Разве то, что тогда было сделано великого в литературе и искусстве, не проникнуто современным интересом общества? И разве общественная задача мешала многосторонности художника? Возьмите Буонаротти, который в одно время строит храм, строит крепость и рисует страшный суд и создает энергическую фигуру Моисея; разве он не проникнут всей живой задачей своей современной общественности со всеми ее надеждами и всеми страданиями. Ту же задачу проводит Дант. Под влиянием религиозной общественности создалась и развилась музыка, восходя от одинокой молитвы до общественной молитвы, до хора. Когда Реформация пошатнула веру и общество схватилось за свои внутренние вопросы в противоположность небесным, искусство из церкви перешло на сцену. Откуда выросло трагическое величие Шекспира, как не из общественного скептицизма? Откуда в живописи явилась трагическая глубина Рембрандта? Откуда взялась страшная возможность у Моцарта создать «Дон Жуана», с одной стороны, и «Requiem», с другой, как не из того же проникновения художника скептицизмом общественной жизни? Когда французская революция пела Марсельезу, не стукнул ли Гёте по христианскому миру первой частью Фауста? Не прогремела ли с плачем и торжеством Героическая симфония? Видите ли, как великие мастера связаны с общественной жизнью, как они возникают из нее и говорят за нее. Вероятно, во все эти времена были и бездарные художники, работавшие на те же темы; но разве эти бездарности доказывают, что искусство должно отстраниться от общественных вопросов и жить в себе самом, то есть жить без содержания, чтобы не быть бездарным? Что общественные задачи проникнуты общечеловеческим содержанием — об этом спору нет, иначе они и не были бы общественными задачами; что помимо общественных интересов есть личные интересы, которые тоже проникнуты общечеловеческим содержанием, и об этом спору нет, иначе эти личности были бы вне человеческого мира; но

границ-то этих между личностями и общественностью — в жизни не существует, потому что личность человеческая есть личность общественная. Не только люди, сгруппированные вместе, невольно примыкают к общественным интересам, но даже тот святой, который в пустыне питался собственными испражнениями, и он был проникнут общественной задачей, которая тогда была задача религиозная. Если литераторы требуют от искусства, чтобы оно было хуже этого святого и отрешилось от общественных интересов,— какое же содержание они ему дадут? Абстрактно-общечеловеческое? Или то мелко-дрянно-личное, к которому они стремятся иметь сочувствие вместо отвращения? Но в первом случае они навяжут искусству создание тусклого урода, а во втором щепетильное разрисовывание лилипутских картинок с лилипутскими людишками, с лилипутскими чувствияцами, с лилипутскими деревцами, облачками, домиками и пр. Да где же они нашли общечеловеческое содержание помимо общественности, помимо взгляда художника на общественность, помимо его участия в ней? Не у Шекспира ли? Не у Аристофана ли, или у Гоголя? Не у Пушкина ли в Онегине, или в Борисе Годунове? Ну! так пусть же они перечтут их и поймут, что все эти великие художники слова проникнуты участием к своей современной общественности, и пусть же нам больше не выдают фарфоровой размазни японского чайника за художественные идеалы!

Русские литераторы сердятся на обличительные сочинения и находят, что после их *удушливого наплыва зловонных паров* литература посвежела посредством повестей, лишенных общественного содержания [1]. Вот видите ли: обличительные сочинения могли быть не довольно талантливы, но сердиться на них нельзя; у них был свой благородный источник и своя благородная цель. Они могли быть детскими попытками общественных стремлений выразиться в изящной литературе, как джьоттовское религиозное воззрение пыталось выразиться в живописи; в них могли быть ошибки и промахи, неумение найти сродную форму для содержания,— но судить их нельзя по абстрактной теории «искусства ради искусства», их можно судить только с точки зрения живой общественной деятельности,

---

[1] Мы не знаем, почему комедия Островского причислена сюда же критиком: в ней живое общественное содержание. <*Прим. Огарева.*>

и тогда в них найдется не *удушливый наплыв зловонных паров,* а благородная попытка вырваться из гнилого болота с зловонными парами, в котором так долго купалась русская жизнь и в котором еще теперь под исход топочется русская критика, с уважением глядя, как автор, не негодуя, а любуясь, выводит тряпичных героев с их тряпичными страданьицами. Вы сердитесь на комедию Львова с эстетической точки зрения; да на нее не с эстетической точки зрения можно сердиться, а с той гражданской точки зрения, неудовлетворенной тем, что когда дело идет о перестройке общественного задания, о возрождении русских сил, автор изобрел тщедушную лазейку честного чиновника, как путь ко спасению. Но как бы ни ошибались люди обличительной литературы, умейте же уважать в них голос, который после долгого молчания заговорил о наших страданиях, и не зловонных паров ищите в нем, а первого лепета возникающей гласности. Показывайте им их промахи, незрелость мысли, нестройность формы, но рукоплещите их начинанию, если у вас в жилах человеческая кровь, но не проповедуйте реакции. Провозглашать *благотворную реакцию, совершающуюся дружно, последовательно и энергично,*— реакцию, которая хочет выбросить из изящной литературы общественное страдание и общественный интерес, ярко пробивающийся в современной жизни, провозглашать такую реакцию — значит проповедовать вообще реакцию; в прошлое царствование за это дали бы владимирский крест. И вы проповедуете реакцию, потому что вы схоластики, потому что живые интересы для вас недоступны, потому что в вас нет гражданского чутья, а следственно и общечеловеческого. Вы — во время возникновения русской гражданской жизни — хотите уединиться на картонный пьедестал вашей маленькой премудрости или затвориться в монастырь мнимой художественности, чтобы спасти вашу крошечную, эгоистическую душу от деятельности мира сего, и думаете, что вы плаваете в сфере изящного? Но не забудьте, что изящное по натуре своей благородно, а благородство и состоит в сочувствии лица к общей жизни. Ну! да бог с вами!

К юношам обращаюсь я, которым теперь предстоит взойти на поприще литературы. Пусть они не верят золотушному равнодушию, пусть смело вносят в искусство и общественные страдания и все элементы живой обще-

ственной жизни,— и долой с русского слова *пыльный шквал* немецкой схоластики, долой крохотное самонаслаждение за углом — вне общественной жизни.

Но вот я увлекся русскими вопросами и отклонился от моей задачи. Что же сказать художнику, чувствующему немоготу среди обессиленной общественности? Что сказать в то время, когда в обществе не хватает сил даже на проклятие и все расплывается в жиденьком, самолюбивом самоудовлетворении, и искусство до того доработалось ради искусства, что перешло в ремесленничество, гаерство, или самолюбивое искание нового, которого неоткуда взять. Если я повторю, что искусство пало, потому что общественность выдохлась,— в этом мало утешения для художника. Но не в утешении и дело, дело в правде.

Если элемент грациозности простодушно, искренно удовлетворяет вас и вы не по теории и не по устали бежите от общественных страданий и общественных надежд, а просто, как дитя, с улыбкой смотрите на жизнь,— пишите genre, пишите картинки. Пишите пейзаж, если в вас есть чувство природы и то простодушно-религиозное уважение к ней, которое не допустит солгать ради эффекта. Если это направление в вас искренно — ваши картинки будут по крайней мере милы. Но если вы в них хотите найти спасение от глубокой внутренней боли, то, конечно, не найдете, потому что это будет только pis aller, и ваше произведение будет неискренно. А искренность — одно из главных условий искусства; искренняя вера создала великие религиозные картины, искреннее сомнение произвело Гамлета. Только искренности в «искусстве ради искусства» вы не найдете, потому что самое это понятие неискренно и носит в себе заднюю мысль уменья и риторства, а не понятие полноты жизни, которой необходимо выражение.

Вам надо веры,— ее нет в обществе; создать ее будет тщетное искание, когда для нее нет почвы в действительности. Искание во что б то ни стало не есть жизнь; не искать же в самом деле чего-нибудь живого и великого, представляя на картине курс всеобщей истории, как Корнелиус. Если старый мир гибнет и вы это глубоко чувствуете, вы еще найдете в себе иную силу, силу проклятия; вашей фантазии явятся мощные образы, которые потрясут даже это бессильное общество; большинство станет с ненавистью рукоплескать вам, и немало страдаль-

цев с любовью протянут вам руку. Чего вы боитесь уродливых фраков на вашей картине? да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности рубища и из-за скаредных фигур лавочников энергический образ народа, гласящего: моя пора приходит!

Будьте искренны с общественным содержанием, выстрадайте его, и, если в вас есть талант художника, вы найдете что делать, потому что у вас будет что сказать.

Юным художникам, теперь вступающим на сцену,— легче. Христианское религиозное настроение не было их плотью и кровью, им нечего оплакивать внутреннюю утрату; они прямо поставлены лицом к лицу с живым плачем и живыми надеждами общественной жизни; умей только сделать их своим плачем и своими надеждами. А *он* — истинный художник — сошел в могилу, разбитый скорбью об утрате своих верований и настолько глубоко искренний, что не мог выводить образы, в которые больше не верил; общественная жизнь так глубоко вошла в него, что он не мог лгать в искусстве — ни ради денег, ни ради славы, ни ради искусства. Он умер, пришибленный старым порядком вещей в России, едва провидя ее возникающую будущность. Страдания старого порядка вещей еще слишком живы для нас, чтобы сменить в нас чувство трагического смеха на песню веры и торжества. Но пусть первый из юношей, которому общественная жизнь вдохнет эту песнь, с благоговением споет ее на могиле художников-страдальцев, так мучительно ее подготовлявших.

ПРЕДИСЛОВИЕ <К «ДУМАМ» К. РЫЛЕЕВА, ИЗД. ИСКАНДЕРА, LONDON, 1860>

Мы печатаем «Думы» Рылеева как исторический памятник, которому не должно исчезнуть, памятник геройского времени русской жизни.

С 1812 года по 1825-й Россия сознала себя огромной силой в мире человеческом и вместе с тем внутри себя пришла к чувству гражданской свободы. Оба направления не могли не идти рука об руку. Петербургская централизация вызвала на борьбу молчавшие силы народа, и они окончательно сплотились в мощь государства. Но раз вызванные — они не могли снова умолкнуть беспечно и равнодушно; им надо было заявить себя не только противу внешнего врага, но заявить свою жизнь и самостоятельность в общественном устройстве. Между тем петербургская централизация была наследие немецкое; вызвав русские силы на свет, она осталась немецкою. Борьба была неизбежна. Немецко-мистический либерализм Александра I перешел в казарменно-бюрократическую форму аракчеевского управления; а юные русские силы, требовавшие простора, с пылким сочувствием обратились к идеям первой французской революции. Борьба романского и германского мира, встретясь на русской почве, переиначилась под влиянием русской жизни, их усвоившей. Немецкая централизация в Петербурге проникнулась духом татарщины и была уродливым соединением кнута с шпицрутенами, грабежа с канцелярией. Противодействующие ей силы выразились в том блестящем меньшинстве, из которого возникло 14 декабря; оно соединяло в себе чутье русского народного социализма с французско-либеральным понятием гражданского права, требовало освобождения крестьян и колебалось между республикой и конститу-

ционной монархией, только что пересаженной во Францию с английской почвы.

Россия пережила все эпохи европейской жизни вкратце, добиваясь до решения собственной задачи. Россия пережила военные монархизмы, которых знамя было: l'état — c'est moi, начиная с Петра I. Россия изучила философию XVIII столетия при Екатерине. 14 декабря она заявила общечеловеческие требования революции и, наконец, до безумия выразила в Николае всю реакцию Священного союза.

Во время реакции Европа додумалась до социализма и до замены Священного союза племенными союзами. Но на решение первого вопроса у нее — как показал 1848 год — не хватает сил; история слишком истощила ее почву, зерно нейдет в рост, и все живое каменеет в известной форме собственности. Во втором вопросе Европа ничего не может сделать без России, потому что славянское племя занимает полмира.

Во время тридцатилетнего гнета Николая Россия, вспуганная в раздумье, додумалась до освобождения крестьян с землею, до узаконения общинной формы земельной собственности и самоуправления общин. Вместе с тем она ясно увидела, что с Священным союзом у ней нет ничего общего.

14 декабря завершило характер революционной Европы в России и в то же время посеяло в русском сознании семена тех вопросов, которые Россия поставила с царствованием Александра II. Уже около двадцатых годов тайное общество подняло мысль об освобождении крестьян и даже с землею. К сожалению, мы не имеем главнейшего документа: Пестелевой «Русской правды». Около того же времени составилось «Общество соединенных славян». Очевидно, что зачатки всех социальных и политических вопросов России нашего времени лежали в обществе 14 декабря. И вот в чем для нас его великое значение. Мы не знаем — что сталось бы, если бы намерения общества удались; но не имеем права не предполагать, что Россия пришла бы к постановке своих коренных вопросов гораздо быстрее, чем при тяжелом развитии татарско-немецкого бюрократизма и реакции Священного союза в николаевское царствование. Во всяком случае — относительно людей 14 декабря — нам, потомкам, остается только с благоговением

Хранить завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных...

Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя он и сказал о себе: «Я не поэт, а гражданин»,— но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и гражданина. Страстно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности, он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувства правды, права, чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию В этом отличительная черта его направления, и те, которые помнят то время, конечно, скажут вместе с нами, что его влияние на тогдашнюю литературу было огромно. Юношество читало его нарасхват. Его стихи оно знало наизусть. Сам Пушкин говорил о нем с любовью и уважением, и, несмотря на очень верную, но неблагосклонную оценку «Дум», он видел в Рылееве залог огромного дарования, которое росло с каждым днем. Петля задушила это дарование. Но и теперь, перечитывая Рылеева, сравнивая его первые произведения с последующими, мы видим его сильное развитие. В «Думах» он поставил себе невозможную задачу сочетания исторического патриотизма с гражданскими понятиями своего времени; отсюда вышло ложное изображение исторических лиц ради постановки на первый план глубоко сжившейся с поэтом гражданской идеи. В «Думах» видна благородная личность автора, но не видно художника. Одно заметно — как стих постепенно совершенствуется. В «Олеге вещем» чувствуется неуклюжий стих державинской эпохи; в «Волынском» он уже звучен и силен. Влияние «Дум» на современников было именно то, какого Рылеев хотел,— чисто гражданское. Но в «Войнаровском» Рылеев становится действительным поэтом, несмотря на тот же субъективно-гражданский колорит целого. Стих, картинность, сила чувства и всюду проникающее благородство поэта — увлекательны. В «Наливайке» Рылеев становится мастером. Напомним для примера «Смерть Чигиринского старосты»:

С пищалью меткой и копьем,
С булатом острым и с нагайкой
На аргамаке вороном
По степи мчится Наливайко.

Как вихорь бурный конь летит,
По ветру хвост и грива вьется,
Густая пыль из-под копыт,
Как облако, вослед несется.

Летит, привстал на стременах,
В туман далекий взоры топит,
Узрел — и с яростью в очах
Коня и нудит и торопит.

Как точка перед ним вдали
Чернеет что-то в дымном поле;
<Вот отделилась от земли>,
Вот с каждым мигом боле, боле,
И, наконец, на вышине,
Средь мглы седой, в степи пустынной,
Вдруг показался на коне
Красивый всадник с пикой длинной...

Казак коня быстрей погнал,
В его очах веселье злое...
И вот — почти уж доскакал...
Копье направил роковое,
Настиг, ударил — всадник пал,
За стремя зацепясь ногою,
И конь испуганный помчал
Младого ляха под собою...

Из «Наливайки» сохранились только два-три отрывка. Неужели ни у кого нет остального? Неужели ни у кого нет материалов для биографии Рылеева? Неужели наши библиофилы, выкапывая все на свете, не захотят заняться этой изящной личностью? Когда же кто-нибудь доставит нам сведения о Рылееве?..

Впрочем, к нам должно присылать их только в крайнем случае. Пора правительству, после тридцатилетнего намордника, отдать истории ее достояние и позволить безусловно печатать все о Рылееве и его сподвижниках. Это был бы поступок широко благородный, который внушил бы в России искреннее доверие к правительству.

Мы сочли не лишним поместить в этом издании стихотворение Мицкевича «К русским друзьям», относящееся к Рылееву и людям 14 декабря. Мы помещаем польский подлинник с русским переводом в прозе. Стихотворный перевод, который у нас есть, слишком неудовлетворителен. Я тоже пробовал перевести, но не сладил. Лучше верный перевод в прозе, чем вялый в стихах.

Повторяем: «Думы» Рылеева мы считаем историческим памятником того времени и юным выражением благородной личности поэта.

Да примут их читатели с тем же глубоким благоговением, с каким мы возобновляем их в печати.

ПРЕДИСЛОВИЕ <К СБОРНИКУ: «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА». ЛОНДОН, 1861>

Прежде всего мы должны извиниться в недостатках этого издания. Неполнота и ошибочность рукописей, затруднительность получать книги из России — не раз ставили нас в невозможность исправить, что казалось ложным для уха и смысла, и вовлекали к печатанию уже напечатанного в России [1]. Последнее, конечно, неисправимо, зато и неважно; но первое заставляет нас просить наших почтенных библиофилов присылать нам поправки и пополнять пропуски, доставлять — насколько возможно — сведения о годах, когда какое стихотворение было написано, по какому поводу, с каким участием или равнодушием бывало принимаемо публикою. Подобные сведения помогли бы нам, со временем, дать нашему сборнику настоящее значение, объяснить впечатления общественной жизни на пишущих, проследить связь истории с личной деятельностью, состояние самого общества, его образ мыслей и настроение, силу и бессилие, ход его падений и возникновений, указать разом на общность его движения и на отдельные попытки мелких и крупных деятелей. Наступило время пополнить литературу процензурованную

---

[1] У нас даже нет геннадиевского издания Пушкина. Из напечатанных в России стихотворений мы заведомо поместили тольку одну пьесу Пушкина: «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» — каемся — только потому, что нам стало жаль не поместить ее. Мы просим читателей взглянуть в примечания в конце книги, чтобы заметить стихотворения, к которым они относятся. Наши, увы, слишком немногие сведения доставались нам в продолжение печатания книги, и потому мы не могли в тексте поместить знаки сносок на примечания. <*Прим. Огарева.*>

литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений. Конечно, в задачу должен бы входить не только стихотворный отдел, но и проза. Но прозу собрать гораздо труднее, чем кажется. Она разбросана в мемуарах и частных письмах, известных только немногим и тщательней скрываемых, чем стихи, из боязни слишком определенно подвернуться под долгую лапу жандарма. Проза научная, не доступная пониманию цензора, вероятно, представляет немного пропусков, и потому рукописи редко сохранялись; отдел повестей, не пропущенных цензурой, также не может быть обширен; но записки и письма... дело великое. Проследить — как к общему делу относились таланты всех размеров, кто и как принимал участие, как известный взгляд на вещи, общая скорбь и общая надежда отзывались в даровитых писателях, как заставляли хвататься за перо и менее даровитых, но сердцем чистых людей, и как вынуждали подать голос и таких, которые в сущности не были люди, общему делу преданные, но подчинялись веянию, бывшему в воздухе,— это задача, достойная разработки. Если наши библиофилы помогут нам когда-нибудь напечатать, за наше столетие, сборник записок и писем наших известных и неизвестных деятелей, живых и мертвых, эти пропадающие отрывки из жизни многих людей, которым ничто человеческое не было чуждо, ярко восстановили бы историю нашего развития; наше столетие для нас так же важно, как XVIII столетие для Франции, и имеет с ним бесконечно много общего, о чем мы еще поговорим, хотя и не в этом предисловии. Но, покуда у нас нет средств добраться до прозаической потаенной литературы, мы начинаем наш сборник с стихотворного отдела и попытаемся проследить наше гражданское движение в стихотворной литературе.

Мы собирали и станем собирать все, что возможно, все, что было и что теперь прибывает. Мы не гонялись за выбором произведений исключительно художественных.

Мы не устраняем — как еще недавно было общепринятым мнением — возможность совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой. Мы убеждены, что в нее способно облечься всякое живое содержание. Красота женщины, колыхание моря, любовь и ненависть, философское раздумье, тоска Петрарки, подвиг Брута, восторг Галилея перед великим открытием и чувство, внесенное в скромный труд Оуэна,— все это составляет для человека поэтическое отношение к жизни. Математическая формула скорости падения тел, как общее отвлеченное понятие, остается сама по себе, в своей истине, помимо живого человека; но живая жажда знания, сила вдумывания, преданность Ньютона своей задаче — были поэзией его жизни и не враждебны кисти художника. Не будь поэзии в действии и созерцании человека, в самой рефлексии, столь гонимой немецкой эстетикой,— и надо бы исключить драму из области искусства и лирический монолог Фауста подвергнуть опале. И кто же может верить, чтобы живое стремление к общественному благу, лирическая перестройка общественных отношений и сопряженные с ними политические ненависти и восторги — были недоступны для художественной формы? Дело не в невозможности поэтического слова для политического содержания, а в силе таланта самого поэта. Великих ученых очень немного: у большинства людей по ветрености и нужде житейской сила мышления растрачивается на мелочь целей и отношений. Великих поэтов еще меньше: сила впечатлительности еще больше растрачивается по ветру и не дорастает до живого выражения впечатлений. Из великих поэтов далеко не на всех современное общественное положение и современные потребности производили бо́льшее или по крайней мере равносильное впечатление в сравнении с остальными явлениями жизни. Следственно, художественных произведений политического содержания необходимо должно быть меньше, чем художественных произведений всякого иного содержания. Гоняться за исключительно художественными политическими стихотворениями не только в нашей юной литературе, но ни в какой веками накопленной литературе народов, старших по истории, было бы невозможно. Да оно и не могло подойти под нашу цель: нам надо было собрать, сколько и насколько наша общественная жизнь вызвала в стихотворной литературе проклятий и надежд, кто бы ни выражал

их — великий художник, или просто хороший человек, или человек, минутно поддавшийся общему благородному движению.

Помимо всякого мастерства или неловкости отделки, наши противоцензурные стихотворения большей частью лирические. Они лирические даже в своих поползновениях на эпическую и драматическую форму. Это очень естественно: два чувства искали себе выражения вне цензуры — негодование на настоящее и надежда на будущее, отчаяние со всеми своими уродливыми уклонениями и упование со всею гоньбою за слишком общими неопределенностями и слишком неясными отдельными целями. Ирония — от шаловливой шутки до едкой эпиграммы наголо [1], плач — от элегической тоски до пафоса страдания, постоянно перемешиваются с ожиданием перемены в будущем вообще, освобождения славянских племен в особенности, и посреди горького смеха, унылых напевов и восторженных упований порою раздается клич на подвиг, вызов на дело. Для всего этого лирическая форма была естественнее; она не требовала больших художественных соображений; в нее легко укладывалась всякая боль от мгновенного впечатления, всякий проблеск надежды. Весь этот род поэзии, где в основание произведения поставлено *я* поэта и его взгляд и настроение, и все виды этой поэзии от оды до эпиграммы так приложимы к впечатлениям политической и гражданской жизни, что ими спешат воспользоваться не только записные стихотворцы, но и люди, которые взялись за стих на один раз, для одного отзвука на внезапное потрясение. Тут участвуют не только первоклассные и второклассные, но и вовсе бесклассные таланты, или даже не таланты, а просто люди, которым показалось на этот раз удобнее сказать свою мысль стихами, выразить свое чувство мерными строчками, заострить рифмою оплеуху государственному подлецу или власть имущему.

Пробуждение людей из дремоты, необходимость сказать свое слово совпадает у нас с двумя резкими историческими, кровавыми эпохами, с двумя нашествиями Европы на Россию, с войною против старшего Наполеона и с войной против младшего Наполеона. Как скоро война кончается, тотчас усиленно поднимается гражданский вопрос. То ли люди, опомнившись, спрашивают друг у

---

[1] У нас нет эпиграмм Соболевского. <*Прим. Огарева.*>

друга: из-за чего же мы дрались? Неужто из-за царя, нас в три погибели гнущего, из-за порядка вещей, в среде которого дышать нельзя? Или, успокоившись от потери крови и достояний, люди просто хотят получше устроить свою жизнь? Или общественная мысль, медленно копившаяся в мирное время, прорвала себе исход, при судорожном сотрясении войны, и требует удовлетворения? Или все вместе?.. Как бы то ни было — никогда столько не писали и прозы и стихов, вне цензуры, как в десятилетие после 1815 и после 1854 года. Но при всем сходстве, при всей очевидности, что наше дело есть продолжение того дела, характер обоего времени содержит существенные различия, сколько во взгляде и потребностях, столько и в самих личностях, вращаемых общим движением. С двадцатых годов наши потребности уяснились, понимание выросло, а люди тех годов — нельзя не сознаться — были сильнее. Между их энергией и нашим пониманием тяжеловесно легло николаевское царствование. После неудавшейся попытки 14 декабря, под постоянно возрастающим нажимом власти, личные силы мало-помалу притихали. С 25-го года до 50-х годов не только цензура усиливается, но и потаенная литература высказывается реже и реже, никогда не смолкая совершенно. Задушить безмолвную мысль правительство не могло; самое положение края вызывало ее на более строгий взгляд, на более строгое наблюдение; склад общественной жизни становился яснее, и смысл общественных нужд и потребностей принимал более широкие размеры. *Только* перемена правительства, *только* переворот вверху, без преобразования внизу, без самоустройства народа,— становились более и более чуждыми общему сознанию. Затихнувшая Европа давала нам больше толчков к изучению, к постановке вопросов, чем к гражданской деятельности; она знакомила нас с теорией, приучала к систематическому мышлению германской науки и сближала с противоположными ее собственной почве идеалами социальных предположений. В тридцатых годах у нас кончаются всякие попытки политических обществ; они, не сложившись, притихают под слепыми ударами тайной полиции, попадающей в цель, потому что беспрестанно бьет без разбора направо и налево; но притихают, тая несомненные зачатки социальных стремлений. В сороковых годах протест критики против существующего порядка вещей и художественный протест против

пошлости и недобросовестности обыденной жизни пробивают себе дорогу сквозь цензуру и, снова и еще упорнее сгнетаемые,— умирают с Белинским и заживо хоронятся с Гоголем. В это время поэзия в своих высших представителях — Лермонтове и Кольцове, достигает до отсутствия гражданской мысли и потребности, только резко сохраняя след надломленной, подавленной, но все же сильной и изящной жизни и жажды воли, неопределенной и безграничной. Между тем то же научное движение заставляет вглядываться в собственный народный склад, разлагать его на исторические и экономические данные и искать, насколько он осуществляет социальные идеалы. Начало понимания народности бесспорно принадлежит славянофилам, и — хотя увлеченные собственным трудом и задачею — они смешивали элементы с идеалом и искали идеала в прошедшем, тем не менее первое органическое, зиждущее движение мысли принадлежит им. Критика входит в враждебное состязание, будто во имя европейской науки, в сущности только отказываясь от признания элементов за идеалы. Кажется, что тут два параллельные движения, которые никогда не встретятся; в сущности, это только движение к одной цели из двух разных точек отправления, и они сойдутся в разработке оснований для русского гражданского развития, в уяснении общественного идеала его возникновением из фактических данных народной жизни. Все теоретическое брожение умов происходило в отдельных кружках, настолько ограничиваясь словопрением, что мысль о каком-нибудь общественном перевороте в действительности — не приходила в голову или заслонялась совершенным безверием в собственные силы. Энергия тратилась на слова. Теоретический фанатизм держался, мечтая, что вот он-то и приносит жертву на алтарь отечества; но и он начинал утомляться. Личности стирались до какого-то бесплодного блуждания теней. Поверх всего расстилалась, в массе военно-канцелярского порядка, личность Николая Павловича, повторяемая, в разных размерах, каждым чиновником от генерала до будочника, заменяя силу собственной личности властью, приходящеюся по месту и званию, развитие внутренней мысли — формализмом и жажду подвига — безнаказанностью кулака. Очевидно, при таких условиях, по мере того как в обществе стиралась доблесть личностей, в правительстве стирались способности. Общество уже не

выделяло в правительство людей даровитых; гражданская доблесть бесплодно тонула в чернорабочих рядах канцелярий. Посредственность и недобросовестность дружно пролагали себе дорогу. Что же могло выйти из этого?.. Общественная мысль разрослась в словопрениях, а правительство оказалось бездарным. Наступила минута тяжелого молчания; личности ни с той, ни с другой стороны не выдвигались. Общество не смело не только действовать, но не смело говорить, а правительство не знало, что начать, не встречая возражения в обществе, ему только оставалось забыться до безумия. Оно и засумасшествовало — сперва венгерской, потом турецкой кампанией. Венгерская кампания неприятно подействовала на общественное сознание. Не только словянофилам, но и самым ярым западникам не приходило в голову помогать Австрии. Офицеры шли нехотя, натягивая в себе обязанность поддерживать честь знамени; солдаты не любили немцев уже и потому, что не любили своих генералов, но шли — по привычке к повиновению. И те и другие ссорились с австрийцами и принимали венгерских пленников с распростертыми объятиями. И в то время, когда Николай Павлович, одержав на маневрах подготовленную победу и, сидя верхом, сняв каску и проливая в три ручья слезы, крестился и неистово восклицал: «Повинуйтеся языцы яко с нами бог!» [1],— в то время народ жался и роптал под тяжестью непрерывного рекрутства, помещики переставали платить долги, и правительственные финансы подтачивались разом от сановничьего грабежа и от разорения края. Но ропот народа развевался по степи, а шепот образованного меньшинства не выходил из своей тихомолки. Ни то, ни другое не составляло действительного возражения, и правительство, закрывая глаза на собственную несостоятельность, мчалось без оглядки в Крымскую войну.

В это время, то есть в конце сороковых годов, когда общество и правительство доросли до черты перелома, после которой правительство, без способных личностей, должно было удариться в безумие, а общество, доросшее до сознания, было готово начать выдвигать свои личности на поле действия, замечательно одно происшествие, которое не имело громкого отголоска, по крайней мере ничего не по-

---

[1] Истинное происшествие, после — не помню каких — маневров, рассказанное очевидцами. <*Прим. Огарева.*>

трясло, но тем не менее послужило указателем общественного настроения и пророческим началом. Это было возникновение политических обществ в деле Петрашевского. Пятнадцать лет их не существовало, так что мы безошибочно можем сказать, что собственно *наше* дело, в 1834 году, было последним из движения двадцатых годов, а дело Петрашевского первым из движения пятидесятых годов. Ни в том, ни в другом строго составленного общества не оказалось; но в нашем деле развеялись последние попытки, а в деле Петрашевского воскресли первые попытки на составление политических обществ. Мы напоследях примкнули к социальным стремлениям; общество Петрашевского с них начало. Без сомнения, потрясение целой Европы, во имя отвлеченных социальных стремлений, рожденных нуждою, но не имевших корня в европейском слое, и, сверх того, отвращение, возбужденное в России венгерской войной,— сильно заколебали наше праздноглаголивое сознание и подстрекнули друзей Петрашевского к составлению правильного общества; но, выросши из среды словопрений, общество поставило своим знаменем теоретическую задачу, которая еще не касалась народа, остававшегося хладнокровным к европейскому движению, смотревшего на него с равнодушием человека, который чувствует, что там идет не его дело, поставлена не его задача. Вероятно, если б общество Петрашевского продолжалось до нашего времени, оно сошло бы с теоретического пьедестала на народную почву и поняло бы, что строить историю можно только на имеющемся фундаменте и из данных материалов. Только сделавшись народным, политическое общество может существовать, переходя от слова к делу, работая во имя преобразования в действительности, а не в теории. В то время теория не примыкала к факту, слово не примыкало к делу, тайное общество не примыкало к народу, и оно рушилось, послужив признаком, что черта между правительством и общественным сознанием пришла в дрожание и что попытка будет не последняя.

Наконец правительство врезалось в Крымскую войну и оказалось побитым, разоренным и с совершенным отсутствием способных личностей, и — что для него было еще прискорбнее — это падение пахло самоубийством вследствие болезненного развития; оно само себя доконало, разоривши страну и притупив личности нравственно

и умственно. Николай с бессильной злобой умер, передав наследнику вожжи правления, вытянутые до ослабления. Делать было нечего — надо было вызвать личности из застоя, чтоб выйти из собственного срамного положения, и правительство бессознательно развязало языки. Общество вслух заговорило. Как бы мы ни были далеки от свободы слова, но сравнить то, что можно говорить и печатать в России теперь, с тем, что говорилось и печаталось во время, близкое к черте перелома, то есть в конце сороковых и начале пятидесятых годов,— разница огромная. Надо было призвать к жизни разоренный народ и дать ему возможность оправиться, иначе нечем существовать,— и вот правительство пошло на улучшение быта, вывод из крепостной зависимости. Если б правительство сказало просто, что идет на освобождение народа с землей,— оно бы стало во главе движения и поправило бы свои финансы. Но из стертых личностей, с привычкою к заведенному порядку, оно не могло создать живого слова и не стоит во главе движения; оно не открыло прямых путей народного роста, но открыло крышку собственного, им самим себе приготовленного гроба. Между тем общество из стертых личностей, с привычкой к словопрению, как ни силится, не может еще дойти до дела и находится в состоянии многоглаголания — от бесконечных рассуждений до бесконечных ругательств, в которых вращаются недосказанные свои и чужеземные теории и мелкие самолюбия, раздраженные долгим застоем и собственной неспособностью к делу. На этом остановилось наше *сегодня.* Но жизнь не остановилась, обстоятельства усложняются, народные потребности растут и наконец вызовут из раскачавшегося общества действительных деятелей, способных на деле разработать рост из существующей почвы и, следственно, не разделенных от народа. Наши сильные личности впереди. Где они — в мундирах с эполетами, или на школьных скамьях, или в самой среде крестьянства? Кто их знает? Вероятно, и тут и там, и ищут друг друга.

XVIII столетие русское передало нашему столетию отрочески сложившийся язык, готовый к возмужанию, а XVIII столетие европейское внесло разом и философский революционаризм Франции и мистический либерализм Германии. Сложность исторических разноречащих влияний и явлений своеобычно разрасталась в ткань перепутанных данных, из которых существенное движение

вырабатывается так трудно и медленно, что результаты достигаются веками. Ученица Вольтера, монархиня-философ писала наказ, подходящий чуть ли не под точку зрения Мирабо, и в то же время лукаво душила Польшу, покровительствовала барству, увеличивала налоги, раздавала людей в крепостное состояние, ссылала Радищева, более ее искреннего и благородного ученика Вольтера, и преследовала Новикова, выращавшего из туманов германского мистицизма и прекраснодушия ненависть к насилию и самовластию. Поэзия оставалась монархическою в лице своего высшего представителя, Державина; дух Франции XVIII столетия бледно прорывался у небездарного Капниста и недаровитого Княжнина и ярко блестел у Фон-Визина. Народ оставался в стороне; его вопрос не только не выходил на свет божий, но вколачивался правительством в черную немощь крепостного права в то самое время, когда в верхних слоях общества робко начинала мелькать ненависть к самовластию. Но все же народный вопрос хранился в условиях жизни. Само барство было только отделом народа; оно не было чужое; в их отношениях лежала не вражда разноплеменная, а междоусобие. Само государство выросло на безмолвном пирамидальном основании народной жизни. Сама монархическая поэзия называла народ «исполином, царю послушным», но невольно признавала его существование. Литература, проникнутая чужеземным содержанием и кадившая правительству, сложившемуся на немецкий лад, эта литература все же говорила русским языком и доискивалась своей формы. Потребность выработать свой язык и форму, начавшаяся с Ломоносова, стала так неодолима, что на этом сосредоточивается вся деятельность Карамзина и Жуковского, и в этой исключительной работе проходит все начало XIX столетия. Откуда же было взять язык и форму? Очевидно, язык брался у народа, но его надо было очистить по европейскому образцу. Форму можно было искать и тут и там, и в народной песне и сказке, и у европейских писателей. Но народная песня однообразна, содержание сказки не больше тревожит сердце, чем греческая Илиада; а европейское влияние и участие в умственном движении Европы было так живо, что стихотворная форма европейская казалась сподручнее, и за русский мотив приходилось браться нехотя, только по невольному чувству одноплеменности литературы и народа. От этого,

раскапывая русскую летопись, Карамзин перекладывает ее на язык Рейналя и явление Иоанна Грозного обсуживает с точки зрения общей французской статьи XVIII века — о вреде деспотизма. От этого Илья Муромец имеет русского только стихосложение и Светлана пахнет Ленорой. Конечно, является и поползновение на чисто народный склад речи, но так как эта речь в сущности не знакома отделившемуся барству и литературе, то это поползновение является в смешном виде возвращением к церковнославянскому языку, без сомнения, менее русскому, чем объевропеившийся литературный язык. Тем не менее школа Шишкова служит первым указанием, предчувствием того, что задача литературы — задача народная. В забавной вражде с чужеземным, в тяжелом переводе иностранных слов на искусственный русский язык возникает стремление вглядеться в начало собственной народной жизни. И в то время, когда Карамзин вносит общее либеральное содержание Вольнеевых «развалин» в русскую историю, Шишков тяжеловесным славянским наречием отстаивает в государственном совете действительные народные нужды. Таким образом в литературе сводятся: общие европейские понятия гражданской свободы, первые заявления народных нужд и исключительное вырабатывание изящного языка и изящной формы в поэзии. Последнее достигает у Жуковского, вне всякой гражданской мысли, до значительного совершенства; и молодое поколение наследует разом чувство политической свободы, с определенным европейским содержанием и предчувствием какого-то собственного народного вопроса, и чувство художественности поэтической формы. В это время создался Царскосельский лицей и подступила война 1812 года.

Пушкин со школьной скамьи следил за необычайным движением народа и народов. Возбужденность общего настроения не могла не вызвать всех внутренних сил, таившихся в его существе, прежде всего впечатлительном. Впечатлительность была его силой и слабостью; она выдвинула его до гениальности и не раз вовлекала в грех — и в частной жизни и в литературной деятельности. Страстная потребность дать отголосок на всякое явление жизни невольно приводит к необходимости собрать впечатления в гармоническую связь и меру; только сильно развитое, то есть сильно впечатлительное, ухо способно разнородные

звуки связать в гармонию. Впечатлительность, во все направления разом, делала из Пушкина жизнежаждущего человека и великого художника. В нем судьба соединила все условия, все права на прямое наследство всего подготовленного в русской литературе в конце прошлого и начале нашего века. В нем пыл африканской крови сочетался с раздольно-спокойною славянской породой; впечатления детства связывали его со всем объемом русской жизни — с мирной красотой деревенской природы и сельским (то есть чисто народным) бытом, с барством, проникнутым философией XVIII столетия, и с кружком людей, преимущественно занятых литературой. Он принес в лицей уже готовую жажду сочувствия, потребность вдохнуть в себя все неизвестное, сулимое жизнию, и неотступную чуткость к ритму, который он ловил во всем окружающем. Он принес в школу художнический смысл, готовый принять всякое влияние изящно. Сквозь всю его жизнь проходит и с каждым годом растет изящность формы его произведений; содержание меняется, но сохраняет и развивает все задатки, вынесенные из детского и отроческого возраста, задатки первоначальных и потому неизгладимых впечатлений. Так он сохранил, с детства всосанный, светлый скептический реализм философии XVIII столетия, сквозь все попытки на мрачные идеалы байронизма; так он разом довел любовь к изящной стороне старинного барства до уродливой сословной спеси, и глубоко уловил русский народный мотив, народную песню, народные образы (в тесном смысле не только национального, но простонародного), и выразил с гениальным мастерством. Вопрос о его народности и ненародности, недавно возникший в нашей литературе, не меньше празден, как и вопрос о мировом содержании и значении поэтов. Если судить о народности, в смысле простонародного, на том основании, читает или не читает поэта простой народ, то мы едва ли начтем больше двух народных поэтов в целой Европе по очень простой причине: простой народ так же не читает в Европе, как и у нас. И в Европе, как и у нас, простой народ не имеет доступу к образованию частью потому, что ему некогда, его время поглощено поденным трудом; частью потому, что богатые сословия преднамеренно не допускают его до образования. Только случайные обстоятельства знакомят народ с его поэтами; для этого надо, чтоб поэт жил в его среде, чтоб

народ его не то что читал, а слушал. Так является Бёрнс в Шотландии, Бёрнс, живущий и поющий посреди горных пастухов и потому затверживаемый ими и передаваемый из поколения в поколение. Так Беранже в Париже, и только в Париже, потому что французское сельское население поет на иной мотив, мотив, который раздавался в операх Гретри и Боэльдье, в квартетах Онслова и который мало имеет сходства с парижским водевильным напевом. Везде литература недоступна массам; Байрон ненавидим высшими сословиями в Англии, но незнаком простонародию. Шекспир знаком городскому населению, потому что оно встречается с ним в театрах. Гёте и Шиллера знает Германия, прошедшая через университеты, а не Германия, работающая шесть дней, а на седьмой читающая исключительно библию и катехизис. Везде литература — достояние горожан, а не народа. Пушкин так же мало имеет читателей в нашем простонародии, как и Кольцов; видно, еще час народа не пробил. Но если судить о народности поэта по складу ума и речи, то нельзя не признать Кольцова народным поэтом — в смысле простонародного, и нельзя не сознаться, что Пушкин был *и* народным поэтом. Чтобы литература стала нераздельна с народом, как она была в сказочном младенчестве обществ, пока не выделилось особо грамотное сословие от работающего и одинакий уровень верований выражался всюду в форме песни и легенды, чтоб литература теперь стала нераздельна с народом, надо воспитание масс, то есть надобны массам свобода в жизни и досуг для образования, и надо, чтоб университеты, из своего городского, цехового застоя, разбрелись по деревням. Вырастет ли из наших скромных воскресных школ рассадник повсеместного образования, а не просто грамотности? Поймется ли, что отсутствие в русском языке различия национального и народного указывает на то, что у нас бессословность естественна, а различие сословий — явление, натянутое длинной эпохой централизации, и с нею обречено на падение? что с первого шага учреждения свободных, то есть неправительственных, школ у нас возникает необходимость общего образования? Когда это поймется, народ создаст своих поэтов и оценит народность поэтов прежнего времени.

Мы сказали, что Пушкин *и* народный поэт, потому что его всеобъемлющая впечатлительность включала всякое содержание, отзывалась на всякое настроение и искала

многоразличных форм, в которые вошла и народная форма, вошло и народное содержание. Стоит взглянуть на его «Балду», на его «Поминки», на «Русалку», чтоб не усомниться в его обладании народной стихией. Его мировое значение (как выражались и еще выражаются) трудно определить не потому, чтобы нельзя было определить значения Пушкина, но по неопределенности слова: мировое. Если оно относится исключительно к политическому содержанию и влиянию поэзии, то мы должны исключить Гёте из числа мировых поэтов. Если оно относится к научному содержанию, то только одного Гёте и можно назвать мировым поэтом. Если слово мировое относится к многоразличию, к всеобщности содержания — в противоположность к поэзии, исключительно занятой личным чувством, любовью к женщине, описанием природы или чем бы то ни было не общественным и настроенным только на один тон, — то нельзя Пушкина не назвать мировым поэтом, потому что он касался всех явлений жизни. Если мировое значение относится вообще к влиянию на современный мир, то влияние Пушкина на русский мир было не меньше, чем влияние Гёте и Шиллера на германский мир. Что он не имел влияния на Европу — это очень просто: мы для Европы простонародие; из нашей среды небольшая кучка людей читает европейское; а нашего Европа вовсе не читает; наши интересы ей или чужды, или враждебны. Для русских Пушкин имеет мировое значение: в нем отозвался весь русский мир и все европейское влияние на него, все данные, из которых этот мир соткан, и выразился своеобразный взгляд на жизнь, и язык выработался до художественной полноты. До сих пор пушкинская форма и пушкинский язык, настроение мысли и чувства — у нас живы и не заменились новыми формами, и Пушкин остается родоначальником и высшим представителем русской литературы XIX столетия, сколько бы критика, «в детской резвости, ни колебала его треножник».

В те дни, когда в садах лицея
Он безмятежно расцветал,—

взволнованная Россия сожгла Москву, отбилась от Наполеона, провела поперек Европы и вернула из Парижа домой войско, сознававшее победу и следственно какую-то самостоятельность, силу неопределенную, но все же силу. Многие из офицеров шли в поход, подготовленные к мысли

гражданской свободы знакомством с западной литературой прошлого века и с самыми происшествиями, снесшими голову с плеч Людовика XVI. Из дому, несмотря на весь внешний блеск екатерининского царствования, они могли вынести только чувство, что

С Екатериною прошла
Екатерининская слава

и что злодейское убийство сумасшедшего злодея Павла I не служит для них преданием, которое из особы царя делало бы что-нибудь неприкосновенное и священное. В дороге они познакомились с мистически патриотическими обществами немцев, которые, избавясь от внешнего, чужеземного ига посредством русских штыков, почувствовали в себе нечто вроде героизма и домогались свергнуть внутреннее иго своих царьков мал мала меньше; тут же наши офицеры встретились и с уничтожением крепостного права и с благородною деятельностью единственного настоящего гражданина из немцев — Штейна. В Париже наши войска водворили конституцию. Обе струи — струя Радищева и струя Новикова — оживали с удвоенной силой и сливались в одну потребность положить начало гражданской свободы в России. Как нарочно, тотчас по водворении мира, перепутанные исторические данные стали совершенно запутываться в голове, далеко не лишенной поэзии, Александра I. Трагедия его внутренней жизни и разгром общих обстоятельств, может, были слишком сильны для этой личности, более сродной к полууединенному раздумью свободномыслящего grand seigneur'а, чем к государственному делу. Вечно преследуемый призраком убитого отца, воспитанный либеральным швейцарским бюргером, он с начала царствования стремился загладить память отцовских неистовств человечным обхождением с людьми и либеральными учреждениями; тон кордегардии заменился изящностью обращения, из Сибири возвращались ссыльные, заводились школы в размерах университетского преподавания. Мистическое настроение колебалось между энциклопедизмом Лагарпа и покаянием в отцеубийстве. Но когда обстоятельства поставили человека на вершину политического значения, мистицизм покаяния перепутался с мистицизмом власти, чувство страха перед грядущими бедствиями с чувством, что он спаситель и освободитель народов, чувство мистического смирения

с чувством мистического всемогущества. Из этой внутренней, трагической запутанности вышло стремление учредить Россию на военную ногу, чтоб избавить от новых нашествий, освободить народ, сделавши из него единое войско, проникнуть его духом мистического чувства провидения и все соединить под благословенную десницу царя. А на деле эта запутанность выразилась учреждением военных поселений, муштрованием и поронием солдат и покровительством тайным религиозным обществам. В публике разом развились наклонности к тайным обществам и ненависть к царской власти. Александр совершал обязанности капрала в кордегардии, как таинство, обращал крестьян в солдат из чувства священнодействия; публика не могла примкнуть к этой нелепости ни с точки зрения христианского мистицизма, ни с точки зрения энциклопедизма, ни с точки зрения европейского образования, ни с точки зрения практических народных потребностей. Самостоятельность войска, вынесенная из победоносного шествия, дорастала до семеновского бунта; образованная невоенная молодежь искала законности и думала об освобождении крестьян: то и другое соединялось в обществе 14 декабря, вызванном разом и привычкою к религиозным тайным обществам и необходимостью основания политического тайного общества, потому что помимо его не виделось исхода.

Под этим влиянием изящной формы жизни александровского времени и противоречащего ей управления, под влиянием усиливающейся ненависти к власти, потребности свободы и преобразований, под влиянием создающегося политического общества воспитывался Пушкин в лицее. Очевидно — первое впечатление, на которое он откликнулся, было впечатление политических стремлений, и шестнадцатилетний поэт звал «музу пламенной сатиры с бичом Ювенала». Товарищ Пушкина — Пущин, бывши в лицее, уже принадлежал к тайному обществу. Это влияние проникает во всю деятельность поэта с поступления в лицей до 1827 года. Оно отзывается во всех его произведениях, являвшихся в печати. Оно слышится в любви к вольному племени в «Кавказском пленнике», в жажде воли, дышащей в «Цыганах». Герои обеих поэм имеют большую погрешность; они не герои русского мира, они придуманы под влиянием Байрона; они и у Байрона не принадлежат ни к какому действительному миру, потому

что Байрон создавал их в противоположность ему ненавистной узкой рамке, низменному нравственному уровню английской жизни. Они (говоря языком немецкой философии) и у Байрона — создания в антитетическом смысле, точно так, как социальные теории не что иное, как противоположность, антитезис европейской экономической и политической жизни в ее целом складе и подробностях. Ни то, ни другое не имеет корня в действительной почве: Фурье создает противоположность вечной войне существующего порядка разрозненных общественных сил; Байрон создает свой идеал из всего, что противно английским понятиям. Это совпадение явления социальных теорий и идеалов в поэзии, противоположных существующим людям, чрезвычайно важно, указывает на единство происхождения и изношенность людей и общественной основы. У нас социальный склад составляет почву народного быта, у нас требуется не социальная теория, а историческая постройка; от этого антитетические идеалы у нас не привились, являлись как подражания и исчезли, не достигнув никакой полноты поэтического создания. Наша усталь не в общественном складе, не соизмеримом с дальнейшими потребностями; нам приходится развивать зародыши, соизмеримые с идеалом; наша усталь — усталь от правительства и жизни, им приказанной вопреки естественным историческим основам. У Пушкина байроновские идеалы не удались, и живыми оставались только внутренняя, затаенная, но всегда чувствуемая вражда с правительственной жизнью и потребность освобождения. Возникшая из-под впечатлений народной войны и лицейского образования, под влиянием тайного общества и им самим испытанных преследований власти — эта потребность выросла у Пушкина в целость направления. Пушкин начинает отделываться от байроновского идеала в «Братьях разбойниках», которые уже не просто антитезис англичанину или европейцу, а стоят на реальной почве; он совершенно отделывается от байроновского идеала в «Онегине» и совершенно становится на русскую почву. Но целость направления, навеянного политическим обществом, нигде не покидает его, и равно в Ленском, верившем, что «есть избранные судьбою», и в Онегине, сломанном русской правительственно-общественной жизнью, чувствуется, что эти люди прежде всего — не друзья правительства и представляют — один вдохновенно, другой скепти-

чески — протест против существующего правительственного порядка вещей. Лица взяты из высшего сословия, потому что только его меньшинство могло заявить первый протест. Именно эта целость направления, так изящно проявлявшегося у Пушкина, и имела то громадное влияние на современные умы и современную литературу, которое разом вызывало в людях и, как всегда, особенно в юношах, потребность гражданской свободы в жизни и изящности формы в слове.

В чем заключалась гражданская свобода — Пушкин не мог сказать: дело поэзии было выразить настроение и направление, создание же самих учреждений, вывод формулы входит в иной разряд человеческой деятельности; поэзия могла выразить отношение человека к задаче, а не самую задачу и ее решение. Если, перелистывая лирические политические произведения Пушкина, мы останемся холодны, читая «оду на свободу», это именно потому, что в ней, из настроения и направления, Пушкин перешел в какую-то нетвердым почерком составленную запись конституционного положения. Эта ода, вероятно, навеяна случайным разговором о необходимости конституции — мысль, которая часто мелькала перед глазами тайного общества, не знавшего, куда вынесет сила событий, придется ли обойтись вовсе без царя, или воспользоваться удобным случаем вынудить конституцию. Не только в лирическом стихотворении, но и в самой политической практике вопрос о конституции не мог быть поставлен ясно. Воззвание к царям, чтобы они склонились —

...первые главой
Под сень надежную закона,
И станут стражею у трона
Народов вольность и покой —

воззвание, так холодно кончающее стихотворение, начатое в порыве вдохновения с «разбития изнеженной лиры»,— оно так же мало представляло ясного смысла в практике, как и в самом стихотворении. Где был этот надежный закон? Разрозненные указы разных царствований, еще не собранные в свод, не подвергались критике, и никто не был уверен, чтобы они, даже собранные в свод, могли служить надежной сенью закона; скорее думалось противное. Закон, никогда не исходивший из народной жизни, создаваемый из видов правительственных удобств, а не ради

удовлетворения народных потребностей, не мог представлять никакого ручательства за вольность и покой народа, и, конечно, из-за этого закона нечего было становиться стражею у трона. Имел ли этот закон естественную связь с народной жизнью — было больше чем сомнительно. Самое изучение обычного народного устройства едва было поднято на степень зарождающегося вопроса; чувствовалось только, что, при перевороте, придется формальный закон отбросить и ввести в законодательство иные основания. Но эти основания не были разработаны; требовать конституции во имя неясных, почти неизвестных оснований было невозможно; а требовать ее во имя писаного закона — было бесполезно. Вопрос о конституции падал сам собой; от этого он и являлся у декабристов Северного общества только мимоходом, как дело, которое при случае не надо упускать из виду, и никогда не достигал никакой определенной формы и не составлял действительной цели; а у декабристов Южного общества, общества «Русской правды» даже вовсе не ставился, как нечто совершенно противоречащее его цели и взгляду на русское общественное устройство. Кроме отсутствия закона, который бы составлял надежную сень, было еще отсутствие сословий, которые стали бы стражей у трона, обуздывая царскую власть. Поставить ли этой стражей помещиков? Но их выгоды всегда были бы противны всякому началу народной свободы. Поставить такою стражей среднее сословие? Но у нас под этим именем разумелось только купечество, которое не есть сословие, а люди разных сословий, занимающиеся торговлей. Сделать эту стражу из крестьянства? Но прежде, чем оно могло бы занять эту должность, надо было развязать ему руки и дать ему свободно устроиться в своем быту; вдобавок закон, во имя которого оно бы стало стражей, не про него писан. Разве только члены тайного общества составили бы эту стражу? Но их целью было вызвать общественную жизнь, а не становиться охранителями трона во имя закона, ими не признаваемого, или иного закона, который только общественной жизнью и мог быть выработан; а для того, чтобы эта общественная жизнь могла сказать свое первое слово, уже прежде всего требовалось отсутствие петербургского правительства. Из всех этих противоречий вывести конституционную формулу было невозможно, да и конституция без среднего сословия не мыслима. Ари-

стократическая конституция относится к миру призраков; ее нигде нет и нигде не было. Бывали олигархические республики в древнем мире; примера два подобных республик являлись и в средние века на итальянской почве; но там, где короли составляли главу феодальной шайки, которую принижали по мере своего усиления, вопрос конституции был поднят не феодальным, а средним сословием. Он поднимался разом и против феодализма и против монархической власти. Английская конституция вышла из английской революции, и, следственно, не из аристократического, а из буржуазного начала, и, несмотря на камеру лордов и некоторые средневековые формы, она представляет владычество буржуазии. Добиваться подобной конституции в стране, где буржуазии не существует, нелепо — не потому, что хорошо или дурно монархическое конституционное правительство вообще, а потому, что в этой стране нет краеугольного условия для существования конституционной монархии: ее не из чего делать. Вопрос о конституции у людей того времени в России является как подражание Англии, взятое у Франции, где наши же войска ее водворили и откуда наши же офицеры вынесли к ней то уважение, которое человек имеет к делу, в котором сам был помощником. Этот вопрос возник из того же строя обстоятельств, против которого в сущности боролись те же самые люди. Он возник из петровского направления, которое было голым антитезисом русской жизни, антитезисом, отыскиваемым не в идеалах, создаваемых разумом из возможностей общественной жизни, а находимым в готовом государственном строе Европы. Идеалы разума еще могут быть иногда приложимы, потому что в них найдутся общие условия устройства человеческого стада; но явления чуждой почвы, которые просто исторические явления, а отнюдь не идеалы, не могут быть пересажены на почву, не представляющую данных для их повторения. От этого в петровском направлении, в петровском антитезисе, было столько ошибочного, и от этого декабристы, частью сознательно, частью бессознательно восставшие против него, могли, увлекаясь исторически привитою подражательностью, толковать о конституции только мимоходом, далеко не серьезно и никогда не довели ее понятия до ясности.

Может быть, конституционная формула, как все созданное буржуазией, не имея ни дикой поэзии первобытных героических, сказочных времен народной жизни, ни не

менее дикой поэзии рыцарской доблести, ни той мореподобной поэзии возникновения общественной свободы и самоустройства народной толпы, всего менее способно вызвать неподдельное вдохновение поэта; может быть, и самая неясность конституционной мысли у декабристов и у самого Пушкина носила в себе немощь впечатления, вызвавшего оду на свободу; как бы то ни было, мы остаемся холодны при ее чтении. А на современников она произвела огромное влияние, так была сильна у читателей потребность в поэтическом отголоске своих стремлений и надежд. Кроме того, что мы лично были свидетелями этого влияния, оно доказывается и самой ссылкой Пушкина, которая, по времени, совпадает с первым распространением рукописи. Публика забыла конституционную неясность в стихотворении и рукоплескала «грозе царей». Впечатление, произведенное одой, было не менее сильно, чем впечатление «Деревни» — стихотворения, выстраданного из действительной жизни до художественности формы, и не менее «Послания к Чаадаеву», где так звучно сказалась юная вера в будущую свободу. Кто во время оно не знал этих стихотворений? Какой юноша, какой отрок не переписывал? Толчок, данный литературе вольнолюбивым направлением ее высшего представителя, был так силен, что с тех пор, и даже сквозь все царствование Николая, русская литература не смела безнаказанно быть рабскою и продажною. В то время сильной возбужденности сам Булгарин не дерзал придавать полицейского оттенка своему борзописанию; замечательно, что и после, во время падения общественных сил при Николае, этот полицейский оттенок вызывал постоянное презрение к литературе, так же как и патриотические, то есть монархические произведения нуждой исковерканного, угасавшего Полевого и тучно возникавшего Кукольника. Замечательно, что во время общественного падения до безмолвия ни один срывщик не смел войти в литературное предприятие, не поставив, хотя намеком, на своем знамени общественного освобождения, потому что иначе наверно бы разорился. Мысль общественного освобождения никогда не переставала быть однозначащею с нравственной чистотой человека, газеты, журнала, книги, и всякому литературному срывщику, который попробовал бы кадить противоположному направлению, предстояла, сверх торговой неудачи, неприятность стать в общественном мнении на одну доску с Булгариным. Че-

рез двадцать лет после оды на свободу, несмотря на общественное принижение, вследствие той же необходимости гражданской нравственной чистоты, журналистика допустила к своему станку Белинского: такова была сила толчка, данного литературе декабристами и Пушкиным.

Другой поэт того времени, ученик Пушкина по стиху и равносильный по влиянию, Рылеев — сосредоточивал свою деятельность на политической мысли. Читая его, невольно угадываешь его внутреннюю работу, видишь человека, который всякое впечатление, коснувшееся до него на пути жизни,— от вольно дикого образа скачущей лошади до нежной заботы любящей женщины о любимом страдальце,— он все торопится прикрепить к единой мысли гражданской свободы, его нигде не покидающей —

Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых...

Поэтическая деятельность Рылеева подчинена политической, все впечатления жизни подчинены одному сильнейшему впечатлению; какие бы ни брались аккорды — они вечно звучат на одном основном тоне. То, что у Пушкина выражалось в целости направления, то у Рылеева составляло исключительность направления. В этом была сила его влияния и его односторонность. Пушкин, с своей всеобъемлющей впечатлительностью, не мог понять исповеди Наливайки; публика поняла ее и откликнулась. Пушкин искал образа казацкого вождя, чтоб быть вполне удовлетворенным этим отрывком, и не находил его — и был прав; он только забыл в заглавие поставить: исповедь Рылеева, и тогда бы он удовлетворился; публика поняла, что это была исповедь не только Рылеева, но каждого неравнодушного человека того времени. Великий художник не понял великого мученика и его святую односторонность; он считал ее за ошибку, но внутренно невольно поддавался влиянию, которое захватывало и его в одно направление. Он с любовью смотрел, как талант Рылеева вырастал, начиная с «Дум», сочиненных ученической рукою, до «Войнаровского» и «Наливайки», где все — и ясность впечатлений, и сам стих, возмужали, не выходя из исключительности направления. Насколько этот талант мог вырасти и расширить свою односторонность,— вышел ли бы он из нее до всеобъемлющей поэтичности, или бы только подчи-

нил ей более разнообразных явлений жизни,— мы не в силах судить: петля палача сделала все гадания бесполезными. Одно мы знаем, что святая односторонность его поэзии была выражением святой души и святой жизни; нравственная чистота Рылеева дает его произведениям силу, которая охватывает читателя не меньше, чем самая до тонкости доведенная художественная отделка. Перечитывая «Войнаровского» теперь, мы пришли к убеждению, что он и теперь так же увлекателен, как был тогда, и тайна этого впечатления заключается в человечески-гражданской чистоте и доблести поэта, заменяющих самую художественность, или, лучше, доведенных до художественного выражения. Нам кажется, что приходит пора свести эстетическую критику с метафизических подмостков на живое поле истории, перестать уклоняться от живого впечатления, навеянного поэтическим произведением, искажая это впечатление мыслью, что произведение не подходит под вечные условия искусства; пора объяснить себе силу этого впечатления силой, с которой исторические и биографические данные вызвали в душе поэта его создание. Истинность поэмы гораздо больше основана на исторической обстановке и личности поэта, в взаимном действии которых вся искренность произведения, чем на вечных началах искусства; а вечных начал искусства, помимо его технической стороны, нет. Техническая сторона искусства вечно одна и та же: никогда живопись не уклонится безнаказанно от законов перспективы, от линий человеческого тела, даже в самых фантастических образах чертей и ангелов; никогда музыка безнаказанно не уклонится от естественных условий гармонии; никогда поэзия безнаказанно не отшатнется от естественности образов и выражений и от гармонии стиха. Законы техники вечны, как законы природы, которых они повторение в искусстве. Чем сильнее талант, тем он больше обладает техникой и умеет ею пользоваться. Но форма и содержание произведений меняются с историческим складом народов и обстоятельств; физиологически неизбежные трагедии и комедии жизни остаются в роде человеческом, но образ жизни меняется и кладет свою печать на форму произведений; религиозный, научный, политический и общественный взгляд на вещи меняется и дает иное содержание. Греческий хор исчез из трагедии, потому что исчез образ жизни эллинов; католический взгляд Данта не имеет ничего общего с миросозер-

цанием Гамлета. Одна черта из жизни Шекспира, которая показала бы нам, как ему бывало трудно внутреннюю мысль перевести в поступок, да еще при той исторической обстановке, которая заставляет его отправить сумасшедшего в Англию, потому что там все живут сумасшедшие,— одна такая черта из жизни больше, ярче, живее и теплее объяснит нам Гамлета, чем все многоглаголание Ретчера и иных гномов метафизической науки. Таким образом, сила впечатления, производимого *теперь* «Войнаровским» и отрывками из «Наливайки», нам становится ясна, когда мы приходим к пониманию, что в них пришла к слову, художественно сказалась целая внутренняя жизнь гражданского деятеля, и в гармоническом стихе и в жарком чувстве, кроме того, охватывает вся мощь традиции, не только не умершей, но полной близкой будущностью.

С недоумением и благоговением нам хотелось бы объяснить конец деятельности Рылеева, его последние стихотворения, и нет у нас никакой биографической нити. В его целой деятельности религиозный вопрос вовсе оставлен в стороне; перед плахой его стих становится религиозен. Это доказывается двумя стихотворениями, сочиненными в Алексеевском равелине. Они не успели попасть в эту часть нашего сборника. Вот одно из них, последнее:

Мне тошно здесь, как на чужбине...
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст мне крыле голубине —
Да полечу и почию?..
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! ты мне прибежище и сила,
Услышь мой вопль, вонми мой стон!
Приникни на мое моленье,
Вонми смирению души —
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши!

Удивительное впечатление производит это предсмертное стихотворение повешенного героя. Нас нельзя заподозреть в религиозности, а между тем оно так искренно и истинно, так глубоко скорбно и чисто, что его хочется спеть. Но откуда этот неподдельно религиозный мотив? Был ли Рылеев религиозен *всегда,* но не поминал о религии, потому что был слишком занят гражданским делом? Или тюрьма вызвала у сильного бойца потребность

слабодушного утешения? Разрешение этого вопроса очень важно и для понимания Рылеева и для русской литературы. Если он всегда был религиозен — то необходимо новиковская традиция входила в его воспитание. Как, через какое посредство она связывалась с его жизнью? И — невольно вдумываешься во всю деятельность Новикова и отыскиваешь нить, проходящую от него до 14 декабря, и досадно, что материалы для науки жизни так мало разработаны.

Около Пушкина и Рылеева выросла и развилась целая дружина поэтов, более или менее талантливых. Рылеев имел равносильное, если не большее, влияние на политическое движение современников вообще, но Пушкин имел несравненно большее, почти исключительное влияние собственно на литературный круг и на общественное участие в литературе. Его многообразное содержание заставляло изучать не одну политическую струну и, следственно, вызывало последователей во всем, что составляет поэзию для человека; но целость вольнолюбивого направления сохранилась у всех, так что оно звучало даже в «Чернеце» Козлова. В направлении исключительно политическом следовал за Рылеевым только один, товарищ Пушкина по лицею, Кюхельбекер. Остальные разобрали политическое содержание Пушкина; каждый взял то, что ему было сроднее, от унылой нежности песенок Дельвига до гениальной элегичности Баратынского; но вся дружина могла назваться дружиной вольнолюбивых поэтов; даже маленький Глинка писал:

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

А Баратынский затронул вопрос поглубже, вопрос различия сословий. Его «Цыганка», может не довольно оцененная, проникнута гражданской мыслью и исполнена истинно трагических движений. К сожалению, у нас нет ее под рукою, но невольно приходит на память, как цыганка, жертвуемая сословному предрассудку, говорит про свою аристократическую соперницу:

Ее вчера я увидала —
Совсем, совсем не хороша!

Глубина этого движения не требует пояснений.

Таким образом поэзия того времени, охватив все поэтическое содержание человеческой природы, в целости

своего направления являлась как вызов на политическую борьбу и отчасти коснулась социального вопроса. Но, работая ради освобождения народа от насилия и власти, она не была в силах вызвать народ на борьбу, потому что вращалась исключительно в рядах высших, читающих сословий, отделенных от народа отношением властителя к слуге. Поэзия и литература полагали начало к сближению сословий во имя общих убеждений, но не во имя действительных народных потребностей, которых понимание было равно не разработано ни в их исторических составных данных, ни в их современном положении. Только гений Пестеля предугадывал склад государственной будущности, народное землевладение, связь целого и самобытность областей; но литература не сходила, из общей неопределенности des droits de l'homme, на реальную почву народной жизни. Она была точкой отправления к сближению с народом, но не могла осуществить его. Может быть, от этого не удалось и 14 декабря. Зачавшись в среде преимущественно барской, да еще в среде образованного меньшинства барства, литература — как мы уже сказали — унаследовала от прежних деятелей еще иную потребность: сверх того, что она пришла к понятию политической свободы и сознанию, что и каждый ее деятель, сколько бы ни принадлежал к барству по происхождению, прежде всего принадлежит русскому народу и работает ради его освобождения — сверх этого она имела потребность говорить изящно. Может быть, изящество языка и могло вырасти только у образованного барства, и для литературы — это был, конечно, не проигрыш; самое джентельменство Александра влекло в ту же сторону. Вдобавок и у нас изящество не спорило с политическим идеалом des droits de l'homme, так же как не спорило с ним и в европейской литературе от энциклопедистов до Байрона. Изящность в приемах, в образе жизни обусловливала изящность языка и форм в литературе. С этой точки зрения мы смотрим на отдел стихотворений Пушкина, который мы назвали эротическим, пожалуй, назовемте неприличным, похабным, но какое ни дайте ему название, вы все же найдете, что он проникнут «вольным духом» и изящен по форме и языку. От этого, как ни странно встретить в одной книге поэзию гражданских стремлений и поэзию неприличную, а они связаны больше, чем кажется. В сущности они ветви одного дерева, и в каждой

неприличной эпиграмме вы найдете политическую пощечину. Любовь к непристойностям, общая всем народам, очень домашняя у русского народа, всегда — у нас, как и везде,— находила выражение в литературе. Вошла ли она в пушкинскую поэзию вследствие своей бессословной народности, или потому что он

Читал охотно Елисея,

или под влиянием древних и Парни, самого изящного и поэтического из французских поэтов,— мы не беремся решить; но одно очевидно — она, под влиянием воспитания, сложилась у него в либеральный склад и изящную форму. Мы были очень рады, узнавши (слишком поздно для нашего издания), что «Вечерняя прогулка» не Пушкина, а Полежаева; что «Первая ночь брака» по крайней мере сомнительна; иные приписывают ее тоже Полежаеву, но — к сожалению — мы слышали от знакомого с Пушкиным, что эта пьеса действительно его. Мы берем его «Гаврилиаду» и «Царя Никиту», где язык и форма, особенно в последнем, безукоризненно изящны и вместе с тем содержание их проникнуто религиозным и политическим вольномыслием. Для нас очень важна эта сторона изящества неприличных стихотворений Пушкина; мы слишком неизбежно видим, как с отсутствием изящности форм в жизни на долю стихотворений неприличного содержания остается только неприличность и устраняется все изящное. «Гаврилиада», принадлежащая к произведениям раннего возраста поэта, без сомнения отзывается влиянием Парни. Рассказ Сатаны о том, как и почему он научил Еву отведать запрещенного плода, и прилет голубя имеют всю силу и прелесть лучших позднейших произведений Пушкина. «Царь Никита» рассказан со всей простотой народной сказки и со всем пушкинским изяществом. Если XVIII столетие навеяло поэту первое атеистическое произведение, то в «Царе Никите» нельзя не увидать следов сближения с народной жизнью и выросшего в обществе декабристов презрения к царской власти. С одной стороны, Пушкин довел стихотворения эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую прозрачность; так<ово> стихотворение:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...

С другой стороны, циническая эпиграмма Пушкина всегда бьет политического врага даже в литературном враге; от Николая до Булгарина, от царя до шпиона — везде казнится один враг, враг гражданской свободы. Лучшее доказательство, что самые личные враги Пушкина, затрагивая его, затрагивали и целость направления и становились врагами общественными. Так была эта личность неразрывно связана с общими стремлениями.

Но прежде чем мы дойдем до ухода Пушкина из целости гражданского направления в исключительную художественность, нам остается докончить первую половину двадцатых годов воспоминанием об одном могучем произведении, которое совершенно самобытно, писано не учеником Пушкина, а своеобразным мастером, и дополняет эпоху и ее общие интересы. Мы говорим о «Горе от ума». Если Онегин выразил сломанность, усталь жизни, которая при существующем правительственном порядке вещей не имеет исхода в общественную деятельность и, следовательно, не имеет определенной цели, достойной умственно развитого человека,— то Чацкий представляет деятельную сторону жизни, негодование, ненависть к существующему правительственному складу общества. Критика как-то решила, что Чацкий не живое лицо, а ходячая сатира, отвлеченное, враждебное понимание современного общества, или образ мыслей самого Грибоедова. Мы не можем понять, как критика из метафизической эстетики дошла до заключения, что живое лицо может любить, сморкаться, говорить интимные вещи или обыденные пошлости, но не может иметь гражданского образа мыслей. А что же, если для этого лица существенная сторона жизни, основной тон, исключительное занятие — его гражданский образ мыслей, что же прикажете ему делать иного, как остаться живым лицом вопреки критике? Если это лицо, положимте — Чацкий, представляет только псевдоним Грибоедова, то отчего же Грибоедову в то время нельзя было быть живым лицом, которого жизнь поглощена гражданским стремлением и враждою к современному порядку вещей? Но Чацкий не только Грибоедов, Чацкий — живой человек своей эпохи, от этого он тем более живое лицо. От этого, чего критика не хотела заметить, все лица сгруппированы около него; он — самый рельефный образ в целой комедии и один стоит на первом плане. От этого и громадное впечатление, которое «Горе от ума» имело в то

время при чтении и после, на театре, принадлежит собственно Чацкому, как лицу, сосредоточивающему на себе общественное страдание и движение своего времени. Чацкий, исключительно занятый гражданским вопросом и переполненный горькой безвыходностью русской жизни, скачет по Европе; у него оставалось одно чувство, в котором он еще чаял спасения — любовь к женщине; ради этого чувства он возвращается домой, но и оно разбивается о пошлость окружающего мира, и он опять бежит «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Личное счастие не удалось, общественные надежды не расцвели от встречи с Репетиловым. Большинство признало его за сумасшедшего. Жизнь сломана, и родство этого деятельного человека с усталым и скептически сосредоточенным Онегиным становится ясно, так же как и влияние того и другого на литературу и общество.

Есть мелкие заметки против «Горе от ума». Одна из них — и, может быть, самая верная — принадлежит Пушкину: зачем Чацкий, умный человек, говорит всякую задушевную мысль при Фамусовых и Скалозубах? Пушкину это казалось неестественным. Мы не можем решить вопроса ни в пользу Пушкина, ни в пользу Грибоедова. Для нас лично оно кажется, оно было бы неестественным; но, вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакового с ними убеждения говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится более чем возможным — оно исторически верно. Энтузиазм во все эпохи и у всех народов не любил утаивать своих убеждений, и едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит в рядах энтузиастов; Чацкий чувствует себя самостоятельным врагом порядка вещей своего времени, он высказывает свои убеждения Фамусову, потому что они оскорбляют Фамусова, а ему надо оскорблять Фамусовых, и тогда дело становится не только исторически верным, но и лично для Чацкого естественным.

Другая мелкая нападка критики — это на выходку Чацкого против французика из Бордо и желание перенять у китайцев «их мудрого незнанья иноземцев». Если мы вспомним тогдашнее раболепие барства перед всем иностранным, перенимание не умственной деятельности Европы, а пошлой стороны ее жизни; если мы подумаем, что это перенимание еще не угомонилось и теперь, что то

же раболепие недавно отозвалось при посещении Дюма-старшего и Молинари, что оно в науке и даже в политических теориях еще и теперь доходит до идолопоклонства и мании, то выходка Чацкого и его желание сблизиться с народом вовсе не покажутся смешны и странны, и его мысль о подражании китайцам нельзя будет добросовестно принять за серьезный проект, а просто за невольно в ум пришедшее ироническое движение, как оно и есть в самом деле.

Но вот время Чацкого и Онегина, время Рылеева и Пестеля разразилось 14 декабрем, покачалось на одном месте недолгое время и стало стихать и переходить в грустное безмолвное раздумье и притаение гражданского вопроса. Грибоедов, спасшись от ссылки посредством родственных связей, примкнул к правительству и на дипломатическом поприще наткнулся на случайную гибель. Но талант его и без того уже был погибшим: он высказал в «Горе от ума» все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом, именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести. Пушкин попал ко двору. Николай поиграл с ним в меценаты, и впечатлительный поэт увлекся. Тут его гениальная впечатлительность становится его слабостью, и он разом, в том же 1827 году, пишет в Сибирь к декабристам:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье —

и стансы:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...

Неужто Пушкин увлекся Николаем Павловичем? странно сказать — а это правда. Впечатление власти, его пощадившей, умеренная, мелкая точка зрения друзей, оставшихся с ним,— Карамзина, Жуковского, Вяземского, Плетнева,— и отсутствие истинных деятелей русской мысли и русской свободы заставили впечатлительного поэта склонить покорную голову перед властью и примкнуть к вере в централизацию и к точке зрения на Россию не просто славянофильской, а правительственно-славянофильской, с которой борьба за независимость могла показаться «спором о семейном старшинстве». В 31 году он дошел до оды «Клеветникам России». Видно,

что граждански общество и поэт падали быстро. Польская революция иначе откликнулась в Сибири, сохранявшей благородную традицию в лице мучеников 14 декабря. Если сравнить «Клеветникам России» с стихотворением Одоевского, помещенным в конце этой книги на стр. 423 <«При известии о польской революции...»>, то и самое сверкание *стальной щетины,* образ, взлелеянный петербургским Марсовым полем, померкнет перед чистотою гражданской мысли в рудниках, на каторге. Даже в рядах зарождающегося, иного славянофильства — не петербургского, не правительственного — иначе отразилась польская революция; стоит взглянуть на стихотворение Хомякова на 211 стр. этого сборника <«1883 год»>. Пушкину самому было неловко от своего увлечения Николаем и централизацией; сибирские друзья были для него дороги; на душе у него лежал траур; неугасшее чувство гражданской свободы не раз вспыхивало и томило: он удалился в художественность, как в пустыню, где мог бескорыстно молиться богу искусства и искать спасения. Мы не берем на себя наглости, как теперь в нашей литературе вошло в привычку, хватать по заветным личностям с плеча грязною ладонью; эта бесцеремонность показывает в драчуне гораздо больше желания заявить существование своей маленькой ничтожности, сказать — что вот и я-де великий человек и я что-нибудь да значу, потому что ругаюсь (je péte, donc je suis),— чем действительного, добросовестного чувства истины. Может быть, это ползание червей по дорогому покойнику и естественно, но все же производит невольное и точно так же, для чистого человека, естественное отвращение. Мы не обвиним Пушкина в преднамеренной измене свободным убеждениям, то есть в подлости, не только потому, что не любим обращаться небрежно с великими явлениями русской и вообще человеческой жизни, но и потому, что преднамеренной измены с его стороны не было. Чувство свободы не замолкало в нем и переходило в уныние, в сознание бессилия; под этим настроением явилось стихотворение «Сеятель»... удушливое давление николаевского царствования не могло не отразиться на впечатлительном уме свободномыслящего поэта. С другой стороны, образование государственной силы под руководством централизации, блеск власти и патриотизм со всей узкостью племенной вражды, «спора племен между собою», произ-

водили на него равносильное впечатление, так что со второй половины двадцатых годов Пушкин, в своих гражданских убеждениях, постоянно находился под двойным и противоположным впечатлением; он в обоих случаях был искренен и колебался в противоречии, поддаваясь на ту и на другую сторону, смотря по впечатлению минуты. Впечатлительность, как мы сказали, была его гениальностью и его слабостью; с противоречием он сладить не мог, и так как обе противоположности равно владели им, то его гражданское настроение обратилось в ничто, и он стал жить исключительно по направлению, куда его вел первоначальный толчок его деятельности, по направлению художественного понимания жизни. Что сталось бы с Пушкиным, если бы пуля странствующего искателя приключений не прекратила дней его, опять может быть только предметом праздных гаданий. Вероятно, из патриотизма уже наклонный к панславизму, он перешел бы на сторону тех славянофилов, которые никогда не могли примириться с петербургской централизацией, и постепенно снова воскрес бы к впечатлениям свободы, с бóльшим знанием своей страны и бóльшим пониманием народных потребностей. Каждение централизации было и не у одного Пушкина; ему поддавался и Белинский; оно и в наше время бродит в юридическом доктринаризме. Как натура живая и сильная, Белинский быстро вынырнул из этого положения; вероятно, то же бы случилось и с Пушкиным. Но, не зная того, чего не было, мы только смотрим на психическое развитие, которое совершилось; наша задача была указать на ту живую впечатлительность, которая создала в литературе целость вольнолюбивого направления и вместе с тем не допустила декабристов принять в свой спасительный союз слишком подвижного человека,— впечатлительность, которая разом доходила до гениальности, потому что была всеобъемлюща и глубоко искренна, и до слабости, потому что подчинялась внешности, и которая из сломанного человека сделала великого художника. Станемте же глядеть назад не с ругательством и клеветой, но с сердечной печалью о преждевременной кончине поэта в мрачную годину русской жизни, когда он странствовал «среди долины дикой, объятый великою скорбью» и искал юношу, читающего книгу, который бы указал ему дорогу к свету; станемте глядеть назад с благоговением к великому ху-

дожнику. Сердиться на историю, даже когда это делается и не в видах раздраженного самолюбия,— смешно и бесплодно; историю можно только объяснять и ставить основанием будущего развития, дело беззлобное — потому что великое.

Незадолго до 14 декабря иной мир, мир русского *невежественного* барства, русского помещичества, выпустил в свет горячего юношу с сильным поэтическим талантом, который мог развиться только под условием — забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел; но с детства усвоенная привычка необузданности и рука Николая — дикого каменного гостя, настигшего дикого Дон Жуана,— не допустили могучий талант до отрицания этой среды в жизни, а следственно и в поэзии, и он —

Не расцвел
И отцвел
В утре пасмурных дней,

спасаясь от утраты всякой надежды в уродливость буйства бесконечного, безобразного; исчез, не развившись, а все же оставив резкий, жгучий след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погибнуть только человек, чувствовавший, что 14 декабря всякая русская свобода рухнула навеки и что помимо необузданного самозабвения в вечной оргии,— которая доконала бы тщетно живое тело, чем скорей, тем лучше,— ничего не остается на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век. Интерес сузился, общественный интерес переходит в личный; поэту уже не шепчет тайный голос, что «пора губить врага Украйны»; для него дорога не Украйна, а дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни. Редко на ком обстоятельства жизни так ярко отразились, как на личности и поэзии Полежаева. Уродливая поэма, за которую царственный Иуда-Меценат дал поэту лобзание и отдал его в солдаты, бросает полный свет на его существование и вместе указывает на раздвоенность нашего высшего сословия — на образованное меньшинство и дикое помещичество. Сашка вырос в среде дикого помещичества; он ненавидит его, но хранит все его привычки,

ставящие его в уровень с задавленным им дворовым человеком; Сашку воспитывает дворовый человек, да он воспитывает и все дикое помещичество. От этого Сашка плачет перед отцом-барином, которого обманывает, и бьет девок по зубам. В нем есть удаль, но нет изящества; в нем есть жажда воли и ненависть к власти, но нет благородства, нет доблести. Он просто буян, как вообще дворовый человек и дикий помещик. Мы очень хорошо знаем эту среду необузданного помещичества, которое с дворней пьет и дворню бьет, чтоб не видеть ясно, как оно создало «Сашку»; в поэме остался один цинизм с недосугом обработать язык, лишенный изящной формы и изящных образов. Какое необъятное расстояние от эротических стихотворений Пушкина! Среда образованного, мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого помещичества вырастила Полежаева. После первой проигранной попытки свободы Пушкин и образованное меньшинство еще могли отдохнуть в чувстве изящного, в понятии художественности; Полежаеву негде было искать отдыха и оставалось выгореть в собственной необузданности. От народа обе стороны были далеки, несмотря на гражданское направление одной и на близость нравов другой с дворовым человеком; собственно народ, то есть крестьянство, так же далек от дворового человека, как и от помещика; дворовый человек представляет для него только помещичьего чиновника. Но образованное меньшинство могло на пути искать отдыха; в нем таилась надежда на сближение с народом, в нем вырабатывались и определялись общественные убеждения. У дикого помещичества нет исхода; оно не может себя вообразить иначе, как плачущим перед отцом-государем, оделившим его землей и рабами и бьющим по зубам остальной люд; оно обречено на гибель. Бедный поэт, несмотря на весь душевный жар, на неопределенное, но горячее сочувствие гражданской свободе, не мог оторваться от привычек необузданности, его взлелеявшей, и погиб — равно под гнетом собственной, личной традиции и под гнетом царской власти, покаравшей его за то, что он мыслию смел оторваться от этой традиции. Мы не знаем больше трагической жизни и больше рокового конца. Все соединилось против юноши, страстно полюбившего волю и рифму,— происхождение и царь, воспитание и Николай Павлович; наконец, крысы обкусали ноги его трупа, заброшенного

в казарменных подвалах. И поневоле у живого человека вырывается проклятье и этой недостойной среде и этой недостойной власти!

Влияние Полежаева на литературу и общество, несмотря на силу его отчаяния, несмотря на жесткую и мрачную, но истинную и искренную поэзию его «Арестанта», ходившего в рукописи по рукам,— было не сильно, как последний звук замирающего выстрела. Общество шло к отдыху и раздумью. Пушкин дорастал до гениальной художественности, но перед концом поворачивал к глухому, мистическому полуотчаянию, полупророчеству — так звучат его подражания Данту. «Не дай мне бог сойти с ума», «Однажды странствуя». На этом звуке он замер. Новых талантов не являлось. Домогались до чего-то лжеталанты — вроде Кукольника; их поверхностный след скоро изгладился из памяти, как все не истинное. Но между тем, несмотря на аристократические прорывы у Пушкина, вроде «Родословной», «Мещанина», «Эпиграммы на Северина»,— целость его гражданского направления и влияние декабристов достигли одного результата: уважение к барству и помещичеству было подточено в общественном сознании; меньшинство дворянства не могло быть помещиком откровенно и не могло не быть помещиком безнаказанно. Внутренняя мысль и совесть мешали оставаться в этих отношениях к народу, Николай не позволял из них выйти, считая самую мысль за революцию. Нельзя было вырваться из собственного преступного положения, нельзя было последовать внутреннему влечению и сблизиться с народом, еще противнее было бы примкнуть к правительству. Меньшинство почувствовало себя лишним человеком. Общественной деятельности для него не было; ему еще позволялось углубляться в собственную тоску и пустоту жизни, а «родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка», любовью привычки к знакомому пейзажу. Напряженная трагичность этого положения требовала сильного голоса в литературе; ее все чувствовали, но она ускользала от внимания и наблюдения, заглушаемая внешней суетой жизни. Ее выразил Лермонтов. С упорной неизменностью провел он свою тяжелую задачу, гениальной впечатлительностью понимая всю прелесть жизни и постоянно сознавая себя лишним человеком в этом мире, где ему душно, как в тюрьме или монастыре, и откуда ему хочется вырваться

куда-нибудь на простор и дикую волю, как Мцыри, его самый ясный или единственный идеал. Этот антитетический идеал всякой общественности Лермонтов лелеял всю свою жизнь; в юношестве идеал ему является в образе Демона; мужая, поэт все больше и больше хочет свести его на действительную человеческую почву; он его преследует в салоне, где сам проводит или убивает свое время, но где, в сущности, его идеалу нет места, и где, следственно, он в лице Арбенина ему не удается; он его преследует в какой-то исторической обстановке, в Орше, но и тут ему нет места, обстановка выходит чем-то посторонним; наконец идеал достигает прозрачной ясности и целости в пленном отроке, рожденном на свободе, убегающем из заточения подышать зеленым лесом, дикой волей, подраться с зверями, с которыми борьба для него отрадна; борьба с людьми для него скучна, они ему слишком чужие, он их презирает; они слишком бессильны сами по себе, слишком ничтожны; их сила только в том, что их много и что их множество утомляет и обессиливает. Лучше три дня вздохнуть без них на свободе, самобытно и потом погибнуть, чем склонить гордую голову перед ними и жить долго и скучно, мало-помалу утрачивая вольную душу и звонкий голос и сливаясь с их немым множеством.

Женский идеал Лермонтова тот же самый; это уже не деревенская барышня, не Татьяна, любящая и унылая, страдающая и покорная; это женщина, которой нужна власть над людьми, которых она презирает, женщина, в которой больше гордости и ненависти, чем любви, женщина, противоположная всякой общественности, в чьих глазах «темно, как в синем море», чья душа

Из тех, которым рано все понятно,
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы. Им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано...
Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде!

И в самом деле, женский идеал Лермонтова опять тот же Демон, тот же Мцыри, но в другой обстановке, соответ-

ственной полу. Докончить своего женского идеала он нигде не мог; он его любит в царице Тамаре, но это легенда из чуждого времени; а он хочет любить свой идеал в действительности, добивается поставить его возле себя, пробует в сказке для детей и не кончает... Смерть ли прервала создание, или идеал невозможен и никогда не дошел бы до ясности?.. Существующую женщину он презирает: «пускай себе плачет, ей ничего не значит». Откуда эта неодолимая потребность презрения, которая заставляет его говорить,— а это во время оно казалось страшно дерзко,— говорить первой (по тогдашнему понятию) европейской нации, «великому народу»:

Ты жалкой и пустой народ! —

и в то же время дома не находить, кому подать руку в минуту душевной невзгоды? Имел ли он право не иметь друга, презирать собственную любовь к женщине, презирать всякую общественность? В том-то и дело, что жизнь, что история ставит не *право,* а *возможность,* или, лучше, необходимость, следствие целого склада причин. В первой молодости, под влиянием английски-антитетического идеала Байрона, Лермонтов увидал русскую общественность николаевского времени и почувствал, что и в этом мире он чужой, что ему тут делать нечего, что работать ради этого общества не стоит труда, из него ничего не выйдет; да не только ради этого, но ради какого бы то ни было общества; кроме презрения он ничего ничему общественному дать не может. С этой точки зрения он смотрит и на личные отношения. Он вращается в большом и малом свете, со всеми знаком, никого не любит — да и не за что; он в жизни постоянно шутит и хохочет, как школьник, а внутри у него отвращение от общей действительности — от лиц, с которыми встречается, от самого себя и своего положения, внутри у него тоска, тяжелая и безвыходная. От этого мысль побега из этой среды для него так истинна и поэтична, идеал Мцыри так искренен; и от этого его положение, его пребывание в действительности так ложно, что Печорин, сам не замечая, такой же фразер, как Грушницкий. Только необычайная сила языка, верность остальных характеров и поэтическая прелесть обстановки сделали из «Героя нашего времени» поэму, где и самая проза звучит как стих. Влияние Лер-

монтова, сочувствие к нему было огромно; всякий, признаваясь или не признаваясь, невольно чувствовал себя лишним человеком и чужим в этой среде, которой ни любить, ни уважать было не за что, следственно, всякий находил в нем свой отголосок. Но последователей у него не было, потому что каждый был чем-нибудь занят в жизни, хотя бы для того, чтоб как-нибудь наполнить пустоту, в чем-нибудь да позабыться, и не у всякого хватало силы на внутреннее, гордое и мрачное уединение. Струну, задетую Лермонтовым, каждый чувствовал в себе — равно скептик и мистик, каждый, не находивший себе места в жизни и живой деятельности; а их откровенно никто не находил. Лермонтов не был теоретическим скептиком, он не искал разгадки жизни; объяснение ее начал было для него равнодушно; теоретического вопроса он нигде не коснулся. Он был скептиком в практике, в самой жизни, он не верил в ее исход и потому на всякую человеческую деятельность смотрел с пренебрежением и общественный вопрос выбросил из своей поэзии. Кроме строчки презрения, брошенного на Францию, строчки ненависти к придворному барству в стихах на смерть Пушкина, он не затронул ни одного гражданского чувства,— разве ненужность войны в «Валерике»; но это скорее презрение и к войне, чем мысль общественной гармонии. Равнодушие к теоретическому вопросу удалило его от науки; он и в ее исход не мог верить a priori и потому не принимался за нее. Равнодушный к происхождению и скептик в исходе, он ловил свой идеал отчужденности и презрения, так же мало заботясь об эстетической теории искусства ради искусства, как и о всех отвлеченных вопросах, поднятых в его время под знаменем германской науки и раздвоившихся на два лагеря: западный и славянский. Вечера, где собирались враждующие партии, равно как и всякие иные вечера с ученым или литературным оттенком, он называл «литературной мастурбацией», чуждался их и уходил в великосветскую жизнь отыскивать идеал маленькой Нины; но идеал «ускользал, как змея», и поэт оставался в своем холодно палящем одиночестве. Николай постоянно преследовал Лермонтова. Кажется, за что бы? Поэт не принимал участия в политической задаче, ненавистной Николаю, от нее бледневшему. Равнодушный к убеждениям, он даже написал в честь Николая несколько необычайно звучных стихов — ве-

роятно, чтоб отделаться от преследований[1]. Но инстинкт руководил царем; он не мог стерпеть человека, который не принимает никакого участия в его попытке уничтожения общественной свободы и презирает эту попытку, как все остальное; царь мог выносить только людей, уживавшихся с его миром, и был рад, когда шальная пуля безумца свалила могучего нежильца мира сего. А может, и сам поэт встретил ее, как находку!.. До сих пор странна была участь наших поэтов. Во время возбужденности гражданского вопроса одного доканчивает виселица; во время притаения гражданского вопроса двоих доканчивает случайность. К одной случайности примыкает придворное барство не образованное — а придворное, николаевское; к другой примыкает オниколаевшееся, пошлое офицерство. Во всех случаях казнь идет из одних рук, из рук самодержавия. Те же крысы выпущены тем же капралом на съедение всего, имеющего свой звучный голос, потому что самобытно звучный голос в казарме не прощается.

В это время притаения общественного вопроса, немоты высшего сословия, ухода его лучших людей в научные теории и отвлеченные стремления, потому что близорукое правительство по грубости своего понимания только им и не мешало, в это время другое немое множество — народ — таил общественный вопрос не потому, что битва свободы была проиграна 14 декабря, а потому что она для него не начиналась, потому что — застращенный и унылый — он не дерзал подумать, что надо поставить на ноги общественный вопрос, он не знал, как его поставить. В его историческом воспоминании попытки освобождения граничили с разбоем,— знамя, под которое очень трудно собрать жителей мирных, не привычных владеть ножом и уже не веривших в мирное значение разбоя. Его настоящее наводило на него тоску и уныние. В будущем он

[1] Мы не помним наизусть этой пьесы и не помним, была ли она напечатана. Она кончается стихами:

...И за бедной колесницей
Бежал наемный клеветник.

Если она не была напечатана, мы просим гг. библиофилов прислать ее, а также и единственную неприличную поэму Лермонтова, какое-то ночное похождение; мы ее слышали только раз в 1841 году и совершенно не помним; смутно осталась в памяти только обычная прелесть стиха. <*Прим. Огарева.*>

стремился выйти на волю, но не мог определить сам себе, какая это должна быть воля; народ имел свой обычай гражданского порядка, но не имел идеала. Воля для него была чем-то безграничным, как степь; он сам себе не мог сказать, чем он наполнит пустоту своей затаенной мысли о воле и неопределенность своей затаенной, сплошной силы. И вот вышел из народа голос, совершенно соответствующий этому состоянию. Это был Кольцов. Лермонтов и Кольцов — два одинокие властители поэтических дум конца тридцатых и начала сороковых годов. Один — отвергнувший общественный вопрос по устали, другой — потому что не успел схватить его. Один — тоскующий оттого, что крылья утомились; другой — оттого, что «крылья связаны». Один погибает, подстреленный своими, которым он чужой; другой гибнет, задушенный своими, которые его не узнали. Оба вместе — звучный отголосок целой России своего времени, России задремавшей и России непроснувшейся. Лермонтов ищет своего идеала вне действительности, противоположного ей; этой силе нужен отдых после утраты, она стремится вон из той обстановки, среди которой утрата совершилась. Кольцов не имеет идеала, он имеет только стремление и немоготу силы, которая вот того и гляди сейчас встрепенется и грянет. У него в душе все народные воспоминания, история свободы под знаменем разбоя:

А по Волге, моей матушке,
По родимой, по кормилице,
Вместе с братьями за добычею
На край света летал соколом.

У него народные надежды:

Там у нас всего довольно,
Будет где нам отдохнуть.
От боярина сокроют,
Хату славную дадут.

У него народная сила, еще не доросшая до дела,—

Путь широкий давно
Предо мною лежит,
Да нельзя мне по нем
Ни летать, ни ходить...
Кто же держит меня,
И что кинуть мне жаль?
И зачем до сих пор
Не стремлюся я вдаль?

По летам и кудрям
Не старик еще я:
Много дум в голове,
Много в сердце огня!
Да на путь — по душе —
Крепкой воли мне нет,
Чтоб в чужой стороне
На людей поглядеть;
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Пред грозой роковой
Назад шагу не дать;
И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель идти —
Песни петь соловьем!

Кто в этих строках не почувствует всей народной силы, дремлющей, но готовой проснуться, тому этого объяснить нельзя. Есть вещи, которые понимаются сразу; кто не понял — пеняй на себя.

У Кольцова есть народная немогота сладить с теоретической мыслью, которая между тем его неотступно тревожит; он ее ищет и боится:

Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!

Кольцов — совершенно народ. Что за беда, что народ его не прочел и не узнал! Он все же свое дело сделал. Он заявил дремлющую силу немого множества перед образованным меньшинством. Он стал первым олицетворенным мостом между ними. И родоначальник русской литературы XIX столетия Пушкин принял его в свои отцовские объятия, и кружок Станкевича с участием сжал в своей научной руке его живую, народную руку. После Лермонтова и Кольцова можно было чувствовать, как внутренняя необходимость влечет образованное меньшинство к воскресению от устали, которой больше нечего было сказать, и к соединению с народом, которого непочатая, неопределенная сила заявлена и скоро потребует своего определения и займет свое надлежащее место в общественном движении.

Мы сказали, что в то время притаения общественного вопроса лучшие люди, то есть наиболее образованные, те, которые не могли ни пристать к успокоившейся толпе, ни уйти в чувство собственной отчужденности от чело-

веческого мира, ушли в науку — и в отвлеченные стремления. Это направление было естественно. Делать дело на гражданском поприще не позволяло правительство; да если бы и позволило, никто бы не знал, с чего начать. Правительственный переворот не удался; общественный переворот стоял неразгаданной загадкой. Поневоле приходилось спрашивать: что и как? И лучшие люди принялись за разработку теории. Практика требовала своего, требовала отрицания существующего порядка вещей, потому что он душен и безнравственен. Но что же составляло этот порядок? Барство и помещичество были подточены в сознании образованных людей; народ еще не жил. Порядок вещей составляло правительство. Чем же входило правительство в общественную жизнь? Чиновничеством. И вот литература принялась подтачивать правительство, начиная с его периферии, то есть с чиновничества. Вопрос был практически самый живой, и Гоголь был действительной общественной властью этого периода; высшее правительство снисходительно позволяло обкусывать свои оконечности, не догадываясь, что они — оно, точно так же, как терпело научную деятельность, потому что не понимало ее.

Собственно научная деятельность не произвела действительных талантов в поэзии. Для этого у нее не было живой связи с жизнью. Поэзии приходилось не откликаться на живые впечатления, а изобретать их вследствие теории. Во второй половине тридцатых годов она еще примкнула было к общественному вопросу в «Торжестве смерти» Печерина; но рукопись не вышла из пределов тесного кружка друзей и не отозвалась в публике. Облечь теоретическое понимание жизни и общественной будущности в поэму и разом высказать отчаяние в исходе общественной жизни — шло человеку с развитым научным пониманием и задыхающемуся под железной десницей Николая и тяжестью русской среды его времени. Поэма, несмотря на ее отвлеченность, обличала сильный поэтический талант, который мог бы развиться. Каким образом автор ее погиб хуже всех смертей, постигнувших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу?.. Это остается тайной; тем не менее мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он пре-

ступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни, или вместо того, чтоб работать для русской свободы, ему приютнее жечь протестантские библии в Ирландии?.. Как знать? Если внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб, то внутренняя сила может и вырвать из него. Покаяние не только христианская мысль, но необходимость для всего человечески искреннего.

Поэма Печерина относится к 1837 или 38 году. Чем больше наука вдавалась в метафизическую диалектику, тем больше выделялось понятие о художественности вне общественной жизни. Это был так же уход из удушливого состояния николаевского времени, как и у Лермонтова, но менее сильный и живой, потому что успокаивался в абстрактах. Попытки стихотворства у людей этого направления оказались несостоятельными; начинавшие писать не имели ни идеала, ни стремления, ни впечатлительности, жизнь приемлющей, и скоро выдохлись и перестали писать; им нечего было сказать поэтического. Под влиянием этой школы позже вышел один великий талант — это Фет; но и он скорее обрадовался найти себе оправдание в метафизической эстетике, чем действительно был ее учеником; он просто следовал своей личной, в одну сторону настроенной впечатлительности, своей способности исключительно пребывать в пантеистическом наслаждении природой и развил эту впечатлительность в своих произведениях до прелести, до которой, может, не достигал ни один из русских поэтов. Счастлив человек, который в такую горькую годину мог успокоиться в таком светлом чувстве! Это был самый изящный уход из действительности; негодовать на него мудрено; надо прежде спросить — что было делать, когда из действительности ничем живым не веяло? Люди сильные уходили в одиночество, как Лермонтов; люди мягкие бросались в объятия изящной природы. Явление эпикуреизма совпадает с тяжелыми временами истории, и только тот может бросить в него камень, кто ни на одну минуту в жизни не отдохнул под его обаянием.

В конце тридцатых и в начале сороковых годов смолкает потаенная литература, или — что еще хуже — рукописи не расходятся. Их прячут со страха те, у которых они есть, чтоб не попасться понапрасну; а те, у которых их нет,— не требуют их. Публика настолько боится обще-

ственного движения, что всякую крохотную выходку крохотного либерализма считает за геройство; она остается равнодушной ко всякой мысли об общей перестройке душного общественного здания, ко всякому чувству негодования против его самовластного хозяина. Стихотворения, которых цензура не пропускала, но которые могла бы пропустить, которые составляли занятие отдельного кружка и не отзывались в публике единогласным потрясением, как отзывался пропущенный цензурой Лермонтов, принадлежали к другому научному направлению — направлению археологического панславизма. Оба направления — европейской науки и панславизма — выходили из движения двадцатых годов. Слитые у декабристов — негодование на русскую действительность и любовь к России — раздвоились, одна сторона пошла в отрицание всего русского, другая в отрицание всего нерусского. Оба направления оперлись на германскую метафизику, ставившую себя наукою. Отдельно от нее, совершенно своеобразно явилась только на стороне европеизма статья Чаадаева — отрицание России, исполненное любви и скорби, которое могло только выйти из-под пера декабриста, искавшего в католицизме успокоения после проигранной битвы. Она потрясла умы на мгновение, как внезапная боль, заставила дружнее сплотиться своих противников — славянофилов, но не связалась нисколько с вовсе не католитическим гегелизмом. Плач Чаадаева замолк, оставив враждовать обе стороны, опиравшиеся на отвлеченную науку, и потому на первых порах — обе совершенно абстрактные. Метафизика развивала из себя диалектическую паутину, не слишком заботясь о действительности, о которой сама проповедовала, но которую не объясняла из фактов, из простого сцепления причин и следствий, а облекала факты в свою паутину и возводила простые явления в нравственный принцип, способ, которым можно примириться со всем на свете и все не только оправдать, но узаконить; естественное, но самое узкое последствие этого направления — доктринаризм. Доктринаризм овладел обоими направлениями. Доктринаризм славянофилов с той же метафизической диалектикой, как и его противник — доктринаризм европейский, дошел до необходимости панславизма и оправдания православия на том основании, что вера народная истинна, потому что она народная, а истина — принадлежность

народного сознания. Доктринаризм европейский сперва ударился в эстетику, потом перешел в юридический или собственно так называемый доктринаризм. Очевидно, что поэзия не могла найти себе места ни в произведениях, писанных для оправдания метафизических начал эстетики, ни в произведениях, писанных для доказательства жизненности племен, которых жизнь еще не проявлялась, или для возведения в непреложный, нравственный принцип вероисповедания, тянувшегося просто как историческое явление, которого происхождение было объяснимо, но которого содержание не могло отвечать на запрос современного мыслящего человека. Это первоначально абстрактное направление славянофильства не носило в себе даже простодушия пророчества, чтоб найти для себя поэтическую форму и содержание. От этого и непропущенные стихотворения Хомякова, всегда благородные по направлению и скорее звучные, чем изящные по форме, не находили отголоска. Это не было ни песнью волнующегося живого племени, ни пророчеством искренно провидящего фанатика. Хомяков был слишком большой диалект, чтоб быть поэтом. Будущность славянских племен ему являлась скорее вследствие исторического расчета, как Америка для Колумба вследствие математического расчета, чем как мессия для пророка. От этого духа пророчества нет в его поэзии; а облекать в живые образы жизнь нового света прежде его открытия было задачею невозможной. Сила Хомякова и не была в его поэзии, даже и не в его прозе, а в его личном влиянии, в его неистощимой деятельности в проповедовании своих твердых и горячих убеждений.

Эти убеждения, то есть убеждения славянофильские, так же как и исключительное направление германской философии,— не могли удержаться на русской почве в своей метафизической отвлеченности. Никогда совершенно не забывавшийся завет декабристов, присутствие страждущего народа, самое возрастающее давление власти, наконец склад русского ума, который, при великой любви к теории, не удовлетворяется вне действительности, все вызывало деятелей сойти в живую жизнь, и черта совершенного равнодушия к гражданскому вопросу, совершенного ухода в чуждость всему общественному или в чистую теорию — не могла долго устоять. Белинский быстро отшарахнулся от метафизического оправдания деспотизма и

заговорил живым языком, все менее и менее метафизическим и немецким, и двигал мысль к общим потребностям гражданской свободы. Славянофилы тоже скоро перестали говорить немецким языком и принялись рьяно и преданно разрабатывать понимание народной жизни, преимущественно перед заботою о Белграде и Праге, предоставив ее грядущим поколениям. Мы нисколько не думаем нападать на любовь к славянским племенам, но мы думаем, что и теперь этот вопрос преждевременен и что до разрешения русской областной и польской свободы он не имеет силы стать на ноги. Можно было предчувствовать, что оба направления, по выходе из теории, сойдутся на практике построения народной свободы на народных основаниях. Одно современное нам явление поразительно: европейский доктринаризм, по выходе из германской метафизики в юридический доктринаризм, примкнул к централизации, с которой боролся; славянофильский доктринаризм, подчас не враждовавший с централизацией, совершенно отрешился от нее и стал в ряды независимости областей и народных общин. Последнее естественно; увлечение центральной властью у славянофилов было только полемическое, но не лежало в их принципе; но первое составляет вопрос, к которому мы когда-нибудь воротимся и который слишком связан с общей европейской жизнью, чтобы рассматривать его только мимоходом. Не менее странен и междоумок между обеими крайними доктринами — англомания нашего времени, представляющая, как все междоумки, оторванность от всякой действительности — равно и от правительственной и от народной, и существующая больше как полемическая выходка против той и другой, чем как что-нибудь самобытное. Но об этих вопросах в другой раз и в другом месте; возвратимся к нашему предмету.

В славянофильской деятельности действительным поэтом был Константин Аксаков, человек, который нравственную чистоту и гражданское чувство довел до лиризма, который искренно скорбел и искренно боролся. Его голос во времена притаения гражданского вопроса звучит как вопль:

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух направлен был,
Терзалась мысль, трудилось слово,
В запасе много было сил.
Слабейте ж, силы, вы не нужны,

Усни ты, дух,— давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра.

Да! В этой скорби поэзия великой искренности! Но до конца борьбы он не выпускал из рук народного знамени, последний свой труд посвятил защите народа против петербургского доктринаризма мнимого освобождения и умер на заре русской свободы. Вся эта жизнь была поэзией гражданства. Почтим его память, сознавая, что если Кольцов подал руку на сближение народа с меньшинством, то славянофилы первые в самом деле подали руку меньшинства на сближение с народом, как равного с равным. Мы не славянофилы и не православные, но этой заслуги мы у них не отнимем.

Но как ни велико было влияние обеих доктрин — западнонаучной и славянофильской,— практический вопрос занял свое место и завладел всеми интересами. Практический вопрос, как мы уже сказали, был разрушение чиновничества и выдвинут на первый план гениальной силою Гоголя. Вопрос был так практически необходим, что на нем сошлись не только все читающие из всех сословий, но и обе доктрины. Западники нашли в нем грязь русской жизни, славянофилы грязь немецкого противонародного правительства. И обе стороны были правы — лучшее доказательство, что вопрос был поставлен верно и что практика жизни ставит свои требования сильнее всех теорий. Сколько Гоголь ни бьет по всем сословиям, но главная цель его — чиновничество. Вся правительственная пошлость и своекорыстие вышли наружу. Николай не понял и смеялся, а в сущности уважение к правительству было без возврата подточено в общественном сознании. Но вопрос, возбуждавший смех над правительством на сцене и в романе, не мог не отозваться в поэзии. Боль от гнета чиновничества, которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени на нищенство и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове. Картина ли родных полей и деревень, роскошь ли столицы, страдание женщины, страдание мелкого чиновника и мужика — у него все облито одной скорбью, скорбью перед властью чиновника. Если ему случается ненавидеть и презирать самого себя — это в те минуты, когда он в душе своей подмечает движение, унаследованное из мира чиновничьего. С этой

точки зрения он любит народ, теснимый чиновником, и все теснящее возбуждает в нем ненависть. Но общество молчит, ненависть бессильна,— и скорбь практической жизни доходит до поэзии мрачной, но искренней и потрясающей. Некрасов естественно возникает вслед за Лермонтовым и Кольцовым; его задача была трудна для поэзии и требовала таланта истинного и сильного,— таланта, которого «муза плачущая, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая», муза «мести и печали» — никогда не пела над ним сладкогласной песни; его задача была лишена идеала вне общественности, лишена и стремления в неопределенную даль. В его задаче скорбь определялась и вошла в практический мир; это было горе настоящего, горе без исхода, горе о стране, задавленной чиновничеством, горе человека, который отрекся от этого чиновничества,— горе, выстраданное целой жизнью. Его «суровый стих» полон поэзии сухого горя. Его женский идеал равно не кроткая Татьяна и не сосредоточенная в эгоистической страстности маленькая Нина; его женский идеал не идеал, а бедное дитя нужды, бродящее по городским улицам, не зная, чем поужинать и на что похоронить заморенного ребенка...

Мы не хотим сказать, чтобы чиновник был единственным предметом у Гоголя и Некрасова; но что это их любимый предмет, который они грызут преимущественно, это очевидно из их произведений. Да их к этому вел и естественный ход обстоятельств. Когда первое пушкинское движение, движение декабристов, зачавшееся в среде барства, отрицая это барство, поколебало царскую власть в общем сознании и поставило в зародыше все вопросы народного освобождения, которым было суждено развиваться впоследствии, когда это движение улеглось до безмолвия и отчужденности от общественной жизни, выход из безмолвия мог только начаться с подтачивания правительственной сети, наброшенной на Россию, и именно там, где она непосредственно касалась до общественной жизни, то есть в ее периферии, в чиновничестве. «Чиновник... а! ну так верно был мошенник»,— заключает голос из толпы в поэме (вероятно, из конца 40-х годов), помещенной в этой книге [1]. Форма, в которой работал Гоголь, была широка и наиболее доступна и действовала сильнее; не го-

[1] Стр. 397—416 («Жизнь чиновника»). <*Прим. Огарева.*>

воря уже об огромности таланта, смех являлся самым мощным и каждому понятным деятелем. Жесткий лиризм Некрасова не мог иметь такого же объемистого влияния. От этого у Некрасова не было последователей и подражателей. Гоголь создал целую школу последователей, даже проник в обыденный язык общества. Сохраняя форму учителя, последователи разобрали предметы, каждый по своему вкусу, но все более и более расширяя задачу и подтачивая не одно чиновничество, а и все возле него и в ладу с ним отживающее, но еще не отжившее. Из этой школы вышли два самобытных таланта, достойных стоять рядом с учителем. Тургенев, истинный художник по объему и силе впечатлительности, преимущественно доканчивал помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и лелея их. Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе,— по купеческому быту, этой буржуазии, не доросшей до касты, но уже вместившей в себе всю безнравственность понятий и лицемерия, с ней нераздельную, и являющейся в народном представлении не в образе касты, а в образе так называемого *кулака* из мужиков.

И вот, между тем как литература грызла правительственно-общественную сеть по всем углам, высшее правительство натягивало ее все больше и больше, и жить становилось все душнее и душнее. Результат, до которого дошло николаевское царствование, недавно ярко бросился в глаза нам при чтении стихотворения, писанного в 1850 году пятнадцатилетним гимназистом. Вот оно:

Земля моих отцов, страна моя родная,
Скажи — за что тебя я не люблю?
За что тебе, Россия молодая,
Ни славы я, ни счастья не молю?
Как мать презренную тебя я покидаю,
Ищу груди кормилицы другой,
И соки вредные крови родной
Я из себя, как язву, выжимаю.
Скажи, за что? Роскошные поля
Везде цветут отрадною красою,
И дышит степь разгулом бытия,
И тянутся леса свободной полосою.
Но что ж из них? Ты в душную тюрьму
Свои леса и степи превратила,
И цепи крепкие преградой положила
Порывам радости, и чувству, и уму.
За то ль тебя любить, что хитрою рукою,

Коварством — ты полмира заняла
И жителям своим обширною тюрьмою
Сибирь холодную в утеху отвела?
За то ль тебя любить, что с верою святою
Все русские царя как бога чтут,
А он в награду им державною рукою
Дарует цепи, плети, кнут?
Закон и честь — в тебе слова пустые,
Ты светлый ум готова погубить:
Как скряга за алтын, за выгоды пустые
Ты слезы бедного готова лить да лить.
В тебе разгул — но трудно в нем ужиться.
В тебе простор — но трудно людям жить...
За что ж мне за тебя, о родина, молиться?
За что же мне тебя, о родина, любить?

Знаменательно! Лермонтов еще любит родину за пейзаж, Некрасов — за ее страдания и за собственную боль, поэзию своего сердца; Николай доводит положение до того, что отрок ничего не находит сказать, кроме отречения от своей родины, как от злой и уродливой матери-мачехи! Невольно чувствуется, что этот мир так натянут, что он дальше в этом складе жить не может; а еще сил и жизни много, следственно этот склад должен рушиться и дать место иному, новому складу.

Нить исторических данных плетется такими зигзагами, перепутывается такими сплетениями, что резких рубежей указать невозможно. Одновременно с надеждами уживается отчаяние, жизнь освобождается, а еще тени мертвых бродят. Только яркий результат, совершившееся событие наводит на отыскание нити среди перепутанных узлов. Тридцать лет, после проигранного сражения 14 декабря, растет гнет власти и растет вопль отчаяния; этот вопль еще не улегся и теперь, и теперь еще есть люди, и благородные и молодые люди, у которых стихи пятнадцатилетнего гимназиста так сидят в крови, что у них нет веры на дело. Еще и теперь покачнувшаяся власть стоит грозным призраком и поддерживает в обществе вредную мечту общественного бессилия, в то время как взаправду — бессильна только сама власть. А между тем уже с конца сороковых годов общество домогается перейти от ничтожества к силе. Между тем и самое время безмолвия перед высшей властью не прошло в бездействии. Люди жались, покорялись, не затрагивали ее, а все же литература, не понятая ни царем, ни цензурой, изгрызла всюду сеть правительственного порядка вещей — и своей мета-

физической наукой, и археологической религией, и едким смехом, и самым воплем отчаяния. Ничего не осталось в живых в сознании не только исключительно образованного меньшинства, а и полуобразованного, но способного смеяться и плакать; перед ними лежало избичеванное помещичество, избичеванное чиновничество, отшлепанное купечество; в живых оставалась только народная масса, с которой меньшинство стремилось сблизиться. Да и действительно, ничего иного в живых и нет, как народ, имеющий за себя экономический обычай землевладения, да меньшинство, имеющее за себя производительную силу мысли. Что между ними — помещичество, чиновничество, кулачество,— то не имеет за себя ни силы обычая, ни силы мысли; за него только правительственная власть, его поддержка царь, исчезни помещичество с чиновничеством, и царь исчезнет. История пришла к исходной точке 14 декабря, но с той разницею, что 14 декабря нельзя было поколебать царя, потому что помещичество и чиновничество были живы; теперь они подточены, а с ними подточилась и царская власть. Насколько она сама в этом виновата — мы здесь не станем объяснять, это повлекло бы нас в сторону. Но что литература, подточив периферию и основание свода, вместе указала на то, что пора снять замочный камень, это уже чувствовалось в конце сороковых годов. Дело Петрашевского напомнило о необходимости тайных обществ там, где явные общества не дозволены. Рукописи, которые целое десятилетие или почти не являлись, или притаились так, что все равно, если б их и не было [1],— рукописи вдруг стали ходить по рукам, размножаясь до создания целой подземной литературы, обращающей в ничто все усилия цензуры. Дело было слишком практическое, слишком критически практическое, чтоб начаться с свободного голоса поэзии. Песня не имела места; работа молотка и циркуля не давала ни покоя, ни вдохновения для песни. От этого потаенная литература пятидесятых годов началась с политико-критических статей. И как же они распространялись с крымской войны! не менее чем потаенные стихотворения двадцатых годов. Стих

[1] Таким образом, стихотворение «На смерть помещика Оленина» сделалось нам известно только в Лондоне; а оно, кажется, относится к сороковым годам и, несмотря на длинноту, имеет свои сильные места и свое действительное сближение с народом. <*Прим. Огарева.*>

стал примыкать к потаенной публицистике немного позже и неверным шагом. Действительно поэтических талантов не являлось. Но количество стихотворений умножалось и с поднятия крестьянского вопроса стало все больше и больше приспособляться к делу. Перешагнув через хронологический порядок, которого мы по возможности старались держаться в нашем сборнике, мы поместили в конце этой части «Современное стихотворение», которое тем замечательнее, что ненарочно сосредоточивает в себе целую историческую эпоху и опирается на ее исходную точку, на 14 декабря.

Может быть, нас упрекнут, что мы в этом общем, беглом очерке истории нашего стихотворства в XIX столетии не приступили к разбору отдельных стихотворений, но мы его оставили до издания второй части. Может, упрекнут, что мы отвели слишком длинное место движению двадцатых годов... Как быть! Определить исходную точку всего труднее и требует всего больше работы. Мы надеемся, однако, что нас не упрекнут в преувеличении значения Пушкина и декабристов на том основании, что не их влияние было так велико, а они сами находились под влиянием им современных потребностей. В этом повторяется в истории то же кругообращение жизни, как в остальной природе. Приток новых сил ставит, как новое данное, потребность к их выходу; эта потребность создает деятелей; а деятели становятся новой данной силой, которой влияние распространяется по всему организму. Поэтому мы не можем отречься от нашей сыновней любви к деятелям двадцатых годов и с умилением смотрим на тех из них, которые остались в живых перед входом в землю ханаанскую. С тех пор вещи уяснились, вопросы определились и вошли в действительность. Поэзия сделала первый шаг к проявлению областной жизни; Украина проснулась в Шевченке и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечет к самобытности областей и нераздельности союза,— Шевченко, народный в Малороссии, с восторгом принят как свой в русской литературе и стал для нас родной,— так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием общей свободы. Действительно образованное меньшинство с каждым днем больше и больше понимает это условие, так же как с каждым днем больше и больше понимает и другое, историей и жизнью налагаемое, условие близкого

переворота: народное землевладение и народное самоуправление в подтачивании отживающего порядка вещей, в так называемой обличительной литературе. Всюду чувствуется, что теория сама по себе только в книге жить не может, а также обличения частностей, при сохранении общего мертвящего склада, не помогут. Чувствуется, что *слово* покончило свою задачу; пора приступить к *делу*. Новое дело создаст новое слово. Если новых действительных поэтических талантов у нас нет, несмотря на обилие стихотворений,— это потому, что жизнь еще не пробила коры и не пришла к взрыву, и только новая жизнь создаст своих поэтов.

Где они, поэты будущего, поэты России бессословной, России народной? Существуют ли теперь, или еще не родились? И откуда они выйдут — из среды ли барства, себя отрицающего, из среды ли чиновничества, себя отвергающего, или из среды народа, наследника всех сословий? Не знаю. Я знаю одно — что они будут!

<ОТРЫВОК ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ СТАТЬИ «С УТРА ДО НОЧИ»>

5

...Отчего мне вообще стихи (свои и не свои) стало читать скучно. Всякое чувство или мысль, олицетворенные в фантастический образ (хотя бы на манер древних),— перестали быть для меня наслаждением. Все мне кажется утомительно натянутыми — не образами — а словами. Вся эта поэзия мне кажется каким-то салонным произведением, которое метит больше на снискание ободрения известной публики, а не производится внутренней необходимостью высказать свое поэтическое содержание. Я даже из этого не исключаю великого дарования Гейне. И главное дело, что тут всегда есть присутствие выдуманного и отсутствие искренности. Мне это становится больше утомительно, чем приятно. Простое выражение жизни, без всяких облечений в иносказательные образы или слова, но как что в ней есть — изящно или оскорбительно — прямо по имени, мне кажется, что такое выражение жизни гораздо само по себе поэтичнее, чем все выдуманное и натянутое, как лайковые перчатки. Стихи нужны как своего рода музыка; но это нисколько не вынуждает напряженных сравнений, неестественных красок, жеманной речи, в каком бы то ни было смысле, и неопределенности содержания. А эти недостатки всего чаще встречаются у всех поэтов, и с тем вместе встречается то, что всего вернее назвать: праздномыслие. Конечно, все эти недостатки могут встретиться — и без музыки — то есть в прозе; но там они и не признаются за достоинства. Никто не сочтет достоинством, когда автор в прозе назовет глаза своей

возлюбленной яркими звездами или скажет, что он звезды изучал по глазам своей возлюбленной; а с музыкой стихов оно производит будто бы великолепное впечатление. От стихов отречься невозможно, как от музыки; но можно ли прийти к действительной простоте речи, определенности и полноте содержания. Это вопрос.

Я не знаю, до чего достигнем мы; говорят, что каждый век имеет своеобразную поэзию. И, действительно, мудрено отделаться от принятых, унаследованных привычек, направлений, манеры выражаться. Но все же точки зрения давно стали меняться, а с ними и впечатление окружающего мира стало иначе отражаться в понимании, а с этим вместе и манера выражаться требуется иная, и, вероятно, стихотворство нашего нового поколения во многом потребует и иных форм и иного содержания. А я, сколько бы меня ни мучила задача будущего, я,— потому что отживаю свой век,— я останусь при старых формах и старом содержании; а от стихотворства все же не откажусь — оно слишком въелось в жизнь.

Мой стих от прошлых дней откажется едва ль...

<Дальше см. стр. 406>

6

Сейчас мне попались в руки «Стихотворения Лермонтова» — издание 1856 года (Петербург, типография Глазунова и комп.— издание такое глупое, какого я никогда не встречал; им, вероятно, руководствовал господин, который не понимает ни стиха, ни человеческого смысла; действительно, сделать эту оговорку я считаю обязанностью в честь Лермонтова). Несмотря на все ошибки издания, которые память мне помогла поправлять, мне перестало быть скучно читать стихи. Неужто же это только потому, что они русские.— Не думаю. По крайней мере из всего, что я с утра соображаю — этого не следует. Тут дело только в том, что я ни в ком другом не нахожу такого поэтически, лирически настроенного мозга. Мне трудно оторваться от его стихов, как от какой-то собственной страсти — хорошей или дурной — все равно, только никогда не солганной. А между тем что-то губит его стихи даже в моем собственном сознании. А что такое их губит — это то, что сгубило его жизнь, сделав из нее по-

стоянно бесполезное страдание — это та общественная среда, в которой он вырос. Это та среда, которая даже все человечески хорошее сводит на личность; общий вопрос, какой бы он ни был, вопрос ли знания, вопрос ли общественного устройства — теряется; если когда-нибудь случайно мысль касается его, то эта мысль лишена ясности, лишена понимания. Идеал один — это личность, поглощенная постоянным обращением на самое себя, замученная собственными неудавшимися страстями до того, что она жаждет отчуждения от всего, на все кругом смотрит как на виноватое перед собой и охотно умрет с проклятием на устах, а между тем жизнь проходит безо всякой цели. Так, например, поэт велит соседке, которая его разлюбила (на что, впрочем, имела полное человеческое право), рассказать всю правду о том, как он умер:

Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей,
Пускай себе поплачет,
Ей ничего не значит.

Эта жестокость совершенно несправедлива, а между тем стихотворение как лирически, так и музыкально великолепно, что я готов его перечитывать бесконечное число раз. Почему же мне это обращение к соседке кажется жестокостью, да еще несправедливою? — Да потому, что никто не вправе требовать себе любви во что бы то ни стало и оскорбляться, если ее нет, точно так же, как никто не вправе требовать себе любви пожизненной (или обычно у стихотворцев называвшейся вечной). Кто же из нас не знает, что ни один мужчина — будь он поэт или прозаик — любил на своем веку не одну только женщину и что ни одна женщина на своем веку не любила одного только мужчину; что если такой случай пожизненной любви и выдавался, то это скорее является как какая-нибудь естественная необходимость, за уклонение от которой та или другая сторона могла бы сулить друг другу мщение или наказание. Мысль о мщении или наказании за любовную измену тем менее была нужна для человека, который от веры в религиозный брак давно отрешился и который из всего религиозного, или, лучше сказать, мистического, вынес только один идеал демона, «не связанного земными узами и наказанного знанием».

Но почему же мне, так сказать, сердцу близки его

стихотворения, если я с их основной мыслью не согласен.— Да потому, что они так изящно выражены, что их можно не только читать, их можно петь — да еще на совсем своеобразный лад. Из них каждое, смотря по объему,— или песня, или симфония. Вдобавок в них нет преднамеренной лжи и между тем нет и сознательной правды.

7

Впрочем, я не намерен вдаваться в литературные рассуждения; меня случайное занятие чтением стихов приводит к не литературным, но с ними весьма соприкосновенным вопросам. Во-первых, что же это была за среда, которая сгубила жизнь такого сильного человека, быть может, самого сильного человека в русской поэзии, даже не исключая Пушкина. Это была среда, выступившая на поприще жизни под гнетом царизма. Вся помещичья и чиновничья сословность состроилась в какую-то систематическую силу, которой весь строй составлялся из личностей, живших каждая про себя из различных способов ограбления народа, а у народа, вследствие этого, всякая личность терялась в подавленной общине. Община сама по себе заключала все данные для соединения личностей в ассоционное владение землею и ассоционное управление; но гнет и грабеж, производимый над ней сословными личностями, сводил ее на особенный строй рабства — и только. Без сомнения, Лермонтов не мог сочувствовать такому общественному построению, но ему неоткуда было взять идеала нового общественного порядка и самому нельзя было выйти из сословной личности — и он поневоле уходил в совершенно бесцельный, мистический скептицизм. Так эта гадкая среда и сгубила своего даровитого человека, сделав из его кратковременной жизни более постоянное страдание, чем действительный труд.

Во-вторых — все это приводит меня к другому вопросу: что такое личность, то есть в чем ее отношение к общественности, или, лучше сказать, к кооперации или просто к общине (пожалуй, по-польски: гмин).— Впрочем, я здесь не могу не заметить, что у нас в России ругательно обращаются только к социализму — название, действительно слишком неопределенное и дающее вход всякой слишком сфантазированной системе; но как скоро дело обращается

к факту, из которого социализм может вырасти, то есть к общине или гмине, то у нас случается, что официозные господа начинают поддерживать общину или гмину, совершенно не желая понять, что тут разница (то есть между общиною и социализмом) только в словах, а не на деле; что, в сущности, формы социализма могут быть разнообразны, а уже, конечно, не приведенные под один почти что казенный уровень, но что главная их точка отправления — это общинное (гминное) владение; а затем общинная производительность, общинное управление; а затем общинный склад всего народного быта. Если тебе это покажется темно, друг мой, то только пораздумай хорошенько. Мне кажется, что тут темного ничего нет.

Но вернемся к нашему вопросу.

Каким же путем мы достигнем до определения личности в отношении к общественности? А без этого нам очень мудрено идти вперед; без этого мы можем запутаться и погубить *свободу*, то есть личность — в общине, то есть *коллективности* (пожалуй, назовем социализм), и придем опять к повторению старых устройств, которые складываются только в действительном деспотизме или в театральных представлениях свободных учреждений, которые в сущности равны тому же деспотизму, прикрытому разными игрушечками избирательства, парламентаризма и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Гершен.— «Стихотворения Н. П. Огарева» под редакцией М. О. Гершензона, М. 1904.

ИРЛ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).

ЛБ — Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина.

ЛН — «Литературное наследство», изд. Академии наук СССР.

Лонд. изд.— «Стихотворения Н. Огарева», изд. Н. Трюбнера и К°, Лондон, 1858.

ОЗ — «Отечественные записки».

ПЗ — «Полярная звезда».

РМ — «Русская мысль».

РС — «Русская старина».

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР.

ПОЭМЫ

Стр. 7. *Дон.* Впервые напечатано в РС, 1888, № 11, стр. 471—474, неполностью. (Редактором журнала М. И. Семевским по цензурным соображениям выпущены в четвертой строфе стихи с 15 — «Я, русский, вашему владыке» по 48 — «Ни от кого защиты нет» и с 53 — «Но скоро минет угнетенье» по 64 — «Их пошатнется голова»; в строфе шестой стихи с 21 — «И ударит на губителей» по 24 — «Наш родимый славный Дон».) Поэма написана в конце 1838 — начале 1839 гг. Печатается по автографу ИРЛ.

Историческая основа произведения — усилившееся в 30-е годы недовольство казачества, вызванное введением в действие в 1836 г. правительственного «Положения об управлении Донского войска».

Demie fantasie, demie souvenir — полуфантазия, полувоспоминание *(франц.)*.

Стр. 12. *Юмор*. Впервые две части поэмы, I и II, напечатаны отдельной книгой: «Юмор» (De l'humor), Лондон, 1857, «Trübner and C⁰»; перепечатаны в Лонд. изд., стр. 33—141. III часть впервые — ПЗ на 1869 г. Три строфы из седьмой главы III части, обнаруженные в конце 1940-х годов, впервые — в ЛН, 1953, т. 61, стр. 644—645.

Поэма осталась незаконченной, первые две части написаны в 1840—1841 гг., третья — в 1867—1868 гг. В 1877 г. Огарев снова вернулся к работе над поэмой и создал ряд разрозненных отрывков, не включенных в настоящее издание. Автограф I и II частей—в ЦГАЛИ, автограф III части — в ЦГАОР. Поэма печатается по Лонд. изд. и ПЗ на 1869 г. и сверена с автографами.

Du, Geist des Wiederspruchs, nur zu||Du magst mich führen — Ты, дух противоречия! вперед! — готов я покориться (Гёте, «Фауст»).

...Небрежный плод моих забав...— А. Пушкин, «Евгений Онегин».

Министром Вронченко пока...— Ф. П. Вронченко замещал в 1840 году министра финансов Е. Ф. Канкрина, проводившего денежную реформу, которой определялся обмен ассигнаций на серебряный рубль. Лаж — надбавка за обмен одного вида денег на другой.

Стр. 13. Проза Шевырева — весьма фразистая статья...— С. П. Шевырев (1806—1864) — журналист, поэт, критик, реакционный профессор Московского университета, опубликовал в журнале «Москвитянин» в 1841 г. статью «Взгляд русского на современное состояние Европы», в которой развивал взгляды воинствующего славянофильства.

Дают Парашу Полевого — псевдонародная драма «Параша Сибирячка» Н. А. Полевого (1796—1846), писателя, критика, историка и журналиста, издателя журнала «Московский телеграф» (1825—1834).

...есть, есть поэт, хоть он и офицер армейской.— Имеется в виду М. Ю. Лермонтов, сосланный в 1840 г. на Кавказ и служивший в действующей кавказской армии офицером Тенгинского полка.

О нем писал и Виссарьон.— Виссарион Григорьевич Белинский писал о Лермонтове в период работы Огарева над «Юмором». В 1840 г. в шестой, июньской, книжке «Отечественных записок» была опубликована его статья о романе Лермонтова «Герой нашего времени», а в 1841 г. в том же журнале— статья «Стихотворения М. Лермонтова».

Пусть пишет Нестор, пишет Греч...— Имеется в виду Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868), поэт, драматург, беллетрист, представитель реакционного романтизма 30-х годов XIX века, автор ложнопатриотических драм: «Рука всевышнего отечество спасла» и др.; Николай Иванович Греч (1787—1867) — реакционный журналист, писатель, редактор журнала «Сын отечества» (1812—1839).

У ней в чести Швалье да Яр — московские рестораны того времени.

Стр. 14. Граф Раймонд Монтекукулли (1609—1681) — австрийский полководец, прославившийся в Тридцатилетней войне (1618—1648), автор многочисленных сочинений по военным вопросам.

Мальбруг — Джон Черчиль Мальборо (1650—1722), английский полководец и государственный деятель, прославившийся в войне с Францией за испанское наследство.

А жалок мне удел Китая.||У Альбиона чести нет.— Имеется в виду отторжение Англией во время войны с Китаем в 1840 г. ряда областей.

Стр. 15. Л. М. Цынский — московский обер-полицмейстер в 1834—1845 гг.

Satis, sufficit — достаточно, довольно *(лат.)*.

Стр. 17. Великий прах из заточенья прибыл в Париж.— В 1840 г. с острова св. Елены был перевезен в парижский Пантеон прах Наполеона.

...Хомяков на этот счет стихотворенье... В журнале тиснул...— А. С. Хомяков (1804—1860) — поэт, философ, публицист, один из основоположников и вождей славянофильства, опубликовал в журнале «Москвитянин» стихотворение «На перенесение Наполеонова праха».

О. И. Сенковский (1800—1858) — реакционный журналист, беллетрист и критик, редактор журнала «Библиотека для чтения».

Ж. Б. Сей (1767—1832) — буржуазный экономист.

An sich — в себе *(нем.)*.

Потом об укрепленьях толк — подразумеваются работы по строительству фортов вокруг Парижа.

Стр. 18. Б<артенев>, Szafi, Jean Sbogar — вымышленные имена; последним называется герой одноименного романа французского писателя Шарля Нодье (1780—1844).

...primo... secondo... tertio — во-первых... во-вторых... в-третьих *(лат.)*.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — вождь якобинцев, глава буржуазного революционного правительства Франции 1793—1794 гг.

Стр. 19. Quoi que, à vrai dire, on en rit — хотя, по правде говоря, над ним смеются *(франц.)*.

Дворянства секретарь Убрй — см. примеч. к стр. 22.

Увидим дом, где я жил прежде.— Дом, где жил Огарев, находится в Москве у Никитских ворот.

Стр. 22. От Чаадаева к Убри! — Петр Яковлевич Чаадаев (1796—1856) — философ, друг Пушкина, автор «Философических писем»; за опубликование первого из них в «Телескопе» в 1836 г. по распоряжению Николая I журнал был закрыт, редактор его Н. И. Надеждин выслан, а автор объявлен душевнобольным; Убри С. П.— современник Огарева, сын дипломата.

Стр. 23. Могу читать — хоть Пантеон.— «Пантеон русского и всех европейских театров» — журнал, издававшийся в 1840—1841 гг. под редакцией Ф. А. Кони.

Стр. 25. И напеваю Casta div (чистое божество — *итал.*) — популярная в 40-е годы ария из оперы итальянского композитора Беллини «Норма».

От Пасты как-то затвердив...— Паста Джудитта (1798—1865) — итальянская певица, гастролировавшая в Петербурге.

Слыхали ль вы «Жизнь за царя»?||Нет? — ну и впредь спаси вас боже.— «Жизнь за царя» — тенденциозное название оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки, присвоенное вопреки воле композитора.

Стр. 27. Charles Fourrier и St.-Simon — Шарль Фурье (1772—1837) и Сен-Симон (1760—1825) — французские социалисты-утописты.

Стр. 29. Ich bin ein Fremdling überall — я всюду иностранец *(нем.)*.

Стр. 31. Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ-идеалист.

Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — историк, автор книги «Жизнь Христа», отрицавший божественное происхождение Иисуса Христа.

Стр. 34. От Карла и до Валленштейна...— Карл Великий (742—814) — король франков, основатель и император новой Римской империи. Валленштейн (1583—1634) — германский имперский полководец периода Тридцатилетней войны.

Стр. 36. Farewell! (Byron) — до свидания! (Байрон) *(англ.)*.

You see and read Admire and sigh and then succomband bleed (Byron) — Ты видишь, и читаешь, и восхищаешься, и вздыхаешь, потом покоряешься и истекаешь кровью (Байрон) *(англ.)*.

Стр. 42. Как Магомет, султана враг...— Мухаммед-Али (1769—1849), правитель Египта.

Седой Сатурн — мифологическое олицетворение времени.

Стр. 47. Аматер (amateur) — любитель, охотник *(франц.)*.

Стр. 48. Цицерон Марк Тулий (106—43 до н. э.) — римский государственный деятель, оратор и писатель, выступавший в сенате против Катилины (108—62 до н. э.), римского политического деятеля, демагогически боровшегося за власть.

Стр. 49. Фаддей — Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859), реакционный журналист, критик, беллетрист, издатель газеты «Северная пчела».

Князь Меттерних Клеменс Венцель (1773—1859) — австрийский канцлер, ярый враг революционно-освободительного движения в Европе.

Стр. 50. M-me Allan — Аллан-Депрео (1810—1856), французская актриса, игравшая в 1840 г. в Петербурге на сцене Михайловского театра.

Стр. 53. «Сии огромные сфинксы привезены и поставлены здесь» — надпись на дельфийских сфинксах на берегу Невы перед Академией художеств.

Стр. 55. И Теклу Шиллера...— Текла — героиня трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна».

Стр. 58. Von Ort zu Ort — из края в край *(нем.)*.

Стр. 64. Лазенки — королевский парк в предместье Варшавы.

Стр. 65 Вождь подозрительный, лукавый — граф Паскевич-Эриванский И. Ф. (1782—1856), наместник Варшавы, награжденный Николаем I за подавление польского восстания 1830—1831 гг. титулом князя Варшавского.

Стр. 73. Один мне друг остался цел...— А. И. Герцен.

Стр. 78. *Неаполь.* Впервые — ОЗ, 1842, т. XXI, № 4, стр. 203—206, с цензурными купюрами. Написано в 1841—1842 гг. Автограф ЛБ. Печатается по Лонд. изд.

Strada Nuova — название одной из улиц в Неаполе.

Chiaia (Киайа) — набережная в Неаполе.

Стр. 79. 'Lazzarone — бездельник, попрошайка *(итал.)*.

Puzziole — название загородной местности около Неаполя.

Стр. 80. Jesus Christus! Dio Santo!..— Иисус Христос! святый боже! *(итал.)*

Стр. 81. Padre mio! — отец мой! *(итал.)*

Стр. 82. Villa Reale — бывший дворец неаполитанского короля.

Стр. 83. Castel del Ovo — старинный загородный дворец недалеко от Неаполя.

Стр. 84. *Деревня*. Впервые — Гершен., т. II, стр. 113—147, и М. О. Гершензон, История молодой России, М. 1908, стр. 291—294. Автограф ЦГАЛИ. Поэма написана в 1847 г., как можно заключить из переписки Огарева. Печатается по автографу.

Стр. 86. Он слушал Ганса о правах...— Эдуард Ганс (1797—1839) — немецкий ученый-правовед, последователь Гегеля.

Corraggio, santo padre! — мужайся, святой отец! *(итал.)*.

Стр. 87. В Альбано — предместье Рима.

Перикл (493—429 до н. э.) — афинский государственный деятель.

Оттон Великий (912—973) — германо-римский император.

Фаланстеры — производительно-потребительские коммуны социально-утопической системы Фурье.

Стр. 90. Вольтер Франсуа Мари (1694—1778), Руссо Жан Жак (1712—1778), Гольбах (1723—1789) и Гельвеций (1715—1771) — французские писатели, философы-энциклопедисты.

Стр. 92. Капитан Копейкин — персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 96. Tempora mutantur — времена меняются *(лат.)*.

Стр. 106. *Господин*. Впервые — в ПЗ, 1857, стр. 35—68. Написано в конце 40-х годов. Автограф неизвестен. Печатается по Лонд. изд.

Стр. 111. Тэйр — Тэер Альберт Даниель (1752—1828), немецкий агроном, автор работ по плодосеменному хозяйству.

Стр. 141. *Африка*. Впервые — Лонд. изд., стр. 225—229. Написано в 1849—1855 гг. Автограф ЛБ и ЦГАЛИ. Печатается по Лонд. изд.

Sic transit gloria mundi! — так проходит земная слава! *(лат.)*

Марий (155—86 до н. э.) — римский полководец и демократический государственный деятель, бежавший в Африку после поражения в борьбе за военную власть с Суллой (138—78 до н. э.), римским полководцем.

Стр. 145. *Зимний путь*. Впервые — РВ, 1856, № 6, стр. 397—413. Написано в 1854—1855 гг. Посвящено Павлу Васильевичу Анненкову. Автограф ЦГАЛИ и авторизованная копия ЛБ. Печатается по Лонд. изд. Поэма имела большой успех у читателей. Тургенев 9 декабря 1855 г. писал из Петербурга Анненкову: «Между прочим, Огарев здесь и написал небольшую, вам, неблагодарный человек, посвященную поэму — «Зимний путь», истинный chef d'oeuvre, в котором он совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей задушевной и задумчивой прелестью. Мы с Толстым уже три раза упивались этим нектаром» (И. С. Тургенев, Собр. соч., изд. «Правда», 1949, т. 11, стр. 135).

А н н е н к о в Павел Васильевич (1812—1887) — критик и мемуарист, близкий в 40-х годах Огареву и Герцену.

Стр. 148. Он был когда-то мне одно... отрадное явление...— стихи связаны с воспоминанием о жившем недалеко от Старого Акшена Т. А. Римском-Корсакове, деятеле Союза благоденствия. О нем говорит Н. А. Тучкова-Огарева в своих «Воспоминаниях» (Л. 1929, стр. 118).

Стр. 154. Н о р м а — героиня одноименной оперы итальянского композитора Беллини.

Стр. 156. Ш е л л и н г Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

Мировая душа — метафизическое понятие в философии природы Шеллинга.

Граф Жозеф де Местр (1753—1821) — реакционный французский писатель и государственный деятель, идеолог папской власти.

Стр. 161. *Ночь.* Впервые — ПЗ, 1859, стр. 21—36. Поэма написана в 1857 г. Автограф ИРЛ. Печатается по ПЗ.

Per me si va tra la perduta gente... (Dante) — Через меня здесь входят к падшим поколеньям *(итал.)* — Данте («Ад», песнь III).

Стр. 172. То был спокойный, но упорный и гордый муж...— Ворцель Станислав Габриель (1799—1857) — польский эмигрант.

Стр. 173. Д е в к а л ь о н — мифологический герой, сын Прометея, спасшийся со своей женой от Зевсова потопа.

Стр. 175. *Сны.* Впервые — ПЗ, 1857, стр. 183—204. Поэма написана в 1856—1857 гг. Печатается по Лонд. изд.

Стр. 183. Твердя Ноэля и Шапсаля...— учебник французской грамматики Ноэля и Шапсаля.

Стр. 185. Карл Десятый (1757—1836) — король Франции. Свергнут революцией 1830 г.

Генрих Пятый (1820—1883) — потомок Бурбонов, сын убитого Лувелем герцога Беррийского, внук Карла X, глава роялистов-легитимистов, известный под именем графа Шамбора.

Стр. 188. Л а г а р п (1739—1803) — французский критик, автор шестнадцатитомного учебного курса древней и новой литературы.

Стр. 191. Все их Шамборы и обедни.— Имеется в виду деятельность легитимистов-роялистов во главе с Шамбором (см. примеч. к стр. 185), прославлявших Бурбонов. В 1831 г. их сторонники отслужили торжественную панихиду в годовщину смерти герцога Беррийского, которая вызвала протест народа, разгромившего церковь и дом архиепископа.

И славный наш тридцатый год — год июльской революции во Франции.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, глава партии республиканцев и заговора против Юлия Цезаря, убитого в 44 г. до н. э.

Стр. 198. *Ровесники.* Впервые — Гершен., т. II, стр. 389—403, с цензурными пропусками. Написано в 1857 г. Автограф ЛБ: беловой — предисловие и строфы 1—16; черновой — строфы 12—27. Поэма не закончена. Печатается по автографам ЛБ.

Стр. 207. *Тюрьма.* Впервые — Лонд. изд., стр. 416—428. Написано в 1857—1858 гг. Автограф ЛБ. Печатается по Лонд. изд.

Стр. 209. Сен-Симон — см. примеч. к стр. 27.

Стр. 217. *Nocturno.* Впервые — ПЗ, 1858, стр. 102. Поэма написана в 1857 г. Автограф ЛБ. Печатается по Лонд. изд.

Das tragische in Leben ist das Gefühl das Nichts (Brief eines Reisenden) — трагическое в жизни есть ощущение небытия (Письмо одного путешественника) *(нем.)*.

Стр. 220. Clos de Vougeot или Моэт — сорта французских вин.

Стр. 224. *Матвей Радаев.* Первая глава из ПЗ, 1859, стр. 290—395; вся поэма напечатана с цензурными пропусками в РС, 1886, № 2, стр. 465—481. Написана в 1857—1858 гг. Печатается по автографу ИРЛ. В основе поэмы биографический материал, характерный для истории духовного развития и формирования передового человека 40-х годов.

Стр. 245. *Исповедь лишнего человека.* Впервые — РМ, 1904, № 8, стр. 1—17. Написано в 1858—1859 гг. Печатается по автографу ЛБ.

Стр. 246. Exit — выходит *(франц.)*.

Стр. 248. Qu'y a-t-il, Marie? — что случилось, Мария?

Le pharmacien ne fait pas crédit — аптекарь не дает в долг.

Mon dieu, Marie, voilà ma bague, portez la au mont de piété. Je suis sûre que vous arrangerez tout cela parfaitement bien — боже мой, Мария, вот мое кольцо, отнеси его в ломбард. Я не сомневаюсь, что вы все прекрасно сделаете.

O! certainement, madame — о! конечно, мадам *(франц.)*.

Стр. 249. Madame! Voici la médecine — 1 fr. 50, deux francs d'intérêts et 2 pièces d'or que voilà et le reçu — мадам, вот лекарство — 1 фр. 50 сантимов, 2 фр. проценты и вот две золотые монеты и квитанция.

Bien, Marie, je vous donnerai 1 fr., dès que

j'aurai du change — хорошо, Мария, я вам дам франк, когда разменяю.

Merci, madame, vous n'êtes pas riche mais toujours bonne, que Dieu vous bénisse — благодарю вас, мадам, вы не богаты, но всегда добры, да благословит вас бог *(франц.)*.

Стр. 252. Фурье и Сен-Симон — см. примеч. к стр. 27.

Стр. 255. Plait-il, madame? — что угодно, мадам?

Couvrez vite chez le docteur; dites lui de venir tout de suite — скорей бегите к доктору, скажите ему, чтобы тотчас же пришел.

Bien, madame — хорошо, мадам *(франц.)*.

Стр. 262. *Рассказ этапного офицера.* Впервые — ПЗ, 1859, стр. 260—281; перепечатано — «Лютня», II, Лейпциг, 1874, стр. 245—270. Печатается по этому изданию. Написана поэма в 1857—1858 гг. Автограф ЛБ—ИРЛ.

Стр. 285. *С того берега.* Впервые — Лонд. изд., стр. 401—405. Написано в 1858 г. Автограф ЛБ. Печатается по Лонд. изд. В поэме говорится об Орсини Феличе (1819—1858) — выдающемся деятеле итальянского освободительного движения, эмигрировавшем во Францию и сблизившемся там с Герценом. 14 января 1858 г. он в сообществе с итальянцем Пиери совершил неудавшееся покушение на Наполеона III как главу европейской реакции и главного противника объединения Италии. Орсини и Пиери были гильотинированы 13 марта 1858 г.

Стр. 289. *За столом сидел седой дедушка.* Впервые — Гершен., т. II, стр. 382—388. Написано в 1859 г. Автограф ЛБ. Недостает стихов 7—19. Печатается по автографу ЛБ с восстановлением пропущенных стихов по изданию «Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы», изд. «Советский писатель», 1937—1938.

Стр. 294. *Мария Магдалина.* Впервые — ПЗ, 1861, стр. 326—330. Написано в 1860—1861 гг. Автограф ЦГАЛИ. Печатается по тексту ПЗ, 1861.

Стр. 298. *Забытье.* Впервые — ПЗ, 1862, вып. 2, стр. 161—166. Написано в 1861 г. Автограф ЦГАОР. Печатается по ПЗ. Сверено с автографом.

Стр. 303. *Странник.* Впервые — в «Общем вече», 1 января 1863 г., № 8, стр. 45—47, перепечатано в «Лютне», II, Лейпциг, 1874, стр. 308—315. Печатается по этому изданию. Написана поэма 17 сентября 1862 г. Автографы в ЛБ и ЦГАОР. Первоначально было заглавие «Пророк».

Стр. 310. *Восточный вопрос в панораме.* Впервые напечатано отдельным изданием — «Восточный вопрос в панораме. Рифмованные строчки» Н. Огарева. Женева, 1869, 7 стр. Печатается по этому изда-

нию. Впервые включено в собрание БС, т. II, стр. 334. Написано в начале 1869 г., что видно из письма Огарева к Герцену 21 января 1869 г.: «...я с горя принялся писать мои мемуары для Таты. Но вдруг меня прострелило стихоизвержением, и я стал писать «панораму восточного вопроса» в стиле, как у нас рассказывают мужички на ярмарках» (ЛН, 1941, тт. 39—40, стр. 506). В марте же «Панорама» была опубликована.

Наполеон Третий (Луи Наполеон) (1808—1873) — племянник Наполеона I, президент Французской республики с декабря 1848 г.; после переворота 1851 г.— французский император.

Стр. 311. Бисмарк Отто, князь (1815—1898) — канцлер, реакционный государственный деятель, объединивший германские княжества под гегемонией юнкерской Пруссии.

Король Фридрих — Вильгельм III (1770—1840), король прусский (с 1797 г.), участник контрреволюционных коалиций против французской республики.

Франц-Осип — Франц-Иосиф (1830—1916), австрийский император с 1848 г.

...потерял святого Марку.— Имеется в виду потеря Австрией Венеции в 1866 г. после войны с Пруссией. Венеция в 1848 г. была провозглашена республикой св. Марка.

Стр. 312. Виктор — Иммануил (Эммануил) (1820—1878) — с 1849 г. король Сардинии — Виктор Эммануил II, с 1861 года — король Италии.

Гладстон Вильям Эварт (1809—1898) — английский политический деятель, глава английских либералов во второй половине XIX века.

Стр. 314. *«Гой, ребята, люди русские!»* Впервые было напечатано листовкой в типографии Чернецкого в Женеве в середине 1869 г. Печатается по тексту листовки. Впервые в собрание сочинений включено в БС, т. II, стр. 338. Написано в 1869 г.

ПРОЗА

Стр. 321. *Толпа.* Впервые — в сб. «Звенья», т. VI, М.— Л. 1936, стр. 339—341, где авторство ошибочно приписывается А. И. Герцену. Автограф Огарева не датирован, хранится в ИРЛ. По содержанию устанавливается время написания: 1833—1834 гг. В эти годы характерно и для Огарева и для Герцена увлечение Шиллером, романтической поэзией и философией, что видно и в этюде «Толпа». Печатается по автографу ИРЛ.

Blut, sag ich dir, wird deine ganze Seele fallen (Schiller).— Кровь,— говорю тебе,— всю душу твою переполнит (Шиллер) *(нем.)*.

Стр. 324. *Три мгновения.* Трилогия моей жизни. Впервые — РМ, 1902, № 11, стр. 146. Написано весной 1839 г. под впечатлением свидания с Герценом во Владимире. Автограф неизвестен. Печатается по РМ.

Стр. 326. *История одной проститутки* (Из времен жизни в России). Впервые напечатано в «Литературно-художественных сборниках «Недра», кн. 2, М. 1923, стр. 287—296. Автографа не сохранилось, имеется в ЛБ список рукой Н. А. Огаревой. Написана повесть в 40-х годах. Печатается по списку Н. А. Огаревой — ЛБ.

Bon genre — благовоспитанный *(франц.)*.

Стр. 335. *Саша.* Публикуется впервые. Написано в 40-х годах. Автографа не сохранилось. В ЛБ имеется список рукой Н. А. Огаревой. По возвращении из-за границы ею найдено много рукописей Огарева, оставшихся в Старом Акшене. По всей вероятности, среди них оказалась и названная повесть. Печатается по копии ЛБ.

Стр. 344. A l'intims — по-домашнему *(франц.)*.

Стр. 348. *Гулевой (Повесть).* Впервые — «Литературная Мордовия», литературно-художественный альманах, кн. 7, Саранск, 1954, стр. 148—165. Написана повесть, как и две предшествующие, в 40-х годах. Начало работы над нею относится к первой половине 1843 г., о чем свидетельствуют письма Огарева из Рима. Повесть не закончена. Печатается по автографу, хранящемуся в ИРЛ.

Animalia crescunt, vivunt et sentiunt (Linne) — животные растут, живут и чувствуют (Линней) *(лат.)*.

Стр. 363. Veuve Cliquot — вдова Клико *(франц.)*.

Стр. 365. Mon cher — мой милый *(франц.)*.

Par amour — по любви *(франц.)*.

Стр. 375. *Кавказские воды.* Впервые — ПЗ, 1861, стр. 333—358. Написано в конце 1860 г. или в самом начале 1861 г., так как книга «Полярной звезды» вышла в марте. Печатается по ПЗ, 1861. Как показывает подзаголовок, «Кавказские воды» являются частью незавершенных автобиографических записок, к которым относятся также и две главы «Моей исповеди».

Эпиграф: «И свет не пощадил, и рок не спас» — строки из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

Стр. 376. Kieser, Theorie des Magnetismus und Tellurismus — Кизер, Теория магнетизма и спиритизма *(нем.)*.

Rehabilitation de la chair — оправдание, искупление плоти *(франц.)*.

Père Enfantin — Анфантен Бартелеми Проспер (1796 — 1864), последователь Сен-Симона, проповедник и пропагандист сенсимонизма, прозванный «отцом Анфантеном».

Стр. 377. М. Л.— Мария Львовна Рославлева, первая жена Ога-

рева. Лахтин Алексей Козьмич (1808—1839) — друг Огарева. Он был, как и Огарев, выслан из Москвы в 1836 г. и отбывал ссылку в Саратове. Голицын С. М.— председатель и Голицын А. Ф.— член следственной комиссии по делу Огарева, Герцена и их друзей.

Стр. 380. Панчулидзев А. А.— пензенский губернатор.

Бешту остроконечный и зеленеющий Машук — стихи А. Пушкина из «Путешествия Онегина».

«И если б мне пришлось прожить еще года» — стихотворение Огарева, посвященное декабристам, с которыми он встретился на Кавказе: А. Е. Розену, А. И. Одоевскому, В. Н. Лихареву, М. И. Нарышкину, Н. И. Лореру и М. И. Назимову.

Стр. 381. Н.— Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт и переводчик, один из ближайших друзей Огарева с университетских лет. Он рассказывает о встрече с Огаревым на Кавказе в своих воспоминаниях («Из воспоминаний Н. М. Сатина», сборник «Почин» Общества любителей российской словесности).

Доктор Мейер — прототип доктора Вернера, персонажа романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Стр. 382. Чаадаев Петр Яковлевич — см. примеч. к стр. 22.

Стр. 383—384. ...блеск лазурных глаз, и детский звонкий смех, и речь живую... Дела его и мненья...— строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

Стр. 385. Фома Кемпийский (1379—1471) — средневековый богослов, автор мистического сборника поучений «Подражание Христу», одного из популярных религиозно-католических произведений средневековья.

Стр. 387. Умер и патриарх католического протеста.— Имеется в виду П. Я. Чаадаев, идеализировавший католицизм.

Доктринаризм возопиет.— Огарев имеет в виду антидемократические выступления либералов К. Д. Кавелина (1818—1885) — публициста, историка и юриста, и Б. Н. Чичерина (1828—1904) — профессора-юриста.

Стр. 388. Grübelei — самокопание, бесплодное мудрствование *(нем.)*.

Де Местр, Сен-Мартен — французские реакционные религиозно-мистические писатели конца XVIII — начала XIX веков.

«Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappelés au principe universel de la science, par un philosophe inconnu» (Edinbourg. 1782) — «О заблуждениях и истине или обращение людей ко всеобщему принципу науки. Неизвестного философа» (Эдинбург, 1782) *(франц.)*.

Распайль Франсуа Венсан (1794—1878) и Мажанди Франсуа (1783—1853) — французские ученые.

«Leçons sur les phénomènes physiques de la vie» — «Учение о физических явлениях жизни» *(франц.)*.

Стр. 388—389. «Etat primitif de l'homme»: «Il n'y a point d'origine que surpasse la sienne; car il est plus ancien qu'aucun être de la nature; il existait avant la naissance moindre des germes et cependent il n'est venu au monde qu'après eux. Mais ce qui l'élevait bien au dessus de tous ces êtres c'est qu'ils étaient soumis à naître d'un père et d'une mère, aulieu que l'homme n'avait point de mère» — «Первобытное состояние человека»: «Нет никого, кто бы превосходил его родовитостью; ибо он древнейшее из живых существ природы; он существовал еще до зарождения мельчайшего из зародышей и, однакож, явился на свет только после них. Но более всего возвышает его над всеми существами то, что им предопределено было родиться от отца и матери, меж тем как у человека матери не было» *(франц.)*.

Стр. 392. *Моя исповедь.* Впервые — ЛН, 1953, т. 61, стр. 674—700. Автограф з тетради Огарева, хранящейся в ЦГАОР. Печатается по автографу. Первая глава «Моей исповеди» написана в 1860—1861 гг., вторая — в 1862 г. Замысел произведения возник в 1856 г., Огарев писал о нем А. И. Герцену: «Это моя исповедь, мои записки, но задача их не та, которую ты так искренне высказал в твоих записках». Он считал задуманное произведение дополнением к «Былому и думам» Герцена.

Стр. 396. Status in stato — государство в государстве *(лат.)*.

Стр. 400. Agent-provocateur—агент-провокатор *(франц.)*.

M-elle Noël avait de grandes prétentions pourtant elle c'est contentée d'un ducat — у мадемуазель Ноэль были большие претензии, однако она удовлетворилась одним дукатом (игра слов: фамилия Ducas и слово «ducat» — дукат — произносится по-французски одинаково).

Стр. 403. Longtemps, longtemps il s'avance, mais il arrivera — медленно, медленно он продвигается, но достигнет *(франц.)*.

Стр. 404. Ictère — желтуха *(франц.)*.

Стр. 407. Omnes exeunt — все уходит *(лат.)*.

Стр. 408. Dennoch tief verhüllt und leise Schreitet eine finstre Macht dacher, Für das Ohngefähr zu weise, Für die Weisheit zu sehr ohngefähr — (все же под глубоким покровом неслышно подступает мрачная сила, для случайности слишком мудрая, для мудрости слишком случайная —

нем.) — цитата из первой песни поэмы «Урания» Христофора Августа Тидге (1752—1841).

Стр. 418. Des idées innées — врожденные идеи *(франц.)*.

Стр. 423. Parvenu — выскочка *(франц.)*.

Стр. 424. Crescendo — возрастая *(итал.)*.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Стр. 429. *Письма деревенского жителя.* Впервые — ЛН, 1953, т. 61, стр. 530—534. Автограф ЦГАЛИ. Написано в Старом Акшене в 1847 г. Огарев писал Герцену 20 октября: «Еще готовлю в «Современник» письма в другом роде, посвященные тебе». Письма тогда не были опубликованы. В 1850 г. во время ареста Огарева жандармами был произведен у него обыск, отобраны различные бумаги и пересланы губернатором Панчулидзевым в III отделение. Среди бумаг находились и эти письма. Огарев задумал опубликовать их в открывшемся в 1847 г. «Современнике». Насколько был выполнен этот замысел, сведений не сохранилось, но публикуемое письмо является частичной реализацией его. Печатается с автографа ЦГАОР.

Стр. 431. «Племянник Рамо» — произведение французского философа-материалиста Дени Дидро (1713—1784).

Consorte — сотоварищей *(лат.)*.

Contrario — в противоположность *(лат.)*.

Стр. 434. *Памяти художника.* Впервые — ПЗ, 1859, стр. 238—251. Печатается по названному источнику. Автографа не сохранилось. Статья посвящена художнику А. А. Иванову (1806—1858), за год до смерти приезжавшему в Лондон к Герцену и Огареву. Отойдя от религиозных взглядов после создания картины «Явление Христа народу», он искал новых для себя путей в искусстве. Приезд к Герцену и Огареву и был вызван желанием художника уяснить себе в беседе с ними волновавшие его вопросы.

Джьотто (1276—1337) — великий итальянский художник раннего Возрождения, родоначальник реализма в западной живописи.

Гольбейн Ганс (1497—1543) — немецкий художник эпохи Возрождения.

Стр. 435. Хвост сзади...— неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем».

Стр. 436. Гурьев — член государственного совета и придворный Александра II, осмеянный Герценом в заметке «Иванова борода и Гурьев лоб».

Иммакулатная концепция — признание непорочности зачатия Христа.

Стр. 437. Чтоб в груди дрожали жизни силы — строка из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Genre — жанр *(франц.)*; здесь имеется в виду бытовая тематика в противоположность исторической.

Стр. 440. «Der Serapions Brüder» («Серапионовы братья»), «Житейские воззрения кота Мура» — произведения немецкого писателя Гофмана (1776—1822).

Стр. 443. Львов Н. М. (1821—1872) — посредственный драматический писатель, автор комедии «Свет не без добрых людей».

Стр. 444. Pis aller — по крайней мере *(франц.)*.

Корнелиус Петер (1783—1867) — немецкий художник, мастер исторической фресковой живописи.

Стр. 446. *Предисловие к «Думам» К. Ф. Рылеева...* Впервые напечатано в издании: «Думы. Стихотворения К. Рылеева. С предисловием Н. Огарева. Издание Искандера, Лондон, 1860». Автограф неизвестен. Печатается по указанному источнику.

Стр. 447. L'état — c'est moi — государство это я *(франц.)*.

Хранить завет страдальцев сильных...— строки из поэмы Огарева «Матвей Радаев».

Стр. 448. «Я не поэт, а гражданин» — строка Рылеева из стихотворного посвящения А. Бестужеву поэмы «Войнаровский».

Стр. 449. Из «Наливайки» сохранились только два-три отрывка.— Огареву были известны три отрывка из поэмы Рылеева «Наливайко», напечатанные в «Полярной звезде» на 1825 г. («Киев», «Смерть Чигиринского старосты» и «Исповедь Наливайко»). Позднее были найдены и впервые опубликованы в «Вестнике Европы», 1888, №№ 11 и 12, еще десять отрывков, которых не знал Огарев.

Стр. 450. *Предисловие к сборнику «Русская потаенная литература».* Впервые — в сб. «Русская потаенная литература XIX века», Лондон, 1861, ч. 1, стр. I—XVI.

Стр. 452. Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт эпохи Возрождения. Здесь имеются в виду его любовные сонеты, посвященные Лауре.

Галилей Галилео (1564—1642) — великий итальянский физик и астроном.

Оуэн Роберт (1771—1857) — великий английский социалист-утопист.

Стр. 453. Эпиграммы и стихотворные шутки Соболевского Сергия Александровича (1803—1870) были очень популярны в прошлом веке. В них едко осмеивались реакционные деятели николаевской России 30—40-х годов XIX в.

Стр. 456. Венгерская кампания — подавление Николаем I венгерской революции в 1849 г.

Стр. 457. Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — организатор и руководитель революционного кружка в Петербурге в 40-х годах. Вместе с членами кружка был в 1849 г. арестован и осужден на каторгу.

Наше дело — арест в 1834 г. Герцена и Огарева вместе с Н. М. Сатиным, А. К. Лахтиным и другими.

Стр. 460. Рейналь Гильом Франсуа (1713—1796) — либеральный французский историк, обличавший жестокость эксплуатации французами туземного населения.

Стр. 462. Бернс Роберт (1759—1796) — шотландский народный поэт, убежденный демократ, призывавший к свободе и братству народов.

Беранже Пьер Жан (1780—1857) — французский народный поэт-песенник.

Гретри Андре Эрнест Модест (1741—1813) — французский композитор, автор одного из ранних образцов народно-патриотической оперы «Вильгельм Телль».

Боэльдье Андриен Франсуа (1775—1834) и Онслов Джордж (1784—1852) — французские композиторы, авторы опер и песен, в которых использованы мотивы французской народной музыки.

Стр. 463. «В те дни, когда в садах Лицея || Я безмятежно расцветал» — А. Пушкин, «Евгений Онегин».

Стр. 464. Штейн Генрих Фридрих (1757—1831) — прусский государственный деятель.

Стр. 470. Полевой Николай Алексеевич — см. примеч. к стр. 13.

Кукольник Нестор Васильевич — см. примеч. к стр. 13.

Стр. 471. Ни в тишине...— стихи из поэмы Рылеева «Наливайко».

Стр. 473. Ретчер Генрих Теодор (1803—1871) — немецкий теоретик искусства, автор трехтомного исследования «Искусство драматического представления», во 2-м томе которого разбираются характеры Шекспира.

Стр. 474. Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, автор «Очерков Бородинского сражения» и «Писем русского офицера», член Союза благоденствия.

«Цыганка» — поэма Баратынского Евгения Абрамовича (1800—1844), появившаяся в 1842 г.

Стр. 475. Des droits de l'homme — прав человека *(франц.)*.

Стр. 476. Читал охотно Елисея — вариант стиха из вось-

мой главы романа Пушкина «Евгений Онегин» («Читал охотно Апулея»).

Елисей — герой сатирической поэмы XVIII века Вас. Майкова.

Полежаев Александр Иванович (1805—1838) — свободолюбивый поэт, разжалованный Николаем I в солдаты за поэму «Сашка».

«Первая ночь брака» — автором стихотворения ошибочно называется Пушкин.

Стр. 479. ...раболепие недавно отозвалось при посещении Дюма-старшего — Имеется в виду преклонение некоторых русских писателей перед французским беллетристом Александром Дюма-отцом (1803—1870) и посредственным бельгийским экономистом Густавом Молинари (1819—1912).

Пушкин попал ко двору...— Эти строки свидетельствуют, что Огарев не знал подлинного отношения Пушкина к царю в 30-е годы. Советское литературоведение на основании убедительных фактов решительно развенчало легенду о примирении Пушкина в последние годы его жизни с самодержавием.

Стр. 479. Нет, я не льстец, когда царю...— из стихотворения Пушкина «Друзья», написанного не в 1827, а в 1828 г.

Стр. 480. Огарев ошибочно датирует стихотворение А. Пушкина «Свободы сеятель пустынный», написанное в 1823 г. во время пребывания поэта на юге.

Стр. 481. Среди долины дикой, объятый великою скорбью — строка из стихотворения А. Пушкина «Странник».

Стр. 482. Не расцвел...— строки из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».

Стр. 485. Из тех, которым рано все понятно...— стихи из поэмы Лермонтова «Сказка для детей».

Стр. 486. Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание»: «Пускай она поплачет, ей ничего не значит».

Стр. 489—490. Цитаты, последовательно приводимые,— из стихотворений А. Кольцова: «Стенька Разин» (1838), «Бегство» (1838), «Путь» (1839), «Великая тайна» (1833).

Стр. 490. Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — поэт, философ, глава литературно-философского кружка 30-х годов.

Стр. 491. Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — профессор Московского университета, пробыл двадцать лет за границей в иезуитском монастыре, позднее выступил с резкой критикой католицизма. «Торжество смерти» — поэма, написанная им в 1833—1834 гг., а не в «1837 или 38 году», как думал Огарев.

Стр. 494. Хомяков Алексей Степанович — см. примеч. к стр. 17. В сборнике «Потаенная литература» были помещены стихотворения Хомякова: «1831 год», «Гаснет месяц Истамбула», «Преда-

ние», «Идиллия», «Вставайте, оковы распались», «Жаль мне вас, людей бессонных» и др.

Стр. 495. Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860)— поэт, филолог, критик, публицист и философ, член кружка Н. В. Станкевича в 30-х годах, один из вождей и идеологов славянофильства. Огаревым опубликованы были его стихотворения: «Пусть гибнет все, к чему сурово...», «Моим друзьям», «Отрывок из послания к NN» и «Петру Великому».

Стр. 497. «Жизнь чиновника» — поэма И. С. Аксакова (1823—1886), критика, публициста, поэта, идеолога славянофильства.

Стр. 500. Стихотворение «На смерть помещика Оленина», помещенное в сборнике, написано Н. А. Добролюбовым.

Стр. 503. *С утра до ночи (Отрывок из неоконченной статьи).* Впервые — «Литературная мысль», № 1, П. 1922. Здесь публикуются отрывки, касающиеся вопросов литературы.

Стр. 505. Ты расскажи...— строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТОМОВ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВТОРОГО ТОМА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

ПРОЗА

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Николай Платонович Огарев

Избранные произведения т. 2

Редактор *Ю. Акимов*
Оформление художника *И. Николаевцева*
Худож. редактор *К. Буров*. Техн. редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *В. Знаменская* и *З. Жигур*

* * *

Сдано в набор 21/X 55 г. Подписано к печати 16/I 56 г. А 00419. Бумага $84 \times 108\,^{1}/_{32}$ — $33\,^{3}/_{4}$ печ. л. = 28 усл. печ. л. 28,4 уч.-изд. л. Тираж 75 000. Заказ № 900. Цена 10 р. 50 к.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

* * *

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16